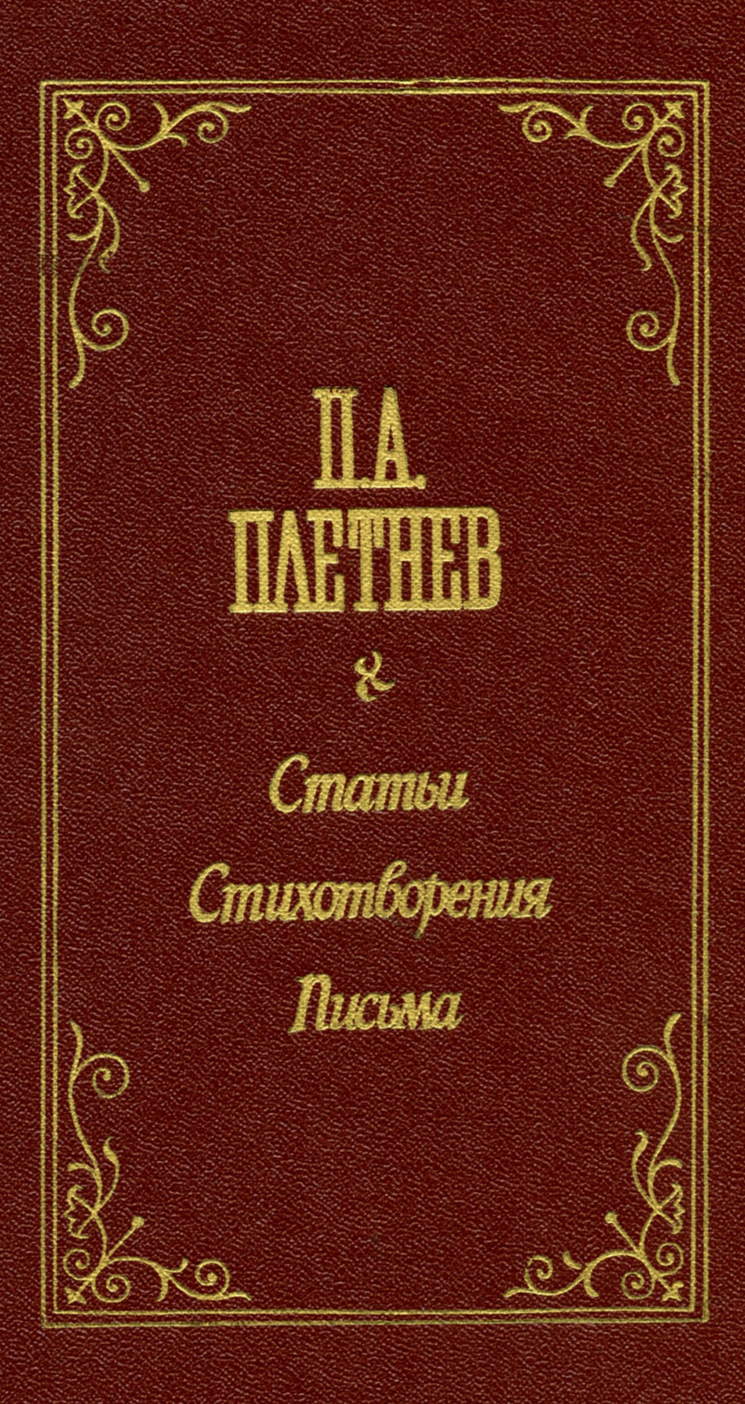
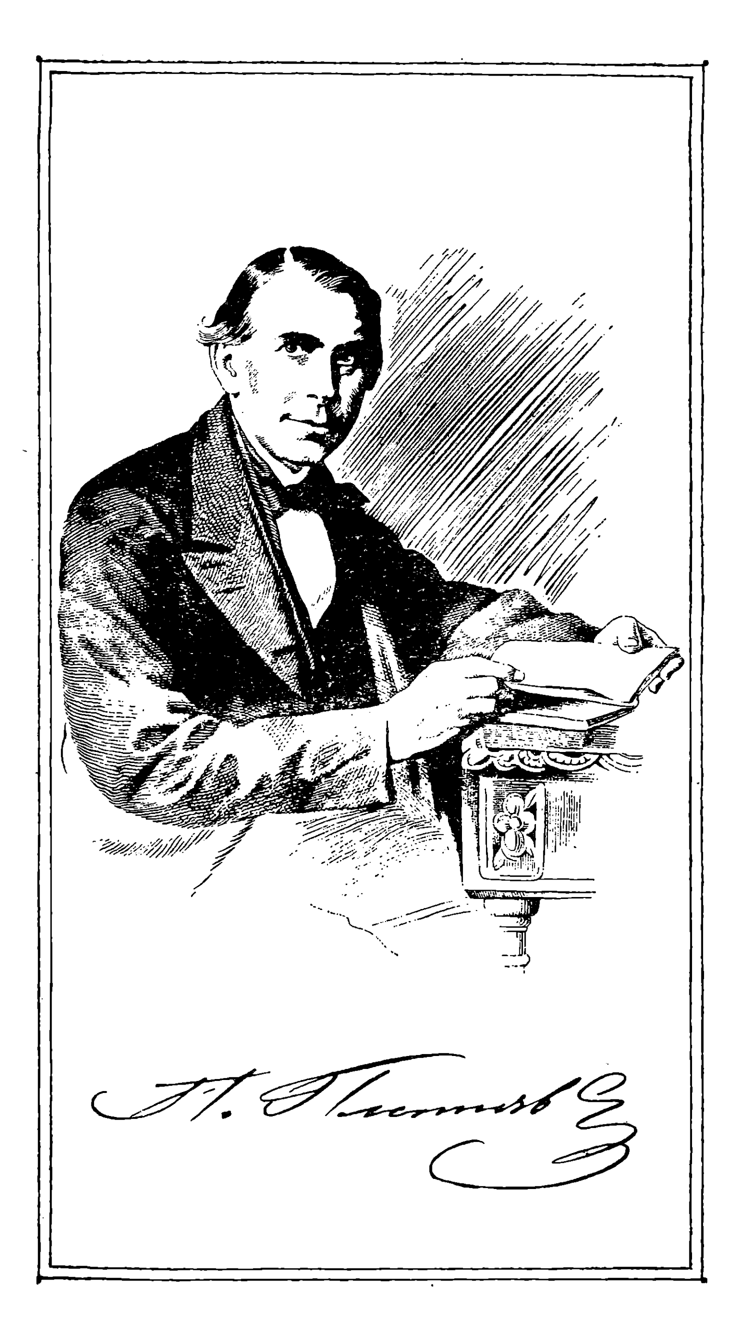
П. А. Плетнев





П. А. ПЛЕТНЕВ

Статьи

Стихотворения

Письма

Москва
«Советская Россия»
1988

Р1
П38

**Составление, вступительная статья
и примечания
А. А. Шелаевой**

Рецензент кандидат филологических наук В. Э. Вацуро

Художник П. С. Сацкий

П $\frac{4603010101—225}{М\text{-}105(03)88}$ 86—87

ISBN 5—268—008625

П. А. ПЛЕТНЕВ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Имя Петра Александровича Плетнева хорошо знакомо каждому, кто любит русскую литературу начала XIX века. В ее истории оно стоит рядом с именами Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, Жуковского, Гнедича и Гоголя. В 20—30-е годы Плетнев входил в литературное окружение Пушкина, известное под названием пушкинской плеяды, сыграл заметную роль в «Вольном обществе любителей русской словесности» и его журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Но мало кому известны творчество и жизнь Плетнева. Его скромная личность оказалась как бы в тени, заслоненной от потомков фигурами его знаменитых современников. Между тем он вел разнообразную деятельность, которая оставила заметный след в культурном наследии России. Плетнев был поэтом и критиком, издателем и журналистом, ученым-филологом, активно работавшим на ниве просвещения, и, наконец, другом и литературным наставником многих своих младших современников. Его трудами утверждались новые тенденции литературного движения.

Плетневу было суждено на несколько десятилетий пережить своих друзей, продолжить издание пушкинского «Современника», приветствовать новую реалистическую литературу в лице А. Н. Островского и А. Ф. Писемского.

Не случайны слова П. А. Вяземского, пророчески прозвучавшие после смерти Плетнева: «Заслуги, оказанные им отечественной литературе, не кидаются в глаза с первого раза. Но они отыщутся и по достоинству оценятся при позднейшей разработке и приведении в порядок и ясность действий и явлений современной ему литературной эпохи»*.

* * *

Плетнев родился 10 августа 1792 года в Твери или Бежецком уезде Тверской губернии. Происходил он из духовного звания. Скромный достаток семьи не позволил ему получить хорошего воспитания, которое было тогда принято в аристократических домах.

* Утро. — М., 1866. — С. 154—155.

О детстве он не любил впоследствии вспоминать. В зрелом возрасте Плетнев сделает в письме к своему ближайшему другу Я. К. Гроту горькое признание: «Я провел свое детство без развития, без впечатлений, без поэзии. Может быть, в 19 лет я еще походил на чурбан, который валяется на земле. Что делать? Таковы были обстоятельства моего лучшего для других и ничтожнейшего для меня времени»*. Но об этой поре остались поэтические воспоминания. Они свидетельствуют о том, что способность Плетнева глубоко и проникновенно чувствовать и восхищаться прекрасным возникла в ранние годы, и, значит, детство не прошло бесследно. В стихотворении «Пролог», открывающем домашнюю поэтическую тетрадь Плетнева, он писал:

Под навесом мирной сени,
К лону матери склонясь,
Я любил в невинной лени
Слушать сельских песен глас...
Вслед пустившись за судьбою
От домашнего ручья,
Лишь напевы их с собою
Берегу повсюду я...**

В другом стихотворении, «Родина» (1823), сохранилось едва ли не единственное упоминание Плетнева о семье и выразилась тоска по родному гнезду и семейному застолью:

Хоть бы раз глаза возвесть
Дал мне рок на кров домашний
И с родными рядом сесть
За некупленные брашны!

В Твери Плетнев закончил духовную семинарию, а в 1810 г. поступил в Петербурге в Главный педагогический институт. В 1814 г., закончив институт, он остается в нем на должности учителя и одновременно, с 1815 года, преподает историю в Военно-сиротском корпусе. Плетнев быстро зарекомендовал себя как способный педагог. Постепенно его педагогическое поприще расширяется. Его привлекают к преподаванию в Екатерининском и Патриотическом институтах, по рекомендации В. А. Жуковского он дает уроки русского языка в царской семье. В 1832 г. Плетнев получает кафедру русской словесности в Петербургском университете, и отныне его дальнейшая служебная деятельность связана с этим учебным заведением. В 1840 г. он становится ректором университета и выполняет эти обязанности вплоть до 1861 г. Среди его учеников были

---

* Письмо Я. К. Гроту от 24 февраля 1842 г.//Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т.— Т. 1.— СПб., 1886.— С. 496. (В дальнейшем — Переписка, с указанием тома и страницы).

** РО ИРЛИ, ф. 234, оп. 1, ед. хр. 1.

Ершов, Тургенев, Некрасов, Стасюлевич, каждый из которых получил определенную поддержку со стороны Плетнева. О Плетневе-ректоре сохранились такие воспоминания: «Петр Александрович был доступен во всякую пору студентам, желавшим получить от него совет или какое-либо содействие»*. В студенческой аудитории Плетнев выступил как профессор-новатор. Сохранились рукописи лекционных курсов Плетнева по русской литературе **, читанных им в Главном педагогическом институте и в университете. Они свидетельствуют, что Плетнев стоял у истоков отечественной науки о литературе. Объясняя творчество писателя обстоятельствами и духом современной ему эпохи, он ввел в обиход исторический взгляд на литературу. Лекции Плетнева в течение семнадцати лет конспектировались студентами и, передаваясь из поколения в поколение, способствовали повышению филологической культуры русского общества. Позднее Плетнев стал облекать свои лекции в форму свободных бесед на темы литературы — «эстетических разборов». Пренебрегая отведенным для преподавателя местом, с книгой в руках, он вел занятия среди студентов. «Плетнев постоянно следил за текущей литературою, и лишь только являлось какое-нибудь замечательное произведение, из лекции Петра Александровича мы видели, что оно ему знакомо»***,— вспоминали его ученики.

Гоголь писал об «эстетических разборах» Плетнева в Киев молодому преподавателю университета М. А. Максимовичу, что они воспитывают у студентов литературный вкус и умение анализировать художественное произведение: «Он теперь бросил все прежде читанные лекции и делает с ними (студентами. — *А. Ш.*) в классе эстетические разборы, толкует и наталкивает их морду на хорошее»****.

Успешный труд в области педагогики не поглотил, однако, Плетнева целиком. С 1818 г. он выступает как поэт (под анаграммой «*» или инициалами «П. П.»), а чуть позднее — и как критик в «Благонамеренном», «Сыне отечества», «Невском зрителе», «Журнале изящных искусств» и «Северных цветах». Как личность и как литератор Плетнев складывался под влиянием своих литературных друзей. Его сослуживцем по Главному педагогическому институту был В. Кюхельбекер. С 1817 г. через него начинается тесная связь Плетнева с бывшими лицеистами, с Дельвигом. Примерно в то же время Плетнев знакомится с Пушкиным. Затем он сближается с Жуковским. Последнему Плетнев писал в 1845 г., когда большая часть жизненного пути была им уже пройдена: «Моя история в вас,

* Фортунатов Ф. Воспоминания о С.-Петербургском университете за 1830—1833 гг.//Русский архив. — 1869. — № 2.—С. 335.
** Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 234, оп. 1, № 4 и № 72.
*** Фортунатов Ф. Русский архив. — 1869. — № 2. — С. 334.
**** Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. — М., 1940. — Т. X.— С. 326—327.

в Пушкине и Дельвиге»*. Неизвестно точно, когда состоялись эти знакомства и был ли причастен Плетнев к литературной жизни, учась в Педагогическом институте. С определенностью можно упомянуть только следующие факты. 2 января 1819 г. он присутствует на торжественном открытии Публичной библиотеки, слушает И. А. Крылова, Н. И. Гнедича. 20 октября 1819 г., в возрасте 27 лет, вместе с Дельвигом и Кюхельбекером вступает в члены «Вольного общества любителей российской словесности». С 1820 г. — посещает «субботы» Жуковского, а после отъезда Жуковского за границу, с осени этого же года, Плетнев открывает свои литературные собрания. Жил он тогда близ Обухова моста на Фонтанке в доме Военно-сиротского корпуса, где преподавал историю. Сюда субботними вечерами съезжались Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер, Ф. Глинка и многие другие литераторы. «Завсегдатаем» плетневских «суббот» стал младший брат Пушкина Лев Сергеевич. Он читал собравшимся новые стихи ссыльного поэта. Спустя девять лет Дельвиг подведет итог этих собраний в поэтическом послании Плетневу. Задавшись вопросом, что осталось в жизни их кружка «от прежних дел, от прошлых лет», он ответит:

Тут все, знакомое субботам,
Когда мы жили жизнью всей
И расходились на шесть дней:
Я — снова к лени; ты — к заботам.

Впоследствии Плетнев вспоминал, что на его вечерах «обсуживались все литературные новости недели, читались и разбирались собственные только что написанные стихотворения и таким образом совершалось взаимное литературное образование собеседников»**.

Трудно ответить на вопрос, почему Плетнев оказался столь влиятельной фигурой в «союзе поэтов». Его утверждение в литературных кругах происходило медленно и было отмечено неприятием «арзамасского братства», первоначально также Карамзиным и Вяземским. В этой среде к Плетневу относились сдержанно, видя в нем «литературного выскочку». Даже спустя много лет А. И. Тургенев пишет Вяземскому: «Вообрази себе, что Плетнев, учитель языка и литературы и корреспондент, пишет письмо ко мне, хотя с чувством о старых наших сношениях, которое меня тронуло, но с грамотностью замоскворецкой дамы. И он — наследник журнала Пушкина и биограф его»***. Ощущалась разница в происхождении,

---

* Письмо В. А. Жуковскому от 2 марта 1845 г.//Плетнев П. А. Соч. и переписка: В 3 т. — Т. III. — СПб., 1885. — С. 548. (В дальнейшем — Соч. и переписка, с указанием тома и страницы.)

** Гаевский В. П. Дельвиг//Современник. — 1853. — № 5. — Отд. 3. — С. 54.

*** Остафьевский архив кн. Вяземских//Переписка. 1837—1845. — СПб., 1889. — Т. 4. — С. 71.

воспитании и образовании. Но у Плетнева было одно преимущество. Его школа «(семинария, потом Педагогический институт) была менее блестящая, чем у остальных сверстников Пушкина, но во многих случаях более основательная»*. И еще он умел и любил работать. Его привычка к повседневному черновому литературному труду вызывала уважение современников. Не случайно Дельвиг называет занятия, «отвлекающие» Плетнева «от муз», полезными**. По просьбе Вяземского или Тургенева Плетнев издает сочинения В. Л. Пушкина, затем в 1823 г. берет на себя хлопоты по третьему изданию «Стихотворений» Жуковского. На деловой основе развиваются отношения Плетнева с А. С. Пушкиным. Желая привлечь его к изданию «Онегина», Пушкин заканчивает шуточное послание к Плетневу вопросом: «Но ради Феба, мой Плетнев, когда ты будешь свой издатель?»***

Многое в литературных и дружеских связях Плетнева той поры объясняют его поэтические послания. В начале века это традиционный жанр. Культ дружбы являлся тогда своего рода литературной темой. В посланиях выражались литературно-общественные взгляды и симпатии, звучали автобиографические мотивы, объяснялись «тайны» творчества. Перечень адресатов посланий Плетнева составляет реальный круг его знакомств: «К Гнедичу» (1822), «К Воейкову» (1822), «К А. С. Пушкину» (1822), «Послание Жуковскому» (1824), «К Вяземскому» (1822), «К Баратынскому» (1822), «К И. И. Козлову» (1824). Послания Плетнева — поэтическая история его взаимоотношений с современниками. Каждое доносит до нас лирическое переживание, обращенное к определенному лицу, раскрывает один из эпизодов духовной жизни Плетнева. У Н. Гнедича он просит совета «как жить тому, кто любит Аполлона?», то есть служит искусству; Е. Баратынского призывает отречься от «ласк ветреного счастья» ради счастья творчества. В послании «К Воейкову» слышны отголоски литературной борьбы с противниками Карамзина, исход которой небезразличен Плетневу. В обращении к Вяземскому возникает социальная тема: Плетнев призывает его вооружиться «бичом Ювенала», чтобы сатирически обличать пороки современного общества (крепостничество, общественный индифферентизм).

В некоторых случаях возникает поэтический диалог, который дает возможность ощутить психологическую атмосферу кружка поэтов и понять, что биография их неотделима от их творчества.

* Пыпин А. Н. История русской литературы: В 4 т. — Т. 4. — СПб., 1886. — С. 442.

** См.: Сын отечества и Северный архив.— 1829.— № 22.— С. 124—125.

*** Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — М., 1937. — Т. XIII. — С. 113.

«Дельвиг, где ты учился языку богов?» — спрашивает Плетнев поэта, приобщаясь к его увлечению классической словесностью, восхищаясь гармонией и стройностью его стихов.

Зачем на меня ты и глупость, и злобу,
Плетнев, вызываешь нескромной хвалой? —

иронически отвечает Дельвиг, щедро деливший с Плетневым жизненные невзгоды и поэтические радости.

Дельвиг был первым, с кем сблизился Плетнев в «союзе поэтов». В 1817 г. они вместе изучают «Опыт о русском стихосложении» А. Х. Востокова, затем в «ученой республике» примыкают к оппозиции «правой» партии В. Н. Каразина, практиковавшего тайные доносы на Пушкина и лицеистов. В 1825 г. Плетнев становится помощником Дельвига в издании альманаха «Северные цветы». Дельвиг сыграл в жизни Плетнева поистине удивительную роль. Под его влиянием завершилось формирование Плетнева — литератора и человека. Видимо, это обстоятельство после смерти Дельвига стало залогом дружбы Плетнева с Пушкиным, который, тяжело переживая утрату «друга своей души», стал искать опоры в Плетневе. «Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная... никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все»*, — писал ему Пушкин из Москвы.

Дельвиг был на шесть лет моложе Плетнева, но имел более развитый художественный вкус, глубокие литературные познания. Он знал наизусть все лучшее в русской поэзии, и, по свидетельству директора лицея Энгельгардта, ему было свойственно какое-то воинственное отстаивание красот русской литературы»**. Возможно, впоследствии именно эта установка на развитие национальной литературы определила курс плетневского «Современника» и внимательное отношение его редактора к молодым литераторам.

Духовная жизнь Плетнева в союзе с Дельвигом обрела не только определенное содержание, но и определенный ритм. Дельвиг всегда оказывался в центре литературной жизни, его ум бурлил идеями, а физическая малоподвижность компенсировалась стремительным развитием эстетических идей. Это свойство, конечно, в ослабленном виде, усвоил уравновешенный по характеру Плетнев. На долгие годы он сохранил традицию литературных собраний в своем доме, способность живо откликаться на новые литературные имена и явления. Его литературный дневник под названием

---

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. XV. — С. 147.
** Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. — М., 1958. — С. 124.

«Журнал», нашедший скромное место в письмах к Я. К. Гроту, еще ждет своего публикатора и исследователя.

Лучшее из поэтических созданий Плетнева — послание «К А. С. Пушкину». Пушкин сравнил его с «поэзией своих любимцев»*. В нем скрыт сюжет, связанный с историей публикации стихотворения Плетнева «Батюшков из Рима» (1822). Подражательный характер поэтического творчества постепенно воспитал в Плетневе талант имитатора. Так, стихотворение «К рукописи Б<аратынско>го стихов» долгое время считалось созданным Е. Баратынским. Нечто подобное произошло с опубликованной анонимно поэтической шуткой «Батюшков из Рима». Кто-то приписал ее авторство самому Батюшкову. Между тем болезненно ранимый поэт усмотрел в стихотворении обидный для себя намек на творческое бессилие. Когда невольная мистификация объяснилась, Плетнева осудили в литературных кругах. Был им недоволен и Пушкин. В письме к своему брату Льву он писал: «Батюшков прав, что сердится на Плетнева; на его месте я бы с ума сошел от злости. «Батюшков из Рима» не имеет человеческого смысла. <...> Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи, — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец»**. Письмо Пушкина стало известно Плетневу. В своем ответе на «едкий упрек», глубоко потрясенный случившимся, Плетнев превосходит самого себя по вдумчивости и поэтической силе. Это вызывает сочувствие и восхищение Пушкина, плененного «полнотой чувств», смелостью и благородством тона послания***. Слова Плетнева о духовном братстве «союза поэтов» исключительно созвучны настроениям поэта и всего пушкинского кружка:

Искусства в общий круг,
Как братьев, нас навек соединили;
Друг с другом мы и труд свой, и досуг,
И жребий наш с любовию делили...

О прозорливости Плетнева свидетельствует и самооценка его скромной роли в кругу любимых им поэтов:

...Мне в славе их участие дано;
Я буду жить бессмертием мне милых.

Справедливость этих слов позже подтвердила история: с именем Плетнева связаны почти все прижизненные издания Пушкина; он выпустил в свет более двадцати книг Пушкина, в том числе «Евгений Онегин», который поэт открыл посвящением Плетневу — своему другу и издателю.

---

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. XIII. — С. 53.
** Там же.— С. 46.
*** См. там же. — С. 51.

Один из позднейших критиков назвал лирику Плетнева «неожиданной радостью, на которую можно набрести случайно и где-то в окрестностях официально принятой литературы»*. Объективно поэзия Плетнева свидетельствует о скромности его поэтического дарования и развитом дельвиговским кружком литературном вкусе. Она несет на себе также печать теоретических поисков Плетнева. Он автор статьи «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» (1824), в которой пытается возвысить значение национальной поэзии в обществе. В этот период Плетнев поддерживает «элегическую школу». Некоторые из его собственных элегий, основанных на историческом материале — «Гробница Державина» (1819), «Миних» (1821), — близки отдельными чертами рылеевским думам. Потом элегия сменяется в поэзии Плетнева антологическими стихами («Ночь», «Соловей», «Море»). Но среди унылых и часто подражательных «образцов» тех или иных жанров вдруг блеснет лирический «самоцвет», такой, как «К рукописи Б<аратынско>го стихов» (1821), «Идеал» (1825), «Родина» (1823), «Измена» (1824), — и понимаешь, что суждение критика — не ошибка. Среди традиционных для поэтов пушкинской поры тем и образов Плетнев находит отражающие его поэтическое мировосприятие, его собственный поэтический мир. В антологических стихах возникают образы родной природы: здесь и «стадо вольных журавлей» («Измена», 1924), и «хижин скромный ряд» («Родина», 1823); в поздней лирике звучат мотивы осознания собственной судьбы: «Терпение — руководитель! <...> Со мной везде от ранних лет, и в сиротстве и в отчужденье; как верный друг средь тяжких бед» («К Терпению» <1826>); разочарования в людях, видимо, связанного с тяжелой нравственной атмосферой в обществе последекабрьского периода: «Я мрачен, дик, людей бегу» («Объяснение», 1825).

Любопытно также отметить, что Плетневу чужд гедонизм поэтического кружка Пушкина. Его стихотворение «Пир» откровенно противопоставлено «вакхической поэзии». Нравственным идеалом лирического героя Плетнева является «родства и дружбы круг смиренный, приют некупленных утех!». Среди блестящего пира его не покидает мысль: «Зачем разврат мешать в забавы, покой невинности губить?»

Некоторые свои письма к Плетневу Пушкин начинает обращением «Мой милый поэт!». Знакомство с поэзией Плетнева убеждает, что оно вполне заслуженно и оправданно. Но в конце 1820-х годов Плетнев отказывается от поэтического творчества и все силы отдает литературной критике.

В свой ранний период литературно-критическая деятельность Плетнева связана с собраниями «ученой республики» и ее печат-

* Розанов И. Н. Пушкинская плеяда. — М., 1923. — С. 90.

ным органом «Соревнователем». Нужно сказать, что лишь в последние годы появились исследования, проясняющие роль Плетнева в «Вольном обществе любителей русской словесности» и его журнале *, который в 1822 г. заполняется по редакторскому плану Плетнева. Считалось, что «умеренность» его политических воззрений как бы бросала тень на общую демократическую направленность «Общества». Однако на основе фактов и документов сейчас уже доказано, что Плетнев никогда не поддерживал реакционно-монархическую группировку В. Н. Каразина и, напротив, по мере возможностей боролся с ней. Его симпатии принадлежали «левому» крылу «ученой республики».

В практической работе по редактированию «Соревнователя» складывались почерк и принципы Плетнева-критика. Плетнев с самого начала обнаружил стихийный демократизм в подходе к литературному материалу: «Критика, подобно врачебному искусству, наиболее должна заботиться о сохранении бытия таких произведений, которые подают видимую надежду к профессиональной жизни»**. В первых литературно-критических статьях Плетнева («О романе И. Георгиевского «Евгения, или Письма к другу» (1818), «Кавказский пленник» Пушкина») ощущалось также влияние Карамзина. Как и Карамзин-критик, Плетнев был склонен «более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осуждать можно»***. Ему не дано было подняться до широких обобщений в силу некоторой расплывчатости эстетической концепции. Плетнев усвоил идеи просветительства, сентиментализма, романтизма. Но тем не менее он имел свое творческое лицо и определенный нравственный критерий. По его мнению, критика должна основывать свои суждения на детальных разборах и не унижаться до брани. Направленность литературно-критических выступлений Плетнева всегда отличалась от коммерческо-предпринимательского отношения к литературе Греча, Булгарина, Сенковского. Для статей Плетнева характерен спокойный стиль, отсутствие полемического задора. Как правило, это были не рецензии «по случаю», а «критики». Но современники не принимали их равнодушно. Так, публикация в целом положительной критики Плетнева на первую книгу «Полярной звезды»**** в «Обществе соревнователей» стала поводом для конфликта, который приводит к отстранению Плетнева от редактирования журнала. По предположению современного исследователя, это был один

---

* См.: Горбенко Е. Плетнев — литературный деятель пушкинской эпохи (20—40-е годы XIX века): Автореф. дис. — канд. филол. наук. — Л., 1983.

** Соревнователь. — 1822. — Ч. 17. — С. 33.

*** Карамзин Н. М. Избр. произв.: В 2 т.— Т. 2.— М.; Л., 1964.— С. 236.

**** Соревнователь. — 1823. — Кн. 1. — Ч. 21. — С. 97—116.

из эпизодов «журнальной войны», организованной Гречем*. Редактор «Сына отечества» был заинтересован в ослаблении «Соревнователя»; в то время как конкуренция «Полярной звезды» его не страшила. Но тем не менее события развернулись вокруг статьи и ее автора.

Другой статьей, вызвавшей полемику, было «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». Критик оказался даже под двусторонним обстрелом. Он был вынужден давать пояснения единомышленникам относительно отдельных своих обобщений и оценок (см. Письмо № 2 в настоящем издании) и терпел со стороны противников обидные для себя намеки на недостаточную образованность**.

Лучшее, что удалось создать Плетневу — литературному критику, — это «биографии». Начиная с 1830-х гг. он пишет серию литературных очерков-портретов: «Александр Сергеевич Пушкин» (1838), «Евгений Абрамович Баратынский» (1844), «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» (1845), «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского» (1852) и др. Плетнев был первым в России, кто принялся за разработку этого жанра, осознавая всю важность проблемы индивидуальности писателя и его художественного творчества. Его увлекала важность и необходимость этого дела: «Великие люди земли русской ожидают еще своего биографа. Если для истории самой России уже был Карамзин, почему не надеяться, что и для знаменитых соотечественников наших явится достойный их историк?»***

Одним из непременных условий создания очерка были личные связи Плетнева с его героем. Поэтому очерки Плетнева имеют не только историко-литературную, но и мемуарную ценность. «У меня нет ни таланта, ни авторских приемов»****,—писал Плетнев В. А. Жуковскому, прекрасно сознавая все трудности задуманного предприятия, в момент создания одного из очерков. Однако ему удалось избежать просчета многих биографов, которые вместо живого повествования о личности представляли читателю «формулярный список». Сюжеты плетневских портретов целиком определялись обстоятельствами эпохи. В их основу ложились эпизоды личного общения, устные предания, анекдоты. На определенном этапе разработки жанра появился излюбленный композиционный прием: повествование складывалось из маленьких глав, каждая из которых отличалась смысловой самостоятельностью. Первым опытом в новом жанре стала статья о Пушкине. Она имела трудную судьбу. Написанная по просьбе Жуковского для посмертного Собрания со-

* См.: Горбенко Е. Плетнев — литературный деятель пушкинской эпохи (20—40-е годы XIX века). — С. 7.
** См.: Д. Р. К. <Греч?>. Письма на Кавказ//Сын отечества.— 1825. — Ч. 99. — № 2. — С. 200.
*** Современник. — 1845. — Т. 38. — С. 380.
**** Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 656.

чинений поэта, статья подверглась критике Опекунского совета за несоответствие жанру биографии. Совет просил устранить разбор произведений. Плетнев отказался и опубликовал статью без переработки текста в «Современнике». Белинский, однако, увидел значение этой статьи как раз в том, что было признано ее недостатком. Статья «содержит в себе несколько драгоценных фактов о жизни и характере великого нашего поэта и отличается многими светлыми взглядами на его произведения. Статью можно назвать взглядом на жизнь нашего поэта»*,— писал он. Создавая биографический очерк современника для современников, Плетнев понимал, что необходимы новые сведения о его герое. Он включил в статью ранее не публиковавшиеся письма Пушкина к нему, уже этим сделав ее ценным источником для изучения биографии поэта.

В своих очерках о поэтах Плетнев отказался от какой-либо схемы, но выдержал определенный принцип организации биографического материала: очерк всегда обусловлен характером изображаемого лица.

В очерке о Баратынском поэт представлен как психолог-аналитик. Поэтому для разбора отобраны стихи, в которых он «предавался развитию страсти, изучению человека во глубине его сердца и воли»**. В своем кругу поэт показан как самостоятельная личность, значение которой обозначено не только поэтическим творчеством, но и глубоким умом, волевыми поступками.

Подобный принцип был использован Плетневым и в очерке о Крылове. Грот писал в связи с появлением этого очерка, что Плетнев, работая в жанре «биографий», «взял пальму первенства между всеми живущими и жившими критиками нашей бедной литературы»***, а Плетнев скромно ответил: «Я уже толковал тебе, почему о Крылове всякий бы, кто хоть несколько знал его, написал интересный рассказ. Это было лицо в высшей степени ко всему, как говорится, рельефное»****. Подчиняя повествование биографическому материалу, Плетнев смог дать верный и цельный портрет русского баснописца в совокупности всех черт его глубоко национального характера. Рассказ о трудном детстве Крылова как бы подчеркивал, что фактор воспитания, образования, окружение утонченным обществом не всегда является гарантией творческого успеха. Белинский также приветствовал очерк и определил его как «умную, мастерски написанную Плетневым биографию незабвенного баснописца»*****.

---

* Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М., 1953. — Т. II.— С. 437.

** Соч. и переписка. — Т. I. — С. 560.

*** Переписка. — Т. 3. — С. 399.

**** Там же. — С. 400.

***** Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. X.— С. 270.

Очерк о Жуковском создавался Плетневым при особых обстоятельствах: он был задуман еще при жизни поэта и нес на себе печать длительных взаимоотношений автора и героя. Более тридцати лет Плетнев состоял в переписке с Жуковским, сопереживая его радостям и огорчениям. Один из современников Жуковского и Плетнева, В. А. Соллогуб, остроумно подметил в их характерах много общего: склонность к тихой мечтательности, расположенность к людям. Плетнев, как и Жуковский, занимался педагогической деятельностью; сопоставляют даже факты их поздней женитьбы и приверженность к выращиванию литературных талантов *. Из этого следует, что «рельефность» натуры Жуковского ощутить Плетневу было трудно. Жуковский был для него «слишком выглажен», «слишком обточен»** почти повседневным общением. Поэтому Плетнев все сосредоточил на идее значения Жуковского в России ***. Он взял на себя смелость сказать: «Для меня он творец поэзии у нас, — более творец, нежели Пушкин». И пояснил свою мысль так: если Пушкин «высказал только себя», конечно, он прибавил «к поэтам всемирным новое имя»****, то Жуковский своими переводами, которые равны по свободному их изложению оригинальным стихам, послужил великому делу преобразования нашей литературы; «он поравнял нас в поэзии с образованнейшими современными мастерами»*****. Плетнев прослеживал линии преемственности в отношениях Пушкина, Жуковского и других современников, выступал как интерпретатор поэзии и личности Жуковского.

Среди неосуществленных творческих замыслов Плетнева — очерк о Н. М. Карамзине. Он представлялся необходимым, так как, с точки зрения Плетнева, «Карамзин обнимает всю историю русской литературы»******.

Еще одним значительным для Плетнева полем деятельности была журналистика. С конца 1820-х годов он помогает Дельвигу в издании «Северных цветов» и «Литературной газеты», а затем принимает участие в работе Пушкина над «Современником». После смерти поэта — с 1838 по 1846 г. — Плетнев издает журнал самостоятельно. Тема «Плетнев-журналист и плетневский «Современник» до последнего времени обходилась историей русской журналистики. Отмечалось, что под редакцией Плетнева журнал превратился в малочитаемый, что на его страницах печатались произведения,

---

* См.: Розанов И. Н. Пушкинская плеяда.— С. 49—51.
** Переписка. — Т. 3. — С. 400.
*** Там же. — С. 596.
**** См. там же. — С. 596.
***** Плетнев П. А. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского// Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 60.
****** Переписка. — Т. 3. — С. 400.

не получавшие общественного резонанса*. Считалось также, что «пушкинские начала» в литературе, которые Плетнев пытался культивировать в «Современнике», он понимал «чрезвычайно узко и консервативно»**. Однако если полистать плетневский «Современник», можно убедиться, что у его редактора есть перед русской журналистикой свои заслуги. Не случайно Белинский оценил научные и литературные достоинства «Современника»: «...он есть сборник оригинальных статей, интересных по содержанию и изложению, и стихотворений, между которыми бывают иногда и поэтические», и считал его «достойным славы своего основателя» ***.

Действительно, редакторская позиция Плетнева состояла в том, чтобы ничего не менять в пушкинском «Современнике». Примечательны в этом смысле объявления о подписке. На 1842 год: «...«Современник», с самого основания своего Пушкиным до сих пор, в течение шести лет, сохраняет характер беспристрастия и спокойствия. Его Редакция строго будет поддерживать этот характер в журнале своем <...>, не находит побуждения в какой-нибудь перемене в направлении журнала» и т. д. На 1845 год: «Неизменное в нем участие Литераторов, которых таланты, знания и вкус давно приобрели уважение образованной Публики, доставляют Редакции все способы поддерживать «Современник» в прежнем его достоинстве, не изменяя ни прежнего направления, ни духа его, ни характера...» В них усматривается полемически заданная нарочитость программной установки. В эпоху демократических веяний, профессионализации писательского труда и осознания ведущей роли разночинной интеллигенции Плетнев стремится сохранить специфику своего журнала, стоявшего в стороне от проблем времени. Реальное содержание журнала было, однако, значительно шире этой ограниченной программы. В художественных отделах «Современника» Плетнев реализует эстетическую программу, которая не исчерпывалась его приверженностью пушкинской традиции. Были публикации из неизданного творческого наследия Пушкина и произведений литераторов позднего пушкинского круга. Но в журнале также звучали «новые имена». Поэтический раздел «Современника» открывает дорогу многим молодым поэтам: А. Н. Кольцову, Е. Л. Милькееву, А. Н. Плещееву, П. П. Ершову, М. С. Салтыкову. И. С. Тургеневу. Неизвестно, стали бы два последних известными писателями, если бы не утвердились

---

* См.: Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» в 40—50 гг. — Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.— С. 6.

** Вацуро В. Э. П. А. Плетнев//Поэты 1820—1830-х годов. — Л., 1972. — Т. I. — С. 319.

*** Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М., 1953. — Т. III. — С. 46.

в юные годы в своем литературном призвании, общаясь с Плетневым. Вот что пишет Плетнев в связи с публикацией поэмы Тургенева «Параша»: «Образованный в лучшей школе стихотворного искусства, автор так свободен, так натурален, так независим и так неразлучен всегда с истиною, что его искусство превращается в естественное его положение»*. «Современник» приветствовал молодого Некрасова. Плетнев увидел в его первом сборнике, в отличие от Белинского, «не только мечты и звуки <...> но и мысли, и чувства, и картины»**. Как редактору поэтического раздела Плетневу иногда изменял литературный вкус. В ряду с поэзией признанных русских лириков — Пушкина, Тютчева, Языкова, Баратынского, Вяземского — соседствовали подражательные, тусклые поэтические создания.

В прозаическом разделе «Современника» печатались произведения в духе реализма (В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, В. А. Соллогуб), что определенным образом характеризовало эстетическую ориентацию его редактора в зрелые годы. В исторической прозе (П. А. Кулиш, О. П. Шишкина, Ф. А. Эттингер) Плетнева привлекала установка на документированность и верность характеру изображаемой эпохи. Журнал Плетнева стал также своеобразным центром по установлению национальных культурных связей. В нем активно выступали украинские и шведско-финские авторы. Центральное место среди украинских беллетристов «Современника» занимал Г. Ф. Квитка-Основьяненко. В выдвижении на страницах «Современника» его творчества на первый план усматривается определенная идейная подоплека. Во-первых, Плетнев намеренно противопоставлял его творчество как нравоописательной школе булгаринского толка, так и «натуральной школе». Во-вторых, настроениям Плетнева соответствовал во многом утопический мир героев Квитки-Основьяненко, в котором царила добродетель, основанная на патриархальных законах. Культ искусства, литературы и истории Скандинавских стран отражал идеи Плетнева относительно господствовавшей в 40-е годы проблемы «Запад — Восток». Редактору «Современника» были чужды как идеи славянофильства, так и западническая ориентация. В качестве альтернативы этим теориям Плетнев пытается выдвинуть концепцию «Севера», который мыслился им как цивилизация, сочетающая европейскую просвещенность с чистотой нравов и неиспорченной моралью ***.

Плетнев сознавал, что с развитием литературы, общественных идей и науки в России роль журналиста возрастает. «В такую эпо-

---

* Современник. — 1843. — Т. 31. — С. 107.

** Современник. — 1840. — Т. 18. — С. 134.

*** Проскурина В. Ю. Литературная позиция журнала «Современник» (1838—1846 гг.): Автореф. дис. — канд. филолог. наук. — М., 1985.

ху умственной деятельности,— писал он в последнем номере за 1841 год, — журналы преимущественно полезны. Они дают гласность успехам и способствуют правильному развитию науки. Сколько бы ни разнообразны были мнения журналов, они скорее наведут на прямую истину, нежели исследования односторонние». Применительно к этим соображениям Плетнев создает в «Современнике» библиографический отдел. По охвату материала он приближался к энциклопедическому справочному изданию, так как освещал литературу по всем областям знаний, включая естественные науки, промышленность и медицину. Но ни доброкачественность литературного материала, ни частичные преобразования внутри журнала не могли спасти «Современник» от падения числа подписчиков. Даже программные статьи Плетнева о произведениях литературы 1840-х годов — «О «Мертвых душах» Гоголя» (1842), «Наль и Дамаянти» Жуковского» (1844), «Тарантас» В. Соллогуба» (1845), — в которых он истолковывал художественные произведения, исходя из идеи реального отображения жизни, не ставили журнал в ряд современных изданий. Уход критика от прямых оценок, усложненность формулировок затрудняли определение литературно-общественных позиций Плетнева и его журнала. С одной стороны, журнал провозглашал устами своего редактора и критика: «...в сущности искусств не вымысел важен, а жизнь. Ее полное и поэтическое развитие есть прямая цель великих художников»*, с другой, по ироническому выражению Белинского,— занимал положение «аристократа между плебеями»** и жил как бы в том «блаженном» времени русской литературы и журналистики, когда «в литературе не подозревали никакого отношения к обществу и не вносили в нее никаких вопросов...»***. В обстановке жестокой журнальной конкуренции как издательское предприятие журнал должен был также ориентироваться на определенный читательский круг — обеспеченное купечество, разночинную молодежь, студенчество, но он продолжал идти против духа времени и демократизации литературы. В 1846 г. Плетнев сдал разорительный для него «Современник» в аренду Панаеву и Некрасову. Это было сделано вопреки протесту опекунов и наследников Пушкина. Пушкинский журнал начал новую жизнь. Как складывались отношения Плетнева с некрасовской редакцией, можно узнать из переписки Плетнева, отчасти отраженной в настоящем издании. Плетнев никогда не пытался корректировать направление журнала и с вниманием прочитывал номера, которые ему по договору присылала редакция. Возникавшие разногласия касались вопросов экономического положения «Со-

* Соч. и переписка. — Т. I.— С. 478.

** Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М., 1955. — Т. VIII. — С. 101.

*** Там же.— С. 101.

временника» и условий аренды, которые Некрасов и его соредакторы хотели со временем изменить *.

Несмотря на неудачу с «Современником», последний период критической деятельности Плетнева (1840—1860-е гг.) был успешным и продуктивным. Работы этого времени представляют его сторонником реалистических начал в литературе и свидетельствуют о его мастерстве литературного критика. Заметное место среди них занимает статья «Чичиков, или «Мертвые души» Гоголя». Белинский отозвался о ней как «о единственной хорошей статье из всех, написанных по поводу поэмы Гоголя»**. Плетнев облек ее в форму письма провинциала, адресованного редактору «Современника».

Он оказался верен себе: видимо, это была попытка противостоять партии Греча — Булгарина, не вступая в открытую полемику с их газетой «Северная пчела». Статья содержит подробный разбор произведения Гоголя, определяет природу его творчества как живописную, но это не все. В ней Плетнев делает свой вклад в развитие теории реализма. Ему удалось подойти к понятию типического: «Народная поэма есть история в лицах, между которыми, естественно, избираются выставляющиеся чаще и ярче»***, — и сделать ряд метких наблюдений над природой комического в реалистическом произведении.

К числу последних выступлений Плетнева в жанре критики относится его «Отзыв о драмах «Горькая судьбина» и «Гроза». На основании положения о четвертом конкурсе графа Уварова они были выдвинуты на присуждение премий.

С марта 1859 г. Плетнев председательствовал во втором отделении Академии наук, и это придавало особый вес его суждениям о мастерстве драматургов и, по сути дела, решало исход конкурса. Отношение Плетнева к натуральной школе было сложным и неоднозначным: критик приветствовал Гоголя, но скептически относился к послегоголевскому реалистическому направлению. Однако в оценке пьес двух талантливых продолжателей натуральной школы — Писемского и Островского — он сумел подняться до понимания значения их творчества, в котором отразились проблемы народной жизни. Это еще раз подтвердило демократизм его общественно-литературной позиции.

Последние пять лет жизни Плетнев провел в Париже (умер он в 1865 г.), где лечился от тяжелой болезни у известного врача Нелатона. Его не оставляли надежды продолжить литературную дея-

---

* См.: Мельгунов Б. В. К истории некрасовского «Современника» (1865—1867)//Русская литература. — 1985. — № 3. — С. 178—188.

** Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — Т. VI. — С. 410.

*** Соч. и переписка. — Т. I. — С. 489.

тельность. В августе 1862 г. Плетнев спрашивал Некрасова, будет ли тот заведовать редакцией «Современника». В противном случае он сам собирался «приняться заблаговременно за устройство этого дела»*. Но все его жизненные интересы в связи с болезнью сосредоточились в кругу семьи, а литературные и научные — в переписке, главным образом с Я. К. Гротом. Письма Плетнева — существенный вклад в эпистолярное наследие XIX века.

Отягощенный ректорской службой на протяжении многих лет, он все ждал, когда наступит «пора комментариев» на сочинения друзей и пора записок собственно его, по выражению Плетнева, жизни. «Последнее мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти», — писал Плетнев в 1842 году**. Пора свободного литературного труда к Плетневу так и не пришла, но «завещание» Пушкина можно считать выполненным. Собрание плетневских писем и статей — ценный источник для изучения русской литературы XIX века. Без них было бы невозможно понять и личность Плетнева — незаурядного литератора, деятельность которого отразилась не только в творчестве, но и в живых контактах с современниками.

А. Шелаева

---

* Письмо П. А. Плетнева к Н. А. Некрасову от 27 августа 1862 г.//Лит. наследство. — М., 1949. — Т. 51—52. — С. 435.

** См.: Переписка.— Т. 1.— С. 495.

Статьи



ЗАМЕТКА
О СОЧИНЕНИЯХ ЖУКОВСКОГО И БАТЮШКОВА

Мы видели, что истинная поэзия никогда не дичилась угрюмого отечества нашего. С начала XII до конца XVIII столетия она то реже, то чаще оживляла лиры наших песнопевцев, хотя разными, но равно пленительными звуками. У нас недоставало только решительной отделки языка поэзии. Всеобъемлющий Ломоносов, отважный Петров [1] и неподражаемый Державин обогатили словесность нашу высокими, может быть, единственными произведениями поэзии, но не победили своенравного языка. Все удивлялись поэтам, а стихи их читали немногие. Светская и затейливая муза Дмитриева [2] наконец получила доступ во все кабинеты. С нею начали беседовать и записные литераторы и бесприсяжные щеголи, и полуфранцуженки-женщины. В это время явились два человека, которые совершенно овладели языком поэзии. Они наши современники: они с царствования Александра I (эпохи блистательнейшей в истории отечества) начали новый период русской поэзии: я говорю о Жуковском и Батюшкове.

Чистота, свобода и гармония составляют главнейшие совершенства нового стихотворного языка нашего. Объясним каждое из них порознь. Употребление собственно русских слов и оборотов не дает еще полного понятия о чистоте нашего языка. Ему вредят, его обезображивают неправильные усечения слов, неверные в них ударения и неуместная смесь славянских слов с чистым русским наречием. До времен Жуковского и Батюшкова все наши стихотворцы, более или менее, подвержены были сему пороку: язык упрямился; мера и рифма часто смеялись над стихотворцем — и побеждали его. Под именем свободы языка здесь разумеется правильный ход всех слов периода, смотря по смыслу речи. Русский язык менее всех новейших языков стесняется расстановкою слов; однако ж, по свой-

ству понятий, выражаемых словами, и в нем надобно держаться естественного словотечения.

Живи — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим!

Или:

Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет.

Всякий согласится, что подобная расстановка слов, при всех совершенствах поэзии, стихи делает запутанными. Жуковский и Батюшков показали прекрасные образцы, как надобно побеждать сии трудности и очищать дорогу течению мыслей. Это имело удивительные последствия. В нынешнее время произведения второклассных и, если угодно, третьеклассных поэтов носят на себе отпечаток легкости и приятности выражений. Их можно читать с удовольствием. Круг литературной деятельности распространился, и богатства вкуса умножились. — Наконец несколько слов о гармонии. Прежде всего надобно отличить гармонию от мелодии. Последняя легче достигается первой: она основывается на созвучии слов. Где подбор их удачен, слух не оскорбляется, нет для произношения трудностей, — там мелодия. Она еще имеет высшую степень, когда слиянием звуков определительно выражает какое-нибудь явление в природе и, подобно музыке, подражает ей. Гармония требует полноты звуков, смотря по объятности мысли, точно так, как статуя определенных округлостей, соответственно величине своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его приятны ни были, всегда кажется нехорошим при большом туловище. Каждое чувство, каждая мысль поэта имеют свою объятность. Вкус не может математически определить ее, но чувствует, когда находит ее в стихах или уменьшенною, или преувеличенною — и говорит: здесь не полно, а здесь растянуто. Сии стихотворческие тонкости могут быть наблюдаемы только поэтами. В числе первых надобно поставить Жуковского и Батюшкова.

Вот что мы нашли общего между сими утвердителями новейшего языка поэзии нашей! Но, сходясь в главных совершенствах, они после идут особенными дорогами. Как стихотворцы, они могут быть соперниками, а как поэты, они должны остаться друзьями, потому что каждый из них имеет особенный род — и каждый в своем роде равно счастливый властелин.

Жуковский, воспитанник и основатель в России *романтической* школы поэзии, совершенно постигнул прекрасную в ней сторону. Глубокие чувства, смелая мечтательность, богатство, или, лучше сказать, роскошь самых свежих картин природы, составляют настоящие красоты романтической и вместе Жуковского поэзии. Изображая чувствования сердца человеческого, он доходит до самых сокровеннейших. Как анатомик, он знакомит нас со всеми изгибами нашего сердца. Но чаще он любит предаваться всей стремительности отважного своего воображения, которое, в прихотливом своем полете, избирает путь нередко странный; — однако самое своенравие его нас пленяет, потому что никогда у него сила воображения не изменяет деятельности. В рисовке картин природы Жуковский не имеет и едва ль будет иметь соперника. Почти все явления в природе — даже едва приметные черты в них, замечены им, и вошли уже в состав его красок. Часто кажется, что он находит особенное удовольствие в собрании сих едва приметных подробностей, из которых он составляет свои описания. Кто разбирал его Павловские картины, тому все сие будет понятно. В слоге Жуковского удивительная гармония, принимая ее в том смысле, как прежде сего определили. Часто он так обведет мысль свою, что самым круглым прозаическим периодом не выразишь ее полнее. Но это преимущественно бывает в описании внешней природы. Что касается до изображения глубоких чувствований, слог его сжат, и потому чаще всех писателей у него встречается фигура удержания:

О, кто ты, тайный вождь! Душа тебе во след! ...

Хотя он первый удачнее всех начал в самых коротких словах заключать множество мыслей; но это ему иногда вредит, потому что излишняя сжатость слога бывает причиною темноты мыслей. В общем составе больших сочинений он не всегда так счастлив, как в частной их отделке. Кажется, слишком смелое воображение увлекает его далее, нежели на что бы отважился другой. Впрочем, это можно заметить почти в одной только его пьесе, о которой он сам сказал:

В моих запутанных стихах,
Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил.

Несмотря на все сие, никто между новейшими нашими поэтами не возбуждает к себе столько энтузиазма, как Жу-

ковский. Причина ясная: он живее всех говорит сердцу и воображению. В заключение сей характеристики нельзя не привести тех стихов, которые написал певец Руслана и Людмилы к портрету Жуковского. В этих пяти строках, кажется, более сказано о нем, нежели мы нашлись сказать на нескольких страницах:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет времен таинственную даль;
Услыша их, воспламенится младость,
Утешится безмолвная печаль —
И резвая задумается радость.

Батюшков держится *новейшей* классической школы. Нежность чувств, умеряемая голосом истины, воображение живое, но всегда послушное строгому вкусу, описания прекрасные, но никогда не преувеличенные — отличают сию школу от романтической. Батюшков задумывается, а не мечтает. Его скорее увлечет чувство, нежели воображение. Он преимущественно любит так называемую пластическую красоту, а не воображаемую. Ею исполнена для него природа. Чувство неги и наслаждения, в разнообразнейших видах, но постоянно прекрасных, разливается на всю его поэзию. Самые высокие лирические его произведения неизъяснимо смягчаются от сего главного характера. Он имеет большую власть над своим талантом — и никогда не приносит невольных жертв (если можно употребить такое выражение) насилию вдохновения. Он, кажется, не верит, чтобы все, прекрасное для него, было прекрасным и для других, и потому его произведения, выдержавшие искус обдуманности, сбросили с себя личность времени и места, и вышли в таком виде, в каком без застенчивости могли бы показаться в древности, и в каком спокойно могут идти к будущим поколениям. По крайней мере классическая школа, как древняя, так и новейшая, менее прочих страдала от времени и места. По любимым картинам природы Батюшкова с трудом себе веришь, что он житель холодного Севера.

В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес пустынных, птиц и вод:
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.

Мелодический слог его составляет самую нежную, самую *сладостную* (употребим любимый его эпитет!) музыку для слуха и сердца. Он создал особенные формы для словотечения русского языка и заставил — не говорю мужчин — даже многих женщин с бо́льшим удовольствием читать русские стихи, нежели с каким они обыкновенно прежде читывали французские. Состав его пьес всегда бывает обдуман строго; ход их ясен и свободен. В одном можно упрекнуть его — что он до сих пор подарил нам одну только небольшую книжку стихов своих.

НЕКРОЛОГ БАРОНА ДЕЛЬВИГА

14 января скончался здесь в С.-Петербурге надворный советник барон А. А. Дельвиг. Погребение тела его совершено на Волковом кладбище 17 числа. Он родился в Москве 6 августа 1798, воспитывался в Императорском Царскосельском Лицее.

Изящные науки составляли постоянный предмет занятий барона Дельвига. Оставив место воспитания своего в 1817 г., он предался им со всем жаром юной души и не изменил до самой смерти. Не было ни одной отрасли познаний, прикосновенных к изящным наукам, которой бы он не почитал для себя необходимою. История народов и философии, художеств и древностей столько же обращала на себя его внимание, как и всякая новая теория литературы. Что касается до самых произведений великих писателей, он, во время чтения своего, изучал их с такою любовью, с какою истинный художник рассматривает творение бессмертного предшественника. Особенно в этом отношении барон Дельвиг воспользовался должностью своею, когда он определен был помощником библиотекаря в Императорскую Публичную библиотеку. Проводя время по целым суткам в этом храме просвещения, ничем не будучи развлекаем в свободные часы от посещения читателей, удовлетворяя вдруг и обязанности своей и страсти, он собрал драгоценные сокровища для потребностей умственной жизни.

Поэтический талант барона Дельвига раскрылся, можно сказать, вдруг и довольно рано. Некоторые из своих стихотворений написал он, бывши пятнадцати лет. Но это не были в истинном значении детские опыты, обыкновенно забываемые в последствии времени. Стихотворения: *К Лилете*, *Первая встреча* и *К Диону*, из которых последнее

напечатано было 1814 года в одном из тогдашних журналов, не представляют ничего слабого. Заметно только, что муза Горация была первою вдохновительницею молодого поэта. Движения собственного его вкуса более ознаменовались в эту эпоху два раза: при известии о смерти Державина (1816) и при окончании курса учения лицейских его товарищей. Дарование, возращенное в своем недре, Лицей почтил самым трогательным образом. До сих еще пор, при каждом новом выпуске, тамошние воспитанники, покидая Царское Село, поют все тот же хор:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины;
И уж Отечества призванье
Гремит нам: «шествуйте, сыны!»
О матерь! вняли мы призванью;
Кипит в груди младая кровь!
Длань крепко съединилась с дланью:
Связала их к тебе любовь.
Мы дали клятву: все родимой,
Все без раздела — кровь и труд!
Готовы в бой неколебимо,
Неколебимо правды в суд!
Тебе, наш Царь, благодаренье!
Ты сам нас юных съединил,
И в сем святом уединенье
На службу музам посвятил!
Прими ж теперь не тех веселых
Беспечной радости друзей,
Но в сердце чистых, в правде смелых,
Достойных благости Твоей!
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас! [1]

Счастливые начала поэзии, несмотря на то, что ими огласились одни почти Царскосельские сени, приготовила в С.-Петербурге барону Дельвигу самый лестный прием. Он здесь приветствован был дружеской улыбкою известнейших писателей. Два ученые Общества: одно Любителей Словесности, Наук и Художеств [2], а другое Соревнователей Просвещения и Благотворения, в 1818 году поставили себе в обязанность избрать его в число своих членов. В последствии времени и Московское Общество Любителей Рос-

сийской Словесности [3] изъявило ему столь же справедливое внимание.

Постоянство в занятиях, драгоценных для души образованной, жажда совершенства в искусстве своем и сближении с людьми, постигнувшими таинства этого искусства, приметным образом действовали на успехи барона Дельвига, уже как ревностного литератора. Во множестве молодых сочинителей невозможно было не отличить его по разнообразию и оригинальности вымыслов, по верному поэтическому чувству и по прекрасному употреблению почти всех стихотворных форм.

Лет за восемь у нас каждое небольшое произведение в прозе или в стихах, прежде нежели поступит оно со временем в полное собрание сочинений автора, обыкновенно являлось в журналах. Кто желал составить себе понятие о всех произведениях изящной словесности в каком-нибудь году, тот принужден бывал перелистывать огромные груды журналов. Чтобы отвратить такую неприятность в занятии очень полезном, литераторы начали издавать альманахи, посвящая их исключительно словесности изящной. В первый раз они явились 1823 г. Естественно, что каждый издатель альманаха по преимуществу мог пользоваться только произведениями людей из своего круга. Тогда барон Дельвиг почувствовал всю важность положения своего в отношении к русской словесности. Образованность, вкус, талант и прекрасная душа давно уже связали его дружбою с теми людьми, в которых Россия видит представителей своего просвещения. В 1825 г. публика получила первую книжку его *Северных Цветов,* которые продолжал он издавать ежегодно до смерти своей, и в которых его собственные сочинения назвать можно цветами благоуханными.

Авторское славолюбие не было главною пружиною литературных занятий барона Дельвига. Он, не заботясь об отдельном издании своих сочинений, сердечно радовался успехами каждого истинного таланта, потому что с ними соединяются лучшие наслаждения каждого образованного человека. Но в 1829 г. неожиданно выбрал он и напечатал те из своих стихотворений, которые почитал окончательно отделанными. Может быть, ему любопытно было услышать беспристрастный приговор любимым его созданиям, а может быть, в этом внезапном движении души явилось уже предчувствие кончины, так недалеко его ожидавшей. Как бы то ни было, издание *Стихотворений барона Дельвига* останется одним из замечательнейших памятников русской поэзии текущего столетия. Они дышат свежестью кар-

тин; в них кипят чувства; от них раздается музыка величественной простоты; они, как времена года, блестят собственными каждое красотами: кто, прочитав их, не почувствует наслаждения, тот или отжил, или не начинал еще жить для восторгов к изящному.

В прошедшем году барон Дельвиг начал издавать *Литературную Газету*. Полнота и ясность литературных его сведений были залогом успехов его на новом поприще. Рассматривая новые книги, он уже изложил несколько главнейших своих мыслей о разных отраслях словесности. Но преждевременная смерть остановила труды его.

В наш век с именем автора не сливается уже понятие о жизни совершенно кабинетной. Светские собрания оживляются остроумием и любезностью многих писателей. Барон Дельвиг также любил общество, но дружеское, избранное, достойное ума его и сердца, в нем и полагал он весь аристократизм свой, правда, не увлекший его в большой свет, но защитивший от знакомств скучных и слишком уж нелестных. Ум его от природы был более глубок, нежели остр. Оттого иногда заметна была в нем неговорливость. Но по характеру своему он расположен был к самой счастливой веселости и беспечности, так что от одного присутствия его одушевлялось целое общество. Ежели он увлекался разговором, то обнимал предмет с самых занимательных сторон и удивлял всех подробностью и разнообразием познаний. В домашнем кругу, даже в кабинете его, никто не примечал перемены на этом открытом, ясном, веселом лице, которое было чистым зеркалом прямой и любезной души. Провидение, пославшее ему столько прекрасных даров, отказало в одном долголетии.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Самая долговременная жизнь человека, который провел лучшие свои годы в тишине размышления, в деятельности почти неподвижной, в однообразной беседе с литераторами да с книгами, не может быть обильна любопытными событиями. Она поучительна для некоторого числа изыскателей, преследующих всякое явление умственной жизни, чтобы прибавить несколько истин в науку о духе человека. В тридцать семь лет и восемь месяцев жизни своей (с 26 мая 1799 по 29 января 1837) Пушкин, окончивший столько творений, возбудивших всеобщее внимание, не успел биографии своей доставить заманчивости разнообразием проис-

шествий внешних. Но внутренняя жизнь, высказавшаяся в его сочинениях, богата поучительными событиями.

До поступления Пушкина в Царскосельский лицей (1811), вероятно, уже возбуждена была несколько деятельность его отроческого таланта. Отец его и дядя (известный стихотворец наш, Василий Львович Пушкин) издавна в дружеских находились сношениях с Дмитриевым (И. И.), Карамзиным и Жуковским. Но лицейская жизнь, где общество не изгоняло искренности, а соперничество не ослабляло дружества, быстро и благотворно раскрыла его душу. Много было обстоятельств временных и местных, которые, при открытии лицея, необыкновенное сообщили движение умственной деятельности воспитанников. Участие государя императора и всей августейшей фамилии в их судьбе, гласность надежд, соединявшихся с судьбою сего заведения, тщательный выбор наставников, из которых один, едва переступил через порог лицея, как и дошагнул до блистательной известности *, новость самого помещения, где слава громкого царствования Екатерины II звучала повсеместно, — все поражало и чувства и воображение и ум счастливых пришельцев.

Пушкин, как ученик, не был из числа прилежных. Но едва ли не деятельнее всех занимался он чтением и собственными литературными работами. О лекциях Куницына, который преподавал нравственные науки, он вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение. В продолжение лицейской жизни написал он много стихотворений мелких; там же составлен план *Руслана и Людмилы* и даже положено начало самой поэме. Из других его стихотворений, относящихся к этой эпохе, известны: *Воспоминания в Царском Селе*, *К Лицинию*, и ненапечатанное, но читанное им при выпуске на экзамене: *Безверие*. В одном из тогдашних журналов, без подписи сочинителева имени, печатаемы были все сочинения Пушкина, им писанные на 12, 13 и 14 году от рождения. К сожалению, он нигде не упомянул о них, не внес, как образчик лепетания детской музы, в собрание своих стихотворений — и они едва ли не погибли для потомства **.

---

* А. П. Куницын, при открытии лицея произнесший речь к воспитанникам в присутствии его императорского величества и августейшей фамилии.

** Известно, что это предположение, к счастью, не оправдалось: лицейские стихотворения Пушкина давно напечатаны.

Все товарищи, даже не занимавшиеся пристрастно литературою, любили Пушкина за его прямой и благородный характер, за его живость, остроту и точность ума. Честь, можно сказать, рыцарская, была основанием его поступков — и он не отступил от своих понятий о ней ни одного разу в жизни, при всех искушениях и переменах судьбы своей. Неизбалованный в детстве ни роскошью, ни угождениями, он способен был переносить всякое лишение и чувствовать себя счастливым в самых стесненных обстоятельствах жизни. Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительною памятью и проницательностию. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь. Его голова, как хранилище разнообразных сокровищ, была полна материалами для предприятий всякого рода. По-видимому, рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи. Но все отличные способности и прекрасные понятия о назначении человека и гражданина не могли защитить его от тех недостатков, которые вредили его авторскому призванию. Он легко предавался излишней рассеянности. Не было у него этого постоянства в труде, этой любви к жизни созерцательной и стремления к высоким отдаленным целям. Он без малейшего сопротивления уступал влиянию одной минуты и без сожаления тратил время на ничтожные забавы. К числу последних надобно отнести и сочинение некоторых его шуточных стихотворений, которые он писал более для возбуждения веселости в товарищеском кругу, нежели по наклонности к этому роду. Таким образом он первоначально обязан был необходимыми для литератора сведениями более восприемлемости души своей, нежели усилию и ревности характера. Пробыв шесть лет в лицее, он 1817 года в октябре явился на новом поприще в Санкт-Петербурге. Незабвенную сцену единственного свидания своего с Державиным, который присутствовал на лицейском экзамене при переходе воспитанников в старший класс, он сам описал прекрасно.

На службу он поступил в иностранную коллегию. Известность о его таланте, дружба, уже связывавшая его с первыми писателями России, наконец светские отношения фамилии Пушкиных и Ганнибаловых (из последней происходила мать его) доставили ему в столице все удовольствия, которых так жаждет молодость, и которые еще привлекательнее казались юноше с пылким сердцем, прожившему шесть лет в прекрасном, но все-таки затворничестве. Три

года, проведенные им в Санкт-Петербурге по выходе из лицея, отданы были развлечениям большого света и увлекательным его забавам. От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением, питая и собственную и его суетность этою славою, которая так неотступно следовала за каждым его шагом. Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени в бездействии. Но всего вреднее была мысль, которая навсегда укоренилась в нем, что никакими успехами таланта и ума нельзя человеку в обществе замкнуть круга своего счастия без успехов в большом свете. Говоря о наших обществах, можно по многим причинам согласиться в этом. Высшая образованность, жизнь непринужденная и удовлетворяющая требованиям светлого ума, вкус, верная оценка талантов, европейский горизонт известий и суждений — все это составляет у нас исключительную принадлежность большого света. Но литератор невольно сделается виновным и перед собою и перед потомством, если, для преходящих удовольствий, отдаст большому свету в жертву лучшие дары природы: мир души своей и независимость плодотворной мечты.

К счастию, Пушкин нашел средство жить и в мире поэзии и в прозе света. Большую часть дня утром писал он свою поэму, а большую часть ночи проводил в обществе, довольствуясь кратковременным сном в промежутке сих занятий. Над ним носились в эту эпоху образы созданий Ариоста и Виланда[1]. Их он вводил в сферу древней Руси, и таким образом начал выказываться свет национальной русской фантазии в литературном произведении с европейскими формами. Жуковский, переселившийся тогда из Москвы в Санкт-Петербург, соединял около себя все таланты. У него прочитывал Пушкин каждую новую песнь *Руслана и Людмилы*. На стихотворениях его, начиная с произведений двенадцатилетнего возраста, нигде не обозначилось ни одного признака, который бы напоминал поэтов наших осьмнадцатого столетия. Язык Пушкина есть плод переворота, произведенного Жуковским в стихотворном языке и его формах. В 1820 г. поэма *Руслан и Людмила* была кончена. Автор спешил оставить столицу, где успел наскучить рассеянностию. Жуковский, прощаясь с ним, подарил ему литографированный тогда портрет свой и шутя написал на нем: «Ученику-победителю от побежденного учителя в высоко торжественный день окончания *Руслана и Людмилы*».

Много было журнальных толков во время оно о новой поэме. Все они, как ведется в журналах, не касаются существенного в искусстве. Одни обращены на событие, другие на рифмы, третьи на фразы, четвертые на шутки и т. д. Никто не заметил, что это была первая на русском языке поэма, которую все прочитали, забывши, что до сих пор поэма и скука значили у нас одно и то же.

Между тем Пушкин переехал в Кишинев. Он определен был в канцелярию полномочного наместника Бессарабии генерал-лейтенанта Инзова, в котором нашел он внимательного к себе и добродушного начальника. Отсюда началась, в некотором смысле, кочующая жизнь поэта, продолжавшаяся пять лет до возвращения его в псковскую отцовскую деревню Михайловское. Без этой жизни многого не нашли бы мы в стихотворениях Пушкина. Он оправдал одну известную истину, что для поэзии мало одного воображения: нужно сближение с природою и непосредственное прикосновение к ее красотам. Поэт заговорил о предметах вдохновения своего языком определенным, отчетистым и ярким. Ему не нужно было придумывать картин для украшения произведений своих. Перед ним, во всей поразительности и неисчислимости, предстояли в натуре картины всех родов художнической красоты. Они властительно волновали ум его и очищали выражения от тех излишков и общностей, которые неизбежны в языке кабинетного писателя. Вся южная Россия, образующая великолепный амфитеатр с трех сторон Черного моря, в разных направлениях обозреваема была Пушкиным. Он брал поэтические дани и с кочующих племен Бессарабии, и с торговых пришельцев Одессы, и с классических развалин Тавриды, и с зеленеющих волн Эвксина, и с диких вершин Кавказа. На горизонте европейской поэзии ярко заблистала в это время звезда Байрона. Жадно, полный сочувствия, смотрел на нее Пушкин, вступая в новый период своей стихотворной деятельности.

В ответ на все отзывы петербургских критиков он прислал свой блестящий *Эпилог* к поэме *Руслан и Людмила*, а вслед за ним и *Кавказского Пленника* (1822), который, до последнего издания в полном собрании его стихотворений, четыре раза был перепечатываем (1822, 4, 8 и 1835). Между первою поэмою и новым произведением Пушкина ничего почти не было общего, кроме прекрасных стихов. Там все сочинено, то есть придумано, украшено, выработано; здесь большею частию все взято с оригинала. Юношеская игривость, классические замашки в размещении кар-

тин и равновесии разнообразных красот заменены свежестию ощущений, однотонным, но верным голосом страсти, характерами, не вполне дописанными, но сильными и увлекательными по своей новости и истине. Вот что в последствии времени написал Пушкин сам об этой поэме своей: «В Ларсе нашел я измаранный список *Кавказского Пленника*, и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно: но многое угадано и выражено верно».

Великий талант, явление, столько раз повторявшееся перед людьми, но неразгаданное, необъясненное еще ни одним философом, чужд всякой наружной системы. В нем, однако ж, больше, нежели в уме обыкновенном, благотворных начал, из которых постоянно развивается совершенствование духа. Даже надобно думать, что и система жизни его, как план достижения совершенства умственного, стройнее и правильнее, нежели все мелочные средства, придумываемые недальновидною расчетливостью. Талант есть высшая, натурально-систематическая деятельность души. По крайней мере так мы принуждены изъяснять изумительные успехи Пушкина в его искусстве посреди развлечений нового рода, непохожих на столичные, но тем не менее умерщвляющих видимую стройность занятий литератора. Во время почти беспрерывных переездов своих, увлекаемый гостеприимством, соблазнительным для пылких юношеских лет, по природе наклонный к поискам свежих впечатлений, столь восхитительных в роскошном южном краю, Пушкин успевал со всем знакомиться, что происходило в европейской литературе. Он даже нашел время выучиться тогда итальянскому языку и отчасти испанскому. По выходе из лицея он знал только латинский, французский, английский и немецкий. Перебирая мелкие стихотворения, в это время им написанные, чувствуешь, что он не защитился ни от одного впечатления, которое дышало вдохновением. Сознавая необходимость идти беспрестанно за успехами времени и действовать соответственно не только силам своим, но и обновляющемуся просвещению, он писал из Бессарабии:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум.
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Другое из мелких его стихотворений, относящихся к этому же времени, напитано и полнотою поэтических дум, и свежим еще чтением римского изгнанника-поэта, над могилой которого он писал:

Овидий! я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил.
. . . .
Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный Грек свободу вызывал:
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны
И музы мирные мне были благосклонны.

Между тем, еще раз, он увлекся Байроном, и в духе его поэзии сгруппировал картину, для которой краски перед ним лежали на развалинах бахчисарайского дворца. Обаятельный как волшебная музыка, этот род поэзии, едва скользящей по исторической истине и уносящей душу в идеальную мечтательность, в царство какой-то прозрачной, не нашей жизни, увлек было всю Европу. Он в таком же отношении к поэзии вечной, то есть простой и истинной, как звуки самого лучшего инструмента к прекрасным звукам человеческого голоса. Пушкин, мужая в созданиях своих, скоро почувствовал потребность других совершенств. *Бахчисарайский фонтан* свой он любил только, как воспоминание Тавриды, где все лелеяло и чувства его, и мысли, и самые часы отдохновения, там,

Где некогда, в горах, сердечной думы полный,
Над морем он влачил задумчивую лень.

Но роскошь описаний, новость картин, исторические намеки, противоположность характеров Заремы и Марии, сладкозвучие этих неслыханных стихов доставили поэме удивительный успех. Ее издавали несколько раз (1824, 1827, 1830 и 1835), переписывали и выучивали наизусть. К периоду страннической жизни поэта (1824) относится еще небольшое сочинение, названное им *Цыганы* (изд. 1827 и 1835). Оно изумило всех отчетливостию создания, простотою действия и языком, до такой степени обрезанным и точным, что едва ли найдется во всем произведении эпитет или слово, которое бы показывало усилие художника. Форма изложения этой поэмы, счастливо выдержанная, заставила автора

сознать в душе его присутствие драматического таланта — и это обратило мысли его на *Бориса Годунова*. Но Байрон, и над своею могилою, которая должна была озариться славою выше славы поэтической, еще раз потревожил и соблазнил нашего поэта. Так можно думать о начале *Евгения Онегина*, которого, впрочем, продолжение и окончание переходят в другой период поэзии Пушкина. Онегин писан то в Бессарабии, то в Одессе, то в Михайловском, то в Москве, то в Санкт-Петербурге, то в Болдине (Нижегород. деревне Пушкина). Первая глава его (отдельно изданная 1825 и 1829) напоминает своим тоном *Чайльд-Гарольда* (а не Беппо, как сказал неискренно автор, желая, вероятно, отклонить внимание читателей от сравнения с источником первой его мысли). Между тем, кроме байроновского тона, все самобытно в этой поэме. Пробегая ряды картин, выставленных в длинной ее галерее, кажется, путешествуешь по России и проживаешь в каждом месте полное событие, не историческое, но важное для познания нравов, схваченное в интереснейшем кругу со всею нескромностию правды. На страницах Онегина, достовернее нежели на записках и летописях, можно основать ученому занимательнейшие изыскания эпохи. Набрасывая первую главу его, Пушкин, вероятно, желал только сберечь для собственного воспоминания исчезнувшие годы первой своей молодости, впечатления северной столицы и даже самый образ тогдашней своей жизни. Едва ли развертывалась перед ним аллея будущности, ожидавшая Онегина и Татьяну, о чем он прекрасно сказал в конце своего романа:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.

По мере того, как переезды, поэзия, люди и опыты помогали ему раздвигать, разнообразить и оживлять картины Онегина, сам поэт начинал живейшее принимать участие в характере своего творения. Его собственный о нем отзыв, помещенный в посвящении, высказал все, таившееся в душе автора. Вот его слова:

Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Так образовался один из лучших памятников русской литературы; он навсегда сохранит от забвения любопытную эпоху жизни Пушкина и созданного им языка, гибкого, неистощимого в новости образов, красок и оттенков. В этом памятнике столько сцен комически благородных, трогательных, сатирических, глубокомысленных и полных самой поэтической мечтательности! Онегин то отрывками, то стихами, то фразами перешел во всенародные поговорки, остроты и пословицы. Пока автор не издал его вполне, отдельные главы составляли выгодный промысел досужих и сметливых переписчиков, продававших тетрадки их в столицах и внутри России по ярмаркам. Отдельно изданы в печати: глава II — 1826 (во второй раз 1830), III — 1827, IV, V и VI — 1828, VII — 1830, VIII — 1832. В 1833 сделано особое издание Онегина всего, а в 1837 еще новое.

В конце 1824 года Пушкин оставил Одессу. Читая прощальные стихи его: *К морю,* узнаешь современника, достойного двух великих представителей европейской славы. Сколько тут меланхолии! Какие резкие черты проведены на самых мимолетных абрисах!

Прощай, свободная стихия!

. . . .

Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил...

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум!

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен;
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел...

Возвращаясь из южной России в псковскую деревню свою, он посетил Москву и Петербург, где так жадно читались его стихотворения. Между его рукописями находился уже и *Годунов,* создание зрелых сил, которое утвердило независимость его таланта. Но еще долго хранился он в портфеле автора. Деревенская жизнь Пушкина была однообразна. Впрочем, без особенных причин, никогда он не изменял порядка своих занятий. Везде утро посвящал он чтению, выпискам, составлению планов или другой умственной работе. Вставая рано, тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки. Перед обедом, который откладывал до самого вечера, прогуливался во всякую погоду. По соседству с его деревнею и теперь живет доброе благородное семейство, где обыкновенно он проводил вечер и очень часто обедал[2]. Черты этой жизни перенесены им отчасти в IV главу Онегина. Писать стихи любил он преимущественно осенью. Тогда он до такой степени чувствовал себя расположенным к этому занятию, что и из Петербурга в половине сентября нарочно уезжал в деревню, где оставался до половины декабря. Редко не успевал он тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было в течение года. Теплую и сухую осень называл он негодною, потому что не имел твердости отказываться от лишней рассеянности. Туманов, сереньких тучек, продолжительных дождей ждал он как своего вдохновения. Странно, что приближение весны, сияние солнца всегда наводили на него тоску. Он это изъяснял расположением своим к чахотке. В одиночестве нередко бывала собеседницею поэта старушка, его няня, трогательно воспетая в стихах Языкова[3]. Пушкин беспрестанно выписывал из Петербурга книги, особенно английские и французские. Едва ли кто из наших литераторов успел собрать такую библиотеку, как он. Не выходило издания, почему-нибудь любопытного, которого бы он не приобретал. Издерживая последние деньги на книги, он сравнивал себя со стекольщиком, которого ремесло заставляет покупать алмазы, хотя на их покупку и богач не всякий решится. В то время как он жил в деревне, напечатано было, кроме двух первых

глав Онегина, собрание мелких его стихотворений (1826). Оно в несколько недель разошлось все. Лицейский товарищ и друг Пушкина, барон Дельвиг, с 1825 года начал издание альманаха *Северные Цветы.* Пушкин принимал в этом труде самое живое участие — и каждый год альманах украшался новыми его стихотворениями.

Осенью 1826 года Пушкин снова вошел в службу по иностранной коллегии. Он сначала из деревни отправился в Москву, где имел счастие быть представленным его императорскому величеству. Оживотворенный высочайшим к себе вниманием и благоволением государя императора, он еще с большею деятельностию предался литературе. До 1831 года местопребыванием его постояннее были Москва и Санкт-Петербург. В 1827 напечатаны, сверх III главы Онегина, следующие его поэмы: *Цыганы, Братья-разбойники* и *Граф Нулин.* Ко второй из них впоследствии присоединил он небольшое вступление, но столь замечательное по новости сурового характера в картине и верности колорита, что оно может быть причислено к отрывкам самого высокого достоинства. Подобного тону прибавление к этой поэме, найденное в бумагах автора, помещено в новом его полном издании на конце поэмы, которая вся поразительна силою воли, глубиной ощущений и воплями сердца. Совсем другое представляет *Граф Нулин.* Здесь тонкий ум, веселая насмешливость, грациозная сатира облекли всею своею прелестью происшествие самое малосложное, но тем более вероятное и, следственно, тем более действующее на читателя, если он не стоит вне сферы действующих лиц.

Появление новых стихотворений Пушкина в 1829 году составляет резкую эпоху в истории его литературных мнений и успехов. До сих пор, что̀ ни писал он, исключая *Годунова,* о котором еще не знала публика, все носило на себе характер поэзии, блестящей свежестию созданий, выразительностию образов, грациею положений, силою и музыкою языка, оригинальностию взглядов, сравнений и других способов украшения мыслей. Нет сомнения, что каждое из этих достоинств необходимо для успехов автора. Но поэзия, как изящное искусство, совершенствоваться может и должна не только в своих формах и содержании, но и в гармонии их с бесконечным разнообразием местностей, эпох и всех так называемых красок жизни. Внимание к совершенствам этого рода настает гораздо позже, нежели первого. Овладеть языком, оживотворить новостью встретившийся предмет поэмы или другого сочинения, обставить его всем, что лучшего сливается в воображении с его идеею,

конечно, невозможно без особенного таланта. Но этот талант, в первой своей деятельности, подобен инстинкту. Он производит, потому что живет. В цветущем своем возрасте поэт увлекается блеском и выразительностию всего им производимого. Глубже опускается он в таинства искусства, только сравнивая беспрестанно впечатления, производимые творениями его, с теми впечатлениями, которые остаются в душе от созерцания природы и самого человека во всех их видоизменениях. Начиная замечать уклонения свои от вечного образца истины и красоты, он показывает усилие произвести оборот в своих произведениях. Добровольно отказывается он от этих привлекательных нарядов юности и вносит в систему своего мышления высокую простоту и отвечающую сердцу истину.

За несколько лет еще прежде, проникнутый этою мыслью, Пушкин произвел *Годунова*. Но в этом оригинальном труде, в оправдание оборота своей методы, он видел Шекспира. Драма естественнее сближается с законами жизни. В драме не сам поэт, а посторонние люди, за которых легче думать, нежели чувствовать. Между тем поэма, столько веков (после Гомера) являвшаяся на какой-то эстраде, могла ли вдруг снизойти с нее, и в такое время, когда Байрон еще выше увлек ее в идеальный мир? Пушкин в 1826 г. высказал одним стихом, что думает он об неестественных характерах героев и героинь Байрона. Вот его стихи Баратынскому в защиту Эды:

Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет как червонец;
Твоя чухоночка ей-ей
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил — прямой чухонец.

Он осмелился теперь торжественно обновить искусство. Он избрал происшествие, не отдаленное от нас, но исполненное поэзии. Его воображение превратилось в верное зеркало, где отразились люди того времени с их нравами, характерами, в их костюмах, с их наречием и во всей поэтической точности жизни. Таким образом должна была явиться поэма, не сочинение Пушкина, но поэма, созданная эпохою Петра Великого и только оттиснутая художником Пушкиным. Вот история появления *Полтавы*, с которой надобно вести период лучших произведений нашего поэта. Кто вникал в причины странной судьбы великих созданий художников, тот знает, и конечно не удивлялся, отчего многие не умели достойно оценить этого произведения. Приведем ка-

кие-нибудь два места, одно, наприм., из *Кавказского Пленника,* другое из *Полтавы,* чтобы взглянуть, какое пространство на художническом поприще отделило прежнего поэта от теперешнего. Вот стихи, вложенные в уста черкешенки:

Ах, Русский, Русский! для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалася!
Не долго на груди твоей
В забвеньи дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда-нибудь?
Ужель навек погибла радость?
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной:
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга —
Ты не хотел.

И вот как говорит с Мазепою Мария:

Послушай, гетман: для тебя
Я позабыла все на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете —
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастие мое,
Но ни о чем я не жалею...
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?
. . . .
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах — я забыта;
Ты долгой ночью — иль один,
Иль с нищим, иль у езуита.
Любовь смиренная моя

Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно — знаю я —
Здоровье Дульской. Это новость!
Кто эта Дульская?

Некоторые подробности, касающиеся до сочинения Полтавы, и собственные мысли Пушкина о критике на нее, о сравнении поэмы его с Мазепою Байрона сделались уже известными после его смерти. Также в 1829 г. вышло новое издание разных мелких его стихотворений в двух томах. Издатели, не держась классификации в их размещении, редко правильной и еще реже для всех удовлетворительной, поместили их в хронологическом порядке, что́ теперь заставляет дорожить особенно этим изданием. Оно, обнимая вдохновенные заметки мгновенных ощущений поэта в продолжение первых пятнадцати лет его авторства, доставляет приятное удобство при чтении книги следовать за всеми изменениями идей его, языка и самого вкуса в выборе предметов. В этом же году Пушкин еще раз посетил места, которые так восхищали его первую молодость. Он переправился через Кавказ и даже, оставив за собою Грузию, следовал во время тогдашней кампании за движением наших войск до Арзрума, бывши благосклонно принят главнокомандующим. По этому одному, столь отважному и вместе странному, путешествию можно судить, какая была у него в сердце жажда разнородных наблюдений: он в последствии времени напечатал описание любопытного этого путешествия, образец прозы, свободной, правильной и единственной по удивительной простоте своей и занимательности.

С 1830 года барон Дельвиг начал издание *Литературной Газеты*. Пушкин и в ней принимал такое же деятельное участие, как в *Северных Цветах*. Он помещал в ней не только свои стихи, но и прозаические статьи, которых остроумие, тонкость мыслей и оригинальность слога тотчас указывали на автора, без подписи его имени. Во время пребывания своего в Москве он предполагал было приступить к печатанию *Годунова*. Ему хотелось написать и предисловие. Между тем другого рода обстоятельства обратили мысли его к другим занятиям. Быв тогда помолвлен, весною отправился он в нижегородскую деревню Болдино для устройства хозяйственных дел — и там, по случаю открывшейся в Москве холеры, задержан был до зимы. Впрочем, кажется, не было еще ни одной осени, в которую бы он написал так много. «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине

писал, как давно уже не писал» (так из Москвы извещал он одного петербургского приятеля, возвратясь к невесте). «Вот что я привез сюда: две последние главы Онегина, совсем готовые для печати; повесть, писанную октавами (Домик в Коломне); несколько драматических сцен: Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы и Дон Жуан. Сверх того, я написал около тридцати мелких стихотворений. Еще не все: написал я прозою (весьма секретное!) пять повестей (Повести И. Белкина)». 1831 год начался для Пушкина печально. 14 января скончался барон Дельвиг. Все письма Пушкина, в которых упоминал он об этой потере, незаменимой для его сердца, дышат чувством глубокой горести. Вот между прочим несколько слов его из письма к *** от 31 января: «Я знал его (Дельвига) в Лицее — был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души — и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Жизнь его богата не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым, чистым разумом и надеждами». Надобно же было Пушкину испытать в это время самые противоположные ощущения. В феврале была его свадьба. «Я женат (из письма его к *** от 24 февраля). Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Память Дельвига есть единственная тень моего светлого существования». Пушкин желал непременно издать сам на следующий год *Северные Цветы* в пользу родных друга своего, для чего и начал заготовлять материалы. Он еще оставался в Москве до мая. Прежде его прибытия в Петербург напечатан был здесь его *Борис Годунов.* Между всеми его сочинениями не было глубже и зрелее произведения, как эта драма, развивающаяся естественно, обнимающая все интереснейшие лица эпохи, показывающая обдуманность в каждом слове и поражающая не только последовательностью явлений, но каким-то чуднопонятым масштабом каждого монолога, доведенного до совершенной безыскусственности.

Переезжая из Москвы в Петербург, Пушкин вздумал остаться до зимы в Царском Селе. «Мысль благословенная (говорит он в письме к *** от 26 марта)! Лето и осень таким образом я проведу в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. С тобою буду видеться всякую неделю, с Жуковским также. Петербург под боком. Жизнь дешевая; эки-

пажа ненадобно. Чего лучше?» В самом деле, никогда не был он так доволен и занятиями своими, и обществом, и сам собою, как в эти летние и осенние месяцы, проведенные им точно, будто

В те дни, когда еще незнаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Он пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.

Вдохновение благодатно нисходило тогда на двух поэтов. Жуковский и Пушкин, оба жившие в Царском Селе, писали как бы для того, чтобы ни разу не встретить друг друга без новости. Особенно знамениты сделались в нашей поэзии патриотические строфы, в это время написанные Жуковским, под названием *Русская Слава,* а Пушкиным: *Клеветникам России* и *Бородинская Годовщина.* Но сказки, в духе простонародных русских, преимущественно занимали тогда царскосельских поэтов. Их написано было несколько. Всем памятны из них Жуковского *Берендей* и Пушкина *Салтан.* В течение этого же года напечатаны были: *Повести Пушкина,* с вымышленным именем *Ивана Белкина* и его биографиею, которую надобно назвать совершенством шутливого рода. Какое в ней добродушие, простота языка и отсутствие малейшей черты, по которой бы можно подозревать подделку под чужой слог! Эти повести навсегда останутся образцовыми в нашей литературе. Знание человеческого сердца, истина жизни, оконченность сцен, верность характеров и занимательность происшествий — все соответствует удивительному таланту автора.

С 1831 года Пушкин избрал для себя великий труд, который требовал долговременного изучения предмета, множества предварительных занятий и гениального исполнения. Он приступил к сочинению истории Петра Великого. По всемилостивейшему соизволению его императорского величества он начал собирать для нее необходимые материалы, хранящиеся в разных архивах. Переехавши в Санкт-Петербург, он до кончины своей жил уже постоянно в нем за исключением нескольких поездок в Москву и осенних выездов в Михайловское. III часть мелких его стихотворений и последняя книжка *Северных Цветов* изданы им были в 1832 году. Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом, с дачи, он ходил пешком для продолжения своих занятий. Летнее купанье было

в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика, которою он забавлялся иногда с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии.

Чем более накоплялось у него в голове исторических подробностей, тем деятельнее работало его воображение. На пути к главной своей цели он не в состоянии был защититься от прилива эпизодов, увлекавших его ко множеству других предприятий. В числе последних надобно поместить его мысль — обработать отдельно эпоху Пугачевского возмущения. Первоначально, может быть, только для рассеяния себя при однообразном чтении, пробегал он бумаги, не относившиеся к его делу. Но, поддаваясь незаметно овладевшему им любопытству, он уже столько собрал сведений, что принял намерение издать, в виде опыта, историю этого происшествия. Уверенный, что небольшое сочинение не остановит важнейшего его занятия, он быстро приступил к нему. Но в характере литературных его трудов столько было требований добросовестности, что он, почти кончив историю Пугачевского бунта, решился, прежде издания, отправиться в путешествие по восточной части Европейской России, чтобы обозреть внимательно театр описанных им событий и, так сказать, поверить немые летописи живым языком урочищ и самых старожилов, не забывших об ужасах их молодости. В 1833 году летом он удовлетворил своему любопытству — и на следующий год явилось самое сочинение. Текст его короток; потому что автор, кроме существенного, представляет вам все подробности в подлинных бумагах, свидетельствующих и о том, сколько надобно было перечитать кип, чтобы обделать этот быстрый, но ровный и сильный рассказ, и о том, как он бескорыстно отказался перефразировать любопытнейшие донесения, чем, конечно, расцветил бы свою книгу.

В первые два года издания журнала *Библиотека для Чтения* помещал в нем Пушкин мелкие свои стихотворения, которых IV часть издал особо в 1835 году. Там же напечатаны две его пьесы в прозе: *Пиковая дама* и *Кирджали*. Путешествие в Оренбург доставило ему материалы для новой повести. С 1836 года начав издание своего журнала, он поместил ее в IV томе *Современника*, под названием: *Ка-*

питанская Дочка. Во всех своих повестях, подобно как и в стихотворениях, он был изумительно отчетлив. Но в последней достигнул он высочайшего совершенства — простоты самой природы.

В последние годы он был наиболее счастлив, пользуясь всеобщим уважением. Государь император всемилостивейше пожаловал его в камер-юнкеры Двора его величества. Возраставшие успехи в литературе, собранные уже материалы для истории Петра Великого, лучшие годы жизни, семейственная жизнь — все предвещало ему в будущем одни радости и славу.

Пушкин за несколько месяцев до смерти своей лишился матери и сам провожал отсюда ее тело в Святогорский монастырь. Как бы предчувствуя близость кончины своей, он назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него вклад в монастырскую кассу. Другое странное и вместе трогательное обстоятельство рассказано в письме к одному из прежних издателей *Современника* осиротевшим отцом поэта Сергеем Львовичем Пушкиным. Вот его слова:

«Я бы желал, чтобы в заключении записок биографических о покойном Александре сказано было, что Александр Иванович Тургенев был единственным орудием помещения его в Лицей — и что через 25 лет он же проводил тело его на последнее жилище. Да узнает Россия, что она Тургеневу обязана любимым ею поэтом! Чувство непоколебимой благодарности побуждает меня просить вас об этом. Нет сомнения, что в Лицее, где он в товарищах встретил несколько соперников, соревнование способствовало к развитию огромного его таланта».

Последние минуты жизни Пушкина описаны увлекательно красноречивым пером Жуковского.

ЧИЧИКОВ, ИЛИ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» ГОГОЛЯ

I

К вам, г. редактор Современника, я обращаюсь с моими замечаниями о новом сочинении Гоголя и о других предметах, прикосновенных к делу критики — потому к вам, что сами вы не любите говорить много, и еще более потому, что, кажется, не занимаетесь суждениями других журналистов. Следовательно, вы, как говорится, человек свежий.

Я прочитал в «Северной Пчеле», что у Гоголя, судя по Чичикову, нет таланта, что книга написана без вкуса и что даже она наполнена литературными непристойностями[1]. Обвинения, взведенные на писателя, давно известного с хорошей стороны публике, естественно заставили меня поскорее приняться за чтение поэмы. По-моему выходит, что Гоголь едва ли не на столько же поднялся выше в искусстве, сравнительно с прежними его произведениями, сколько он своим талантом вообще превосходит теперешних русских писателей. Скажу более: мне кажется странно, говоря о нем, входить в объяснение, чем сочинение его лучше той или другой книги из напечатанных с ним в одно время. У него в искусстве не видно уже авторского усилия приблизиться к определенной цели, как, например, навести читателя на любимую идею, развеселить его забавною сценою, растрогать идеальною картиною горестного положения, красивым описанием природы приготовить воображение к поразительной нечаянности и тому подобное. Он сам весь проникнут жизнью — и вместо того, чтобы сочинять, он воплощает в действительность свою внутреннюю жизнь, это чудное вместилище всего внешнего. Вышедши из своего уединения мысли на поприще явлений жизни, он обязанность созерцателя переменяет на ощущение действующих, и мы видим только ряд поразительных сцен, не подозревая, что дело состоит в искусстве автора. Таково было всегда расстояние от великих, впрочем, столь редко появляющихся художников, до самых умных, разборчивых и всякой похвалы достойных их учеников или последователей. То, что говорили у вас в Петербурге об игре Листа, меня наводит на эту же мысль. Состояние души его во время исполнения музыки и то, чем сила его чудного постижения наполняет, проникает, так сказать, дробящиеся у другого звуки, и то, что он действительностью сочувствия с идеею автора вносит в сердце слушателей, разве это все усилие искусства, а не страдание или радость жизни? Разве можно при этом говорить о чистоте, вкусе и беглости игры другого артиста, чтобы каждому отдать ему принадлежащее?

II

Вы не подумаете конечно, что поэма Гоголя начата без основной идеи, что искусство ему не покоряется и что он влечется за мимолетящими ощущениями. Но дело в том, что у писателей высшего разряда, как в самой природе, явления просты, доступны постижению всякого, а зарож-

даемые ими мысли разнообразны, обширны и толпятся в душе во всех видах, какие только созерцающая душа воспринимать способна. Сколько людей рассматривает, например, захождение солнца. Всем знакомы явления, его сопровождающие, между тем как у каждого из размышляющих почти всякий раз возникает новая идея при этом зрелище. На книгу Гоголя нельзя иначе смотреть, как только на вступление к великой идее о жизни человека, увлекаемого страстями жалкими, но неотступно действующими в мелком кругу общества. Мы еще не знаем, куда вынесет его этот поток, а между тем видим развитие первых склонностей души и уже прожили с героем период замечательный, не по действиям его, но по впечатлениям. То еще впереди, что в поэме называется действием: перед нами только поднята завеса для объяснения первых, странных его шагов. Неизвестный никому человек прибыл в губернский город. Исполнив известные обряды общежития, он втирается в тамошний круг. Это представляет ему возможность завести поодиночке с каждым из владельцев неожиданный и неслыханный дотоле торг. Он видит уже исполнившимся намерение свое. Но тайна его полуоткрыта — и он едва успевает убраться из города.

Вот как еще немного развито действия, если говорить о сочинении, измеряя достоинство его тем, чем питается праздное и немыслящее любопытство. Но в сущности искусств не вымысел важен, а жизнь. Ее полное и поэтическое развитие есть прямая цель великих художников. Накопление разнообразных периодов жизни без глубокого и верного их обозначения во власти каждого писателя, хотя бы он был без таланта и призвания. Конечно, есть правило в критике: не останавливать движения действия. Но как понимать его? Значит ли это беспрестанно прибавлять что-нибудь новое к общему ходу истории? Совсем нет. Как в действительной жизни наружное движение не доказывает еще внутренней деятельности, которая одна по справедливости называется нашею жизнью; так и в произведении искусства развитие деятельности каждого момента есть истинно художническое движение. Впрочем, критика, на теории основанная, и критика, рождающаяся в минуты созерцания самых явлений, часто не соглашаются между собою — по причинам, очень понятным каждому опытному судье. Все правила сами по себе, конечно, должны быть хороши, потому что рождаются от долговременных наблюдений. Но применение этих правил есть опыт, зависящий от сил каждого. Кто их условия сознает сам собою, тот и дей-

ствует успешно; а кто ловит их и бессознательно применяет, тот производит одну механическую работу, ничего не творя художнически.

III

Для того, что теперь напечатал Гоголь, он взял план до такой степени простой и незаманчивый, что автора можно упрекать в отсутствии разнообразия хода поэмы. У него одиннадцать глав. Первая содержит описание прибытия Чичикова, а последняя отъезд. Средина заключает сцены то у помещиков, продающих ему не только бесполезное, но и тягостное имущество свое, то у городских его знакомых. Главное действующее лицо пока один Чичиков, лицо, еще не высказавшееся, не герой, по старым понятиям, не идеал, по требованиям эстетики, а человек обыкновенный, с какою-то неизвестною нам целью, немножко осторожный, впрочем, попавшийся уже раз в беду от своей неосмотрительности. При нем слуга и кучер — без всякого отношения к его делу. Более выказавшиеся и, каждое в своем месте, более действующие лица найдены автором в том обществе, посреди которого очутился наш герой. Они лучше всего доказывают, какое неистощимое богатство характеров, оттенков, наблюдений, всех невидимых и сокровенных движений жизни хранится в душе автора. Я мог бы вам исчислить очень обстоятельно лица, выведенные в поэме, и обозначить приблизительно черты каждого из них. Но все это не будет ничего доказывать. Может быть, другой сочинитель еще более наберет лиц и представит их в таких обстоятельствах, которых тема многозначительнее. Но можно ли уже сказать, судя по одному плану, что произведение будет совершеннее? Все в нем зависит от совершенства исполнения. А этого нельзя иначе почувствовать, как читая книгу, или вернее сказать, прожив с лицами весь период, обнятый сочинителем.

Изображение целого общества, или порознь его членов, столько принимает особенностей, что невозможно никакой на это привести классификации. По большей части мы замечаем тут особенность самого автора. Но самые высшие, как говорят, красоты этого рода уже доказывают неуспех. Краски и тон должны выразить жизнь представляемого, а не представляющего. Если и заметно в авторе стремление к достижению этой цели, сколько видоизменений окажется в создании в соответственность чувству, уму и воображению писателя! Изучая произведение, самый критик, без сочувствия, без равенства эстетических сил, данных природою

художнику, не впадает ли в собственные ошибки? Все подобного рода соображения надобно иметь в виду, когда мы желаем произнести или принять мнение касательно всякой новой книги, а тем более создания ума высшего и необыкновенно оригинального.

IV

Гоголь, как я сказал, возвел характер искусства в поразительное явление самой жизни. Он, в этом художническом отчуждении собственного участия, так превосходит всех писателей, что нередко перестаешь подозревать его присутствие там, где он, как рассказчик, обязан находиться. Он весь проникнут сферою движущегося около него общества, делит его образ мыслей, говорит его языком, признает за истину всякую, самую ложную его идею — и таким образом ничто вас не потревожит в очаровании созданной им действительности. Послушайте, например, толки городских жителей, прослышавших, что Чичиков накупил крестьян на вывод.

«Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, говорили иные, это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях точно хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой. Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик, на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убежит как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь». — «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте: я несогласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». — «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова? Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик. Я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения». — «Так, так, на это я согласен. Это правда: никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы; но нужно при-

нять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». — «Никогда, никогда, говорил управляющий казенными фабриками, поверьте, никогда это не может быть, ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильных врага: первый враг есть близость губерний Малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были пред глазами Чичикова, и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам-таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». — «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Он может найти и управителя». Да, найдете управителя! все мошенники». — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». «Это правда, подхватили многие. Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве, да умей различать людей; у него будет всегда хороший управитель. Но управляющий сказал, что меньше, как за 5000, нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за 3000 сыскать. Но управляющий сказал: где же вы его сыщете? разве у себя в носу? Но председатель сказал; нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно Петр Петрович Самойлов; вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова». Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала. Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицмейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитан-исправника; что капитан-исправник сам хоть и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения на счет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода; были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостью, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может

сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению: ввести даже в благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обучения.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может».

Приведенный мною отрывок есть общий очерк значительной части общества, посреди которого находится Чичиков. Я предпочел это спокойное изложение суждений резким явлениям какого-нибудь частного случая, именно потому, что оно менее представляет успеха обыкновенному писателю. В усилии набросать, при заготовленной сцене, карикатурный или даже высокий характер немудрено попасть на удачу и сорвать дань улыбки или похвалу читателя; но это я называю искусством, чтоб не сказать вернее ремеслом. Оно говорит много в пользу труда и ничего может не доказывать в истине таланта. Но отсутствие усилия, естественное положение всех лиц и между тем всеобщая жизнь и постоянное действие комической красоты — вот что изумляет в авторе, по-видимому беспечном и все предоставившем самой природе.

V

Вы найдете во многих сочинениях сцены или по крайней мере отрывки, со всею верностью перенесенные из жизни в область искусства. Между тем от них нисколько не выигрывает книга, точно так, как она остается без малейшего достоинства, удовлетворивши всем требованиям теории. Как владеть предметом: ожидать ли полного его развития в самой жизни, возводить ли его в идеальное состояние, ограничиваться ли в его бытии лучшими моментами,

подчиниться ли слепо его собственной натуре? это все вопросы, ежедневно рождающиеся, когда дело доходит до критики; но вопросы, которых ни судьи, ни подсудимые удовлетворительно разрешить не могут. Против каждого приговора можно поставить множество явлений, которые торжественно будут доказывать то односторонность, то полное заблуждение судей. В душе человека, одаренного талантом, неизъяснимо, может быть, и безотчетно, но верно и могущественно действует это чувство, этот вкус, этот такт, сколько, где и когда надобно воплощать природу, а равным образом сколько, где и когда не доверять ей и образовать собственное целое, лишь бы оно в согласии было и с ее законами.

Если бы успех искусства постоянно зависел от устранения бесполезных усилий производящей способности души, много бы у нас сочинений достигло того совершенства, которое поражает меня в Гоголе. Итак, несомненно тут сокрыта высочайшая деятельность таланта в соединении с этим непостижимым, как я сказал, тактом, или с этою врожденною восприемлемостью одних художнических красот всякого предмета. Отчего, например, столько неожиданных перерывов в частях, по-видимому требовавших равной отделки? Есть речи, которые льются нескончаемо, а другие едва начаты и прерваны. Есть характеры, которые развиты и снова пополняются, а много едва намеченных. Подобных вопросов много. Но явления не случайны. Они постигнуты сочувствием поэта с таинством не книжной, а его собственной внутренней эстетики, которая, будь она приведена им в науку, привела бы другого к заблуждениям и ошибкам, столько раз повторявшимся от теорий.

VI

В произведениях искусств, называемых изящными, первое достоинство заключается в независимости создания. Она составляет самый несомненный признак, что художник творит по призванию природы, и, следовательно, законно вступает на свое поприще. Независимость не отстраняет других совершенств, заключающихся в самой идее, всякого изящного произведения, которое не отходит ни в чем от общих законов природы, то есть истины. Но исполнение последних еще не доказывает самобытности таланта, который должен всему в творении сообщить собственное содержание, объем, части, характер, форму, краски и выражение. Все это поразительно чувствуешь, читая «Мертвые души».

И прежде Гоголя были писатели с настроением чисто комическим. И прежде него провинция давала богатый материал талантам. И прежде него смесь европейских нравов с невежеством и безвкусием резко отражалась то в романах, то в комедиях, то в повестях. И прежде Гоголя простонародный язык играл веселую роль на устах героев, подмеченных авторами в глуши, на облучке саней, в людской избе или даже в нашей венте. Мы все читали это с удовольствием, начав с Фонвизина и кончив М. Н. Загоскиным. Но вслушайтесь повнимательнее в какой угодно разговор, помещенный в Чичикове Гоголем. Например, вот старая помещица Коробочка. Чичиков попал к ней из дороги ночью. Они сошлись утром у самовара.

«— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера: в темном платье, и уже не в спальном чепце; но на шее все также было что-то навязано *.

. . . .

. . . .

«— Как же: Протопопова, отца Кирила, сын служит в палате, — сказала Коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и чтобы избавить лишних затруднений, сам даже взялся сочинить».

Сцена еще не оканчивается здесь. Угощение, последовавшее за совершившимся торгом, изображено столько же оригинально, как и живо. Но мы ограничимся выписанными местами. Они достаточно могут показать, в чем состоит независимость таланта Гоголя. Развитие идей в обоих лицах, настойчивость с одной стороны, трусливость и корыстолюбие с другой, хитросплетенные доказательства обманщика и простодушные опровержения глупой старухи, их речи, то сжатые, то многословные, но всегда верные духу нашего неистощимо-разнообразного языка, верные резким особенностям народного мышления — все является в каком-то чудном, поразительном образе, проникнутом и новостью, и истиною, без малейших излишеств, без преувеличений, в естественном движении, в полноте и в завидном спокойствии, которое одно сообщает сцене высокое значение в художественном отношении. Я изъяснил уже прежде, почему характеры, действия и положения лиц не в усиленном состоянии, в состоянии жизни безыскусственной, предпочитаю всем вымыслам разительным, часто призываемым в ху-

* Для сбережения места пропускаем здесь длинную выписку, оканчивающуюся словами, которые засим включаем в текст.

дожества за недостатком естественного могущества красоты. По этой самой причине я здесь привел пример, который свидетельствует, сколько внутренней силы, не зависящей от условных достоинств труда, вложила природа в душу художника. Его собственный, проницательный, верный взгляд возводит в эстетическую сферу такие обстоятельства, из которых обыкновенный писатель не извлек бы ничего, кроме натянутых острот и скучных шуточек. У Гоголя, напротив, никто не смешон, потому что в жизни и действиях каждого есть истина, убеждающая читателя. Перейдешь по всем отделениям вещей и лиц, не только начиная от Се́лифана, но и от самого Чубарова, до легковоздушной институтки и ее отца, и ни в чем не откроешь тени подложного или сомнительного: все возникает из закона внутренней жизни, следовательно, все появляется не для потехи, не от умыслу на забаву, а по назначению, по призванию природы: и так все серьезно, все важно, все внушает естественное участие.

VII

Вы, конечно, не удивитесь, что книгу, которая может служить источником и образцом комической красоты, я нахожу серьезною. В противоположность серьезному я представляю все, что говорится или делается с видимым сознанием не истины, шутки и т. п. В Чичикове, как можно было заметить по многим местам первой моей выписки, не только действующие лица, но и сам автор так проникнуты сочувствием с малейшим обстоятельством описываемых предприятий и жизни, что нередко и читатель перестает быть посторонним лицом, нечувствительно увлекаясь в окружающую его сферу. Нет сомнения, что все это следствие искусства; но в том и торжество таланта, что он из него умел создать действительность. По моему вкусу, те только черты выбиваются из этой волшебной комедии, которые резко наводят на умышленную эффективность, как, например, несколько слов в у́стах Манилова и несколько поступков в жизни Плюшкина. Первое лицо, идеал приторной вежливости, может быть, и подмечено автором в натуре, но по своей редкости отзывается сочинением. Плюшкин упадает несколько в толпу подобных себе скряг, уже выведенных столько раз на сцену. Вероятно, самые недостатки его художественности, то есть все переувеличенное в его поступках, и заслуживает ему похвалы от людей, которые не способны ничем быть тронуты, кроме переувеличения.

Между тем в этом же изображении Плюшкина находится рассказ, погружающий читателя в те невольные, глубокие думы, которые возникают в душе каждый раз, когда ее поражают печальные, но несомненные истины. Это описание постепенности падения человека.

«А ведь было время, когда Плюшкин только был бережливым хозяином»...*

Дополнив это развитие характера сценами, автор, как бы в негодовании на своего актера, восклицает:

«И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду! Все похоже на правду: все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге; не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее; на могиле напишется: здесь погребен человек! но ничего не прочитаешь в хладных бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Вы чувствуете, что тот же самый Плюшкин, над которым за минуту нельзя было не смеяться, довел вас до созерцания красоты высокой. Так все во власти великого таланта.

VIII

Ежели характеры Манилова, который от всякого слова улыбается и в сладостном умилении почти зажмуривает глаза, и Плюшкина, одетого так, что вы не узнаете издали, кто перед вами: мужик или баба, — ежели эти характеры мне кажутся сочиненными, я это говорю не потому, чтобы автор в их быт не довольно внес жизни и ее частностей — их столько, что для обыкновенного писателя довольно было бы на порядочную книгу — но мне кажется, что в поэме, которая так ярко отражает все народное, предпочитать надобно и самые особенности или даже странности, более свойственные нации, нежели просто общечеловеческие. Народ-

* И т. д. до слов: «Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе — одного на правое колено, а другого на левое, — покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна».

ная поэма есть история в лицах, между которыми, естественно, избираются выставляющиеся чаще и ярче. Вот что против изображения Плюшкина сказал сам Гоголь:

«Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки, сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее и суровее, и в двадцать раз грознее, является чрез то ночное небо, и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни».

Мы живем в эпоху, в которую от каждого художника критика требует ближайшего, ясно высказавшегося соотношения между жизнью и произведением искусства. Если поэт и вздумает в своем создании возобновить действие другой нации или давно прошедшего времени, тем не менее от него мы требуем полного изучения избранного им предмета и самого неподдельного сочувствия с жизнью прошлою. Теперь странно вносить в художества неопределенные идеи, верные по изучению сердца человеческого вообще, но не схваченные на известном месте и в известное время. Такого рода художественные задачи забыты в старых книгах и отяжелевших школах. Поэма Гоголя во всех прочих частях может служить образцом соотношения между жизнью и искусством. Я мог бы указать на каждый из выведенных им характеров, как они окружают читателя явлениями русской жизни. Но меня особенно поражает доконченность в объеме всякого из них. Указать на известные черты какого-нибудь лица можно и не бывши великим поэтом. У кого есть несколько наблюдательности, памяти и соображения,

тот и достигнет до описания удачного. Но исчерпать всю глубину неделимого, постигнуть его во всех обстоятельствах; разобрать самые противоположности его действий и привести их к одному началу — вот труднейшая задача, которую решили одни гениальные писатели. Укажу вам на характеристику Ноздрева. Не говоря уже о том, как в каждом его движении разыгрывается сцена типической жизни, наблюдайте его во всех явлениях, где только автор встречается с ним — вы изумлены будете неистощимостью его оттенков, всегда новых, всегда поэтических, всегда истинных, всегда однородных при самых противоречащих по наружности действиях. Подле нашего Ноздрева итальянец Яго покажется очерком, не более: так широко провел Гоголь по картине своею мастерскою кистью.

IX

При всех достоинствах, которые зависели единственно от таланта художника, поэма, конечно, поразит каждого недостатком важным. В ней нет того, чего мы еще не встречаем в нашей жизни — серьезного общественного интереса. Я не умел придумать другого названия тому качеству наших разговоров, мыслей и поступков, которое, не отнимая у них особенностей национальности, придает им ценность общую и вводит их в соприкосновение с интересами других народов. Самые поразительные места, от которых приходишь в восхищение, не выносят души на тот горизонт, откуда она обозревает подобные явления у иностранных писателей. Во всем чувствуешь мелочность и ограниченность. В первой моей выписке, где на сцене целое общество, разговор жив, разнообразен; в нем исчерпано все комическое, прямо относящееся к тому случаю, о котором идет речь — но он прекрасен только относительно, когда читатель как-нибудь сближен с понятиями общества. Для иностранца, который не в состоянии трепетать от художнического мастерства автора, вся прелесть исчезает за недостатком жизни более ценной и более общепонятной. Это все нисколько не говорит против Гоголя, напротив, еще оправдывает его. Автор без такту, привыкнувший обманываться в своих ощущениях, легко подымающийся на ходули, когда не на чем более показаться высоким, обыкновенно подделывается под какой-нибудь известный ему тон — и таким образом все рисует ложно. Гоголь возвратил обществу то, что оно могло ему дать само. Исключения встречаются или в другом разряде людей, или, проглядывая даже здесь, не входят еще

в жизнь как черты резкие. Как прежняя, так и нынешняя наша общежительность хранит в своей истории любопытные доказательства в оправдание того, что и у всех самых великих писателей русских степень развития интересов всегда была ниже, нежели у писателей других народов.

Я не смешиваю этого достоинства с развитием происшествия в поэме или романе. Тут снова требование обращается к автору. Если в вышедшем томе поэмы Гоголя мы не удовлетворены с этой стороны, обвинять его никто не вправе. Он сам объявил, что теперь напечатал одно вступление, следственно, поэма, в собственном смысле, еще впереди. О ней заключение надобно поберечь до выхода обещанных двух томов.

X

В языке поэмы есть недосмотры. Гоголь воображением своим так сливается с образом вещей и лиц, о которых рассказывает, или которые заставляет действовать, что удобство или красоту размещения слов совсем опускает из виду, лишь бы не ослабить силы представления. Грамматическая критика, наверное, возьмет за то свой полушечный оброк с автора. Я думаю, что дурной язык нигде так не господствует, как в сочинениях бесталантных писателей, которые, ничего сильно не чувствуя, не обнимая вполне идей, не умея войти в оттенки частностей, обо всем говорят без отчету, без меры, вяло или с преувеличением, словом, каждою фразою портят язык, если только находят верящих себе читателей. У Гоголя, взамен ничтожных недосмотров, пропущенных без сомнения от поспешности издания книги, есть положительные совершенства языка, красоты, вечно сияющие у гениальных писателей: сжатость выражений, меткость и точность слов и неразъединяемость их от понятий. Вы лучше всего можете об этом судить по моим выпискам. В дополнение привожу еще одно описание — образец красноречивого языка и картинного представления предметов.

«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении» и т. д.

. . . .
. . . .

«Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединяются вместе; когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности».

Последнюю мысль отметил я с тем намерением, чтобы вы, остановившись на ней, вошли в дух писателя, который мимоходом, но с изумительною отчетливостью изложил в этих кратких словах всю свою теорию изящного — и тем сам приготовил ответ критикам на все замечания о его вкусе, роде сочинения, слоге, украшениях и даже, как выражаются они, неотделке языка. Его книга точно этот сад. Кому не понравится зрелище, здесь им представленное, это волшебное вместилище свежести, зелени, благоухания, прохлады, дикости, красоты и безмолвия, тот, конечно, не поймет ни меня, ни автора. Но что сказать тем, которые будут недовольны языком его? Не лучше ли отослать их к тощим писателям, которые вместо красноречия сердца и воображения поднесут им строчки, выпрямленные по линейке грамматики? Мы точно не привыкли к языку действительного чувства, к языку поэтов-живописцев, к языку страстных поклонников и знатоков природы. Кроме Жуковского, я не помню, кто у нас рисовал словом, увлекаемый прелестью природы и постигая искусство словесной живописи. Между тем язык, это мощное орудие ума, чувства и воображения, только и созидается вдохновением. После всего этого предоставляю судить вам, хорош ли язык у Гоголя.

Я писал под влиянием первых впечатлений. Мне не удалось сообщить замечаниям моим формы правильной и легкой. Но я убежден, что истина во всяком виде полезна.

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

I

Первые из стихотворений Баратынского начали показываться в печати около 1818 года — в одно время с стихотворениями барона Дельвига и Пушкина. Молодые поэты тогда же привлекли к себе все внимание и дружеское уча-

стие Жуковского, для которого появление нового таланта до сих пор составляет праздник души. Впрочем, наши лучшие писатели всегда обнаруживали это чувство: таковы были отношения Ломоносова к Поповскому, Державина к Дмитриеву, Карамзина к Жуковскому, Пушкина к Гоголю.

В эпоху, о которой здесь говорится, представители русской литературы жили уже в С.-Петербурге. Карамзин готовил к печатанию первое издание бессмертного своего труда, уделяя только вечера свои обществу собиравшихся у него государственных людей и тех литераторов, которые искусство любили по призванию. Подобное собрание являлось каждую субботу у Жуковского. Крылов, Гнедич, Батюшков и несколько других писателей, тогда сделавшихся известными по своим дарованиям и вкусу, дружески беседовали о том, что́ могло служить к совершенствованию занимавшего их искусства, сознавая в его достоинстве и успехах славу и пользу общественную. В это время понятие о литераторе представляло соединение благороднейших качеств образованности, бескорыстно посвящаемых отечеству, — и таким образом писатель наравне с государственным человеком исполнял высокий долг гражданина. Из напечатанного письма Карамзина к графу Каподистрия[1] мы еще можем видеть, какого значения литератор достигнул тогда в России. Вот почему писатели, здесь упоминаемые, пользовались отличным вниманием не только частных лиц, исторически прославившихся просвещением своим и благодетельным влиянием на судьбу государства, но и незабвенной животворительницы тогдашнего общества избранных — императрицы Марии Федоровны.

Человек, воспитавший свой талант в этом направлении, ревностно заботится только о полном выражении всего лучшего в себе помощью искусства, которое, при других обстоятельствах, с другими о нем понятиями, становится мелочным упражнением компилатора, или еще ниже — крохоборным ремеслом спекулянта. Художественное состояние, в каком тогда была русская литература, указывало писателю его обязанности и отношения. Он был лицо деятельно независимое, в собственном убеждении почерпающее основания и силы для трудов своих. Впрочем, талант, проникнутый живительным дыханием чистых идей и возвышенных чувствований, не может уклониться от власти этого закона, природою начертанного в душе его, чему лучшим доказательством и в наше время еще служит Жуковский.

II

Как о поэте, о Баратынском теперь можно говорить, не подвергаясь подозрению в пристрастии: наша литература и его утратила, лишившись столь многих из его сверстников. Он скончался в Неаполе 29 июня (10 июля) нынешнего года, быв только 43-х лет от роду. Легко вообразить трогательное чувство уныния в сердце Жуковского, который год от году находит себя все более одиноким, мысленно провожая друзей своих за пределы здешнего мира. Он первый почувствовал в Баратынском истинное, оригинальное элегическое настроение, талант в полном значении слова; он первый принял его в святилище поэзии. После элегий самого Жуковского, Батюшкова и тогда напечатанных Пушкина — элегий, уже, по-видимому, выразивших все стороны меланхолии, тихих ощущений, нежной теплоты сердца и блестящих картин воображения — после этих образцов, казалось, новый элегический поэт должен быть только подражатель. Но так неисчерпаема глубина души человеческой и так беспредельна область искусства, что новому поэту всегда останется довольно и мыслей, и чувств, и красок жизни для его независимой деятельности. Так сама природа до бесконечности разнообразит физиономии наши, хотя и ограничивается определенными навсегда частями и формами.

Одарен будучи умом точным, аналитическим и деятельным, Баратынский внес в поэзию отчетливость идей, верные оттенки понятий и определительность их выражений. Каждый стих его врезывается в памяти читателя, как оконченный образ мысли. Вот для доказательства несколько стихов, в которых вы услышите голос олицетворенной Истины:

Светильник мой укажет путь ко счастью
(Вещала): захочу —
И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь;
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный разлюбишь
И ближних и друзей:

Я бытия все прелести разрушу —
Но ум наставлю твой;

Я оболью суровым хладом душу —
Но дам душе покой.

Есть мнение, что самые глубокие, но слишком сжато выраженные мысли охлаждают поэзию. Это было бы справедливо, если бы стихотворение являлось чем-то неорганическим, искусственно соединенным и не проникалось внутреннею общею жизнью. Но произведение истинного поэта всегда представляет явление самобытное, полное и вносящее в мир собственную сферу, подобно каждому из произведений природы. Рассматривая искусство с этой точки зрения, мы не будем при чтении Баратынского останавливаться на частях, но войдем с полным участием в его целое здание, где увидим, что пропорции, стиль, украшения и все принадлежности образуют удивительную гармонию. Стихотворение, из которого мы взяли для примера отрывок, с прочими своими частями является в некотором смысле драмою, где перед нами действует сам поэт, его жизнь и наставница их — истина. Стихи, как их предметы, принимают у него мягкость и жесткость, обилие и краткость, стремительность и плавность. В том и отличие истинного поэта от жалкого труженика рифм, что первый управляет движением и характером элементов, а другой не выходит из их хаоса, или, разъединив их, не умеет дать им общей связи. Сверх того, талант никогда не удовольствуется тем, что лишено трепета или яркости новой жизни. Самая сжатая, обнаженная, так сказать, мысль переходит в поэтический вид неожиданным оборотом, живописным эпитетом, простодушием, грацией, даже изумительною верностью прозаического, по-видимому, выражения и подобными тому чертами.

III

Природа, наделив поэта нашего столь ясным и испытующим взглядом на мир идей и явлений, положила тем незыблемое основание для прочих его художнических способностей. Воображение его было мирным, хранительным лоном, где образы его поэтических восприятий свободно созревали и животворились, не искажаясь безвкусными, неестественными преувеличениями или дополнениями. Известно, что люди совсем без воображения легко и беззаботно нанизывают нескончаемую цепь ложных приключений и принадлежностей. Одно сознание художнической истины, плод воображения деятельного и творчески восприимчивого, разборчиво и до пристрастия внимательно к тем поэтическим укра-

шениям, которыми оно возносит свои вымыслы до высокой степени действительности. Подражатели, равно как и начинающие писатели, даже лишенные дарований, обыкновенно прибегают во всем к иперболизму: эта напыщенность, это высокоречие и мнимое парение, за недостатком сочувствия к предметам, обнадеживают их в успехе. Но с этого и начинается разница между художником и самозванцем. Кто из любителей русской поэзии не помнит наизусть разговора Татьяны Пушкина с ее няней? Это верх грации и простоты. И что же? Баратынский не усомнился в своей поэме «Бал» обработать подобную сцену. В ней и тени нет подражания. Это живые два существа, по-видимому, самою природою вызванные перед зрителей, чтобы вразумить их, как неистощимы и в то же время как самобытны явления высокого искусства в одинаковых обстоятельствах. В этих только случаях и можно убедиться, в чем могущество талантов.

Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка;
Светильня сонная очнулась —
И свет нежданный и живой
Вдруг озаряет весь покой.
Княгиня мамушка седая
Перед иконою стоит —
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.
Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой.
Вдруг видит Нину пред собой:
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее;
Качает старой головою:
— Ты ль это, дитятко мое,
Такою позднею порою?
И не смыкаешь очи сном,
Горюя, бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь!
Хоть от ума, да не умно!
Ну, право, ты себя уходишь:
А ведь грешно, куда грешно!
И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я: полон дом —
Не перечесть, каким добром;

Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица;
Душа в нем кроткая такая:
Всечасно Вышнего Творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... Да!
Не ходишь в церковь никогда.
Поверь: кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть.
Не осердись, моя родная!
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком?
Прости, дай ручку мне! — Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна;
В лицо ей с трепетом взглянула —
На нем поспешный смерти ход...
Глаза стоят и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась:
Нет Нины!

Не бедность воображения и не скупость отделки обрезали в этой мастерской картине так называемые увлечения, избыток ощущений и полноту частностей — нет: истинное сознание и разделение воображаемой жизни определили и выразили характер всякой черты в общем представлении. Кто этими движениями, речами и положением не способен увлечься — для того никогда не раскрывалась глубина сердца, никогда не выходили его тайные помышления на физиономию страждущего лица.

IV

Производительные силы художника, в осуществлении своем, налагают на труды его печать особенности, неизменное отличие всех его произведений, общность прекрасного для поклонников таланта его — и памятный знак к восстанию для его противников. Название этого магического качества — вкус. Он часто бывает рассматриваем как пассивная способность, как навык к суждению об эстетических предметах. Между тем он же в числе главных действователей художнической производительности. Образуясь влия-

нием врожденных и приобретаемых в жизни наклонностей души, вкус решит наконец в писателе все: сферу идей, их образы, преемничество, выражение, краски и тон. Баратынский предпочтительно входил в объяснение загадочных явлений души, противоречия страстей, борьбы желаний, словом — всего, что ближе и естественнее относится к умственной сфере человека, беспрестанно мыслящего и собственными ощущениями поверяющего сокровенные движения других. То, что называется мечтательным и фантастическим, не увлекало Баратынского из области жизни гармонической и, так сказать, философской. На самом колорите всех его картин, ярких, слегка означенных, темных, прозрачных, виден вкус заботливого художника, ничем не пренебрегающего и беспрестанно думающего о строгом сочетании идеи с ее принадлежностями и их формами. Из иностранных языков итальянский и французский прежде других положили в молодом уме основу развития мыслей. Это обстоятельство, вместе с природною его наклонностью к анализу, могло сильно действовать на утверждение в нем вкуса строгого, очищенного от излишеств и преувеличений, и предпочитавшего всему твердость идеи, меру или пропорцию ее объема, грацию жизни ее и часто неожиданность в ее заключении. Этот вкус, конечно, ближе к так называемому вообще французскому, нежели к немецкому. Но несправедливо бы определили мы, если бы поэзию Баратынского назвали только легкою, обделанною, или остроумною и лишенною высших принадлежностей красоты, как, например, глубокомыслия, силы вдохновения и резких впечатлений. Она, в своей постоянной правильности, разнообразна содержанием и, следовательно, богата разнообразными красотами. Приведем несколько стихов из элегии «На смерть Гете»:

Погас... Но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа:
Крылатою мыслью он мир облетел —
В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой — одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье.
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

В другом стихотворении, где он идею Смерти развил так поэтически и так оригинально, мысли его теснятся и выливаются с таким же изумительным своеобразием, как предметы его описания.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье Всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять повращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл безмерный лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Перебирая лучшие места известнейших поэтов, мы ничего не находим совершеннее подобных отрывков; тут поэзия достигла высокого своего назначения: она становится стройным органом самых важных и разительных истин. В этом вкусе поэзия представляет чистую идею классического искусства, что в наше время почти утратило истинное свое значение.

V

Поэтические способности, редко достающиеся одному лицу в пропорциях, столь равномерных и гармонических, выразились в стихотворениях Баратынского характером, ему только свойственным. Светлая картина счастья и беспечности у него никогда не остается без легкой тени меланхолии; его грусть растворена сладостью надежды; чувство сливается с мыслью, и ум живет в его сердце. Доверчивый и робкий, пылкий и покорный, извне преданный бездействию и не дающий отдыха любознательному уму, в унынии готовый к развлечению и погруженный в думы свои посреди забав, он соединил в поэзии все, что поэтическая душа передумавши предчувствует. Начав одну элегию стихом:

Рассеивает грусть веселый шум пиров,

он ее оканчивает, погруженный в глубокую меланхолию:

Того не приобресть, что сердцем не дано,
Всесильным собственною силой;
Одну печаль свою, уныние одно
Способен чувствовать унылый.

В другом месте, успокаивая непокорные рассудку желания, он со всем убеждением красноречия говорит о законе необходимости:

Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти; небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет; бродячий ветр неволен, и закон
Его летучему дыханью положен.

Но, невластный победить чувства, наконец восклицает:

О, тягостна для нас...
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною,
И в грани узкие втесненная судьбою!

Шуточное послание, которого первые два стиха:

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды,

показывают веселое расположение духа поэта, превратилось неожиданно в элегию, столь нежную и полную умилительного чувства, что нельзя читать ее без участия:

Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы, в счастливой глуши,
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутьи бытия?
Где ж обретенная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней —
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей?

Изображая повсюду только истинное и вполне постигнутое самим, Баратынский в этом же духе и такими же верными красками описывал явления природы и общества. В необширных, но ярких его картинах схвачены те поэтически резкие черты, которыми предмет бросается в глаза и после рисуется в воображении. Местные красоты Финляндии так слиты в «Эде» с главным настроением души поэта, что невозможно ничего представить совершеннее, например, столь известного окончания поэмы:

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами.
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени;
Изнемогает в цвете дней:
Но чужды слезы ей и пени.

Как небо зимнее бледна,
В молчаньи грусти безнадежной,
Сидит недвижно у окна —
Сидит, и бури вой мятежной
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют,
И на нее сугроб высокий
Бушуя ветры нанесут?

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет?
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

VI

В то время, когда Баратынский начал писать свои элегии, он уже нашел в нашей литературе подобные сочинения, исполненные совершенств языка, красок, тона и одушевления. Но для таких поэм, каковы «Эда» и особенно «Бал» и «Цыганка», перед ним образцов не было. Сам Пушкин «Русланом» своим слегка напоминал Ариоста и Виланда, а «Кавказским пленником» уже видимо Байрона. Баратынский начал во всех отношениях своеобразнее и кончил никому не подчиняясь. Особенный род его поэм основан на особенности его поэтического таланта. Ему не было нужды ни в торжественной важности событий, ни в исторической значительности действующих лиц, ни в катастрофах, поражающих читателя влиянием на судьбу человечества или какого-нибудь народа. Он весь предавался развитию страсти,

изучению человека в глубине его сердца и воли. Общество, эпоха и местность довольно доставляли ему поэтических красок, чтобы (говоря его собственными словами) сладить с сюжетом, по-видимому, чисто отвлеченным и мало завлекающим другое дарование, может быть, скорее воспламеняющееся от всего поразительного, но не так склонное к наблюдательности поэтическо-философской. Таким образом, можно сказать без преувеличения, что в Баратынского только поэмах со всею верностью и заманчивостью анализирован современный человек, не поднятый на позорищную эстраду, а застигнутый в его кабинете, посреди дум и действий, укрываемых от света. Тут все просто, живо и точно. Он не создал, а похитил у своих героев этот язык, положения, образы и тон, изумляющие всякого совершенством окончательным.

Для своего и для чужого
Незрима Нина. Всем одно
Твердит швейцар ее давно:
— Не принимает; не здорова. —
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем.
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижная, немая,
Сидит — и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери машут растворясь:
Муж, не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он —
И наконец: — С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты.
Ей! ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомниться тебе пора.
Сегодня бал у князь-Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай!
Там будут наши молодые —
Арсений с Ольгой. Поезжай!

— Ну, что, поедешь ли? — Поеду, —
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. — Дело! — молвил князь.
— Прощай! спешу я в клоб к обеду. —
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживит ее умело?
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят. Уехал князь.
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.
Уж газ на ней струясь блистает —
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями.
Жемчуг чело ее облег —
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью,
И на щеках румянца нет:
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след.
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя,
Глядяся, мнит: — и это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет:
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет! —
Другое, тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:

— Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье?
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она?
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою,
Хоть вполовину, хоть на час... —
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой —
И словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастием блистало
Лицо у Ольги молодой?
Что б ни было — ей дурно стало;
Она уехала домой.

Войдите вниманием в каждую здесь перемену положений, разговоров, красок и самого молчания: вы согласитесь, что невозможно стихами представить светской картины свободнее и короче, значительнее и легче со всеми неуловимыми ее оттенками и переливами. И этого блестящего искусства, кроме Баратынского, никто у нас еще не постигал.

VII

Стихотворения Баратынского, судя по их роду и совершенствам, столь утонченно-художническим, естественно, должны были являться в публику, по точному и оригинальному выражению Жуковского, для немногих. Таков удел каждого произведения изящных искусств, когда в нем любопытство массы не встречает привычной своей пищи: намеков на современные сплетни (политические или семейные — все равно), оппозиционных выходок, запутанных повествований, хотя бы в них и тени не было натуры и исти-

ны, сцен карикатурных, возгласов дюжинных и тому подобного. Дорожа вдохновенными трудами своими как частью и не понимая так называемого ремесла литературного, Баратынский не мог принадлежать ни к одной из писательских партий: он был друг одних литераторов чистой сферы, которым нет никакой надобности в мелочных подпорках. С журналистами и подобными им художниками Баратынский изредка сносился только своими эпиграммами, которые можно назвать и элегиями, потому что многие от них смеялись действительно до слез. Около 1825 года он совсем переселился отсюда в Москву. Семейное счастье еще более привязало его к занятиям тихим и усладительным. Он и прежде мало находил удовольствия в рассеянности общества; а теперь оно для него почти не существовало. Но как душа его полна была этих святых, неиссякаемых радостей, которыми окружают нас умственные труды и присутствие людей, нами любимых и нас любящих! Мы до сих пор указывали в отрывках на черты его поэзии. Приводим здесь вполне одну элегию его, которая яснее представит читателям все, что любопытно узнать в новом положении столь замечательного человека:

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих — и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь!

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи!
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще,
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя —
И наблюдая восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье?
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече странствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах —
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной
С ней милой быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей!

Но и в эту эпоху, мало заботясь о том, что делалось в нашей литературе, особенно когда тон ее и цель так резко изменились, Баратынский постоянно сохранял свои сношения с Жуковским, Пушкиным и бароном Дельвигом. В С.-Петербурге тогда находился и князь П. А. Вяземский, по службе живший прежде в Варшаве. Он вполне ценил талант Баратынского и любил его замечательный, тонкий ум. Их неоднократные свидания в Москве утвердили дружбу, основанную на взаимном душевном уважении. Два таланта, столь известные у нас остроумием, вкусом, образованностью, лучшим тоном, игривостью и силою слога, чуждые мелочного соперничества, с удовольствием сообщали друг другу мнения свои о предметах, занимавших их любознательность. Все еще помнят прекрасное Посвящение князю Вяземскому, которое Баратынский напечатал, издавая свои «Сумерки». Там, между прочим, говорит он:

Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя,
Исполнена тоски глубокой,

Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

Счастливый сын уединенья —
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе,
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет —
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой:
Ищу я вас; гляжу, что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами
И светом высшего огня?
Что вам дарует Провиденье?
Чем испытует Небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье!
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной Плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю.

VIII

Самый чувствительный удар приготовила судьба Баратынскому в 1831 году: умер барон Дельвиг, еще полный сил, поэзии и жизни. В ранней молодости соединила их любовь к общему назначению: почти вместе начали они писать; вместе несколько лет жили — и свято хранили обязанности дружбы, взаимно совершенствуя один в другом счастливые свои способности. Кто перечитывал собрания их стихотворений, тот давно знает, с какою верою и любовью они передавали друг другу свои впечатления, думы

и надежды. Кончина барона Дельвига еще глубже погрузила Баратынского в его отчуждение от появлявшихся тогда новых литераторов: между ними и другом своим барон Дельвиг составлял как бы звено. Наконец в 1837 году и с Пушкиным совершилось предсказанное им самим, когда на последнем для него лицейском празднике так неожиданно излились из его уст следующие стихи:

Шесть мест упраздненных стоят;
Шести друзей не узрим боле;
Они, разбросанные, спят,
Кто здесь, кто там, на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой;
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой —
И всех мы братски поминали.

И, мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас ушедший гений.

Пушкин, наравне с Жуковским и другими законными судьями в литературе, достойно сознавал талант Баратынского. В своих сочинениях (т. XI, стр. 236—242) он посвятил особую статью разбору его стихотворений. Эта критика может служить образцом, как надобно рассматривать поэта. Сколько в ней знания высокого искусства! сколько сочувствия с нежными, для других неуловимыми красотами! сколько вкуса и того удивительного ума, которым так блистал Пушкин!

Между тем увеличившееся семейство Баратынского требовало самых прозаических забот о приведении в порядок всех дел его по имению. И здесь обнаружил он деятельность зрелого ума своего. В течение нескольких лет он все довел до желаемого окончания — и мог, как в юности, беззаботно предаваться одному благотворному и неизменно сладостному труду ума и воображения. Москва уже не удовлетворяла душевным его требованиям и лучшим помышлениям. Он готовился жить в С.-Петербурге, там, где оставалось еще несколько верных ему друзей, где некогда яви-

лась ему муза, бросившая столько прекрасных цветов на тернистый путь жизни, и где он мог по своему плану заняться воспитанием детей своих. Во время последних своих поездок в С.-Петербург он увеличил число знакомств, достойных его по литературе, нашедши в авторе «Истории России в рассказах для детей»[2] и в переводчике Фритиофа *[3] такие лица, которые сочувствовали с ним и которых литературные труды и мнения совершенно согласны были с его благородным образом мыслей.

Но прежде окончательного сюда переезда, который бы ввел его в прекрасный и уже постоянный круг деятельности как поэта и как главы семейства, он желал, пользуясь счастливыми своими способами, запастись на остаток тихих дней приятнейшими впечатлениями и воспоминаниями роскошного юга Европы и всего, чем пленяют душу поэта вдохновенные искусства и успехи просвещения. Он предположил прожить несколько времени в чужих краях. С этою целью, прошлого 1843 года осенью, он прибыл с семейством своим в С.-Петербург, откуда с женою и старшими детьми пустился сухим путем за границу. Пользуясь совершенным здоровьем, он провел зиму в Париже, где у многих из лучших литераторов встретил прием самый радушный.

IX

Наступила весна нынешнего 1844 года. Баратынскому живо представилась вся прелесть Неаполя и его окрестностей в эту пору года. Он решился отправиться туда из Марселя на пароходе. Парижский его доктор не советовал ему предпринимать этого путешествия, полагая, что знойный климат Неаполя может быть вреден для его здоровья. Но какое-то неодолимое желание насладиться скорее раем Италии не позволило поэту принять его совета. Он весело пустился по лазури Средиземного моря и в память тогдашнего переезда написал прелестное стихотворение свое «Пироскаф», которое прислал вскоре сюда для напечатания в «Современнике» (т. XXXV, стр. 215). В Неаполе он нанял загородный домик, переехал туда и жил в совершенном уединении, деля

* Переводчик Фритиофа был немало изумлен и польщен, когда Баратынский, приехав из Парижа, стал читать ему наизусть целые тирады из его переводов. Впрочем, при этом надо припомнить, что Баратынский был особенно заинтересован шведской поэмой, так как он в молодости долго жил в Финляндии и там часто слышал восторженные о ней отзывы.— *Я. Г.*

время между купаньем в море, прогулками и поэзией. Там он вспомнил давно умершего дядьку своего итальянца и написал к нему послание в роде его прежних (например: к Богдановичу, к Гнедичу), которые исполнены зрелости мыслей и игры воображения. Это стихотворение он также прислал в «Современник» (т. XXXV, стр. 217). Оно было его последним сочинением — лебединою песнью нашего незабвенного поэта. Нас поражает в этом послании его одно особенно место, где, изобразив всю прелесть Неаполя, он с каким-то умилением выражается, ка́к бы счастливо было там навсегда

...незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И поэтическое желание его, к несчастию нашему, исполнилось. Накануне русского праздника святых апостолов Петра и Павла занемогла жена Баратынского. Доктор советовал, чтобы ей открыть кровь, — и когда муж удивился, что надобно употребить эту сильную меру в припадке, по-видимому, обыкновенном, то доктор объявил, что иначе может последовать воспаление в мозгу. Слова его так встревожили Баратынского, что он сам почувствовал лихорадочный припадок, который ночью усилился. На другое утро, прежде нежели доктор успел явиться к своим больным, Баратынский скончался скоропостижно. Вероятно, перемена климата уже приготовила ему столь неожиданную и страшную судьбу.

Он довольно написал, чтобы имя и сочинения всегда оставались украшением русской литературы. Но в эти лета, когда все идеи достигают полноты и зрелости; в этих обстоятельствах, когда кончены прозаические заботы жизни, можно было сделать еще более. И кто близко и хорошо знал Баратынского, тот без сомнения не без грусти задумается о надеждах, навеки нами утраченных.

ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА

I

В лице Ивана Андреевича Крылова мы видели в полном смысле русского человека, со всеми хорошими качествами и со всеми слабостями, исключительно нам свойственными. Гений его, как баснописца, признанный не только в России,

но и во всей Европе, не защитил его от обыкновенных наших неровностей в жизни, посреди которых русские иногда способны всех удивлять проницательностию и верностию ума своего, а иногда предаются непростительному хладнокровию в делах своих. Судьба не благоприятствовала Крылову в детстве и лишила его тех пособий к постепенным успехам в литературе и обществе, которыми других наделяют рождение, воспитание и образование. Но он, как бы наперекор счастью, в последствии времени приобрел все, что необходимо писателю и гражданину. Он даже успел развить в себе несколько талантов, составляющих роскошь и для счастливо рожденного молодого человека. Победивши первые препятствия к благополучию и удовольствиям жизни, он на время ослабил деятельность свою в расширении знаний и с непонятным равнодушием провел несколько лет почти без дела. Наконец снова и почти бессознательно принялся Крылов за тот род поэзии, которому ныне обязан бессмертием своим.

Удивительнее всего, что ему суждено было начать славное свое поприще в такие лета, когда многие перестают писать сочинения в стихах, предпочитая им прозу. Между тем остался ли хоть легкий след на этих трудах, что автор не вовремя приступил к ним? Нет: рассматривая их живость и красоты, получаешь убеждение, что это те неувядающие цветы поэзии, которыми юность украшает гения. И вот Крылов достигнул тогда истинной славы, всеобщего уважения, самой чистой к нему привязанности тех, которые были к нему близки и вполне оценили дар его. Счастие вознаградило его за все лишения молодости. Он был обеспечен на всю жизнь. Казалось, перед любознательным, тонким и светлым умом его открылись все пути к бесконечной деятельности литератора. Но он и своею поэзиею занимался только как забавою, которая скоро должна была наскучить ему. Безграничное искусство не влекло его к себе. Деятельность современников не возбуждала его участия. Он чувствовал выгоды и безопасность положения своего, и не оказал ни одного покушения расширить тесную раму своих умственных трудов. Так один успех и счастие усыпили в нем все силы духа! В своем праздном благоразумии, в своей безжизненной мудрости он похоронил, может быть, нескольких Крыловых, для которых в России много еще праздных мест. Странное явление: с одной стороны, гений, по следам которого уже идти почти некуда; с другой — недвижный ум, шагу не переступающий за свой порог.

II

Легкость, с которою мы успокоиваемся на первой удаче, обнаруживает в нас какое-то равнодушие к земным благам, но вместе и хладнокровие к общественным интересам. Так как природа отличила Крылова самыми резкими чертами национальности, то и игра их в его образе поражает нас более, нежели в ком-нибудь другом. Как писатель он прямо русской своей природе был обязан тем превосходством в постижении духа нашей жизни и нашего языка, которое в этом отношении поставило его у нас на первом плане. Никого из наших писателей нельзя поставить на одной с ним линии. Он придумывал рассказы столь естественные, столь простые и каждому понятные, столь несомненные и очевидные, столь согласные с нашей жизнью, обыкновениями и привычками, что в их составе не оставалось и тени искусства, сочинения или подготовления. Видишь, чувствуешь, как дело начинается и происходит. На мысль не придет, что сочинитель повторяет старинную басню, известную уже всем народам, и прикрывает ею общую истину. Рассказываемый им случай, по-видимому, только и мог подобным образом произойти у нас. Он проникнут духом нашей жизни и речи.

Предметы национальные часто обрабатываемы были у нас и другими писателями. В них есть места, не менее счастливые, как и у Крылова. Особенно несколько описаний русского быта удались Кантемиру. Ничего нет совершеннее в этом роде его описания крестьянина, который сначала жаловался на судьбу свою, желал попасть в солдаты и потом исчисляет невыгоды нового состояния своего, куда завел его случай [1]. Но достоинство сочинения определяется совершенством целого, а не успехом нескольких частей. Иногда усилие, иногда удача могут довести одно место до желаемого совершенства. Но тут еще нет вполне прекрасного произведения, и все очарование исчезает при переходе читателя на другую сторону создания. Один Крылов в каждой басне своей выдерживает с начала до конца ровный характер оригинального русского поэта, не сбиваясь на подражание или перевод ни тоном рассказа, ни ходом события, ни украшениями слога, ни отделкою стихов. В его самобытно-русской душе, независимо от литератур иностранных и даже отечественной, возникнула в истинном виде та часть поэзии, в которой он явился совершеннейшим образцом. Созрела она и вылилась из-под его пера также во всей оригинальности. Но все стихии, из которых так

прекрасно образовалось это чудное явление, ежеминутно носятся перед нашими глазами в жизни русского народа. Остается тайною, отчего другие писатели наши в свои создания не перенесли их в надлежащей чистоте, соразмерности и в художественной прелести?

Больше всего у нас бросались на подражание простонародному языку. Действительно, это едва ли не существенная принадлежность сочинения, когда желают сообщить ему характер народности. Язык есть полное выражение жизни народа. Надобно только в совершенстве овладеть им, чтобы резко и верно отразились в сочинении все отличия, все красоты специальной народной жизни и поэзии. Бесчисленные опыты доказали между тем, что искусственный подбор простонародных слов так же далек от простонародного языка, как словарь от книги. Язык повинуется умопредставлению, действию воображения, ощущениям, памяти, навыку чувств, ходу размышлений, склону страстей, словом — язык есть та же душа народа, та же народная жизнь, которою поэт проникается для изображения действий или характера народа. Чтобы заимствованный простонародный язык сохранил в сочинении все принадлежности органической своей природы, сочинителю надобно прежде принять в душу свою и в сердце ясный образ самого народа. В какое бы вы ни вставили сочинение целую сцену, рассказ или описание, употребив простонародный язык, никто не почувствует не только неприличия, даже резкой перемены в речи вашей, если только будут в ней чувствовать присутствие истины. Это все знают по той изумительно-художнической сцене Пушкина, которую внес он в «Бориса Годунова» и где так поэтически является простонародный язык в устах хозяйки постоялого дома, ушедших из монастыря людей и самого самозванца. Крылов обладал неизъяснимым искусством сливать этот язык с общею нашею поэтическою речью. Все подобные оттенки у него не разделялись заметно, а составляли одно целое. Можно подумать, что для него не было сословий и он в уме своем представлял только Россию, одним духом движимую, поражающую воображение своею огромностию, величиною частей своих, красками своими и действующую как одно существо в гигантских размерах. Отличия речи, выставляющиеся в стихах его, бросаются в глаза не так, как что-то оторванное от целого, а как красивые части, природою утверждаемые на своем месте, здоровые, сильные и привлекающие к себе внимание крепким организмом, связывающим их с другими.

III

Поэт, которому литература наша обязана окончательным усовершенствованием одной из ее отраслей, родился позже первого русского баснописца ровно пятьюдесятью годами. Сумароков в 1718, а Крылов в 1768 (2 февраля)[2]. Трудно попасть на верную цифру, которая, подобно представленной нами, определила бы с точностью художественное расстояние между их баснями. Это — земля и небо. Посередине пространства между ними стоит Хемницер (р. 1744*), баснописец, получивший от природы самое счастливое дарование к своему искусству, но мало успевший в стихотворстве. Только восьмью годами ранее Крылова родился Дмитриев, которому суждено было вызвать на одно с собою поприще еще не опасного тогда соперника, показать ему образцы, исполненные прелестей искусства, вкуса и тонкого ума — и наконец уступить ему первенство в творчестве, красках и народности. Все упомянутые здесь писатели были счастливее Крылова в детстве. Они получили правильное образование и те средства, с которыми человеку более или менее легко идти вперед самому. В обществе они рано поставлены были на хорошую дорогу. Им оставалось только пользоваться благоприятными обстоятельствами, а не бороться с искушениями и препятствиями.

Всех их деятельнее был Сумароков. Он как будто торопился занять все пути к славе. Соперничествуя с Ломоносовым, он не сознавал в нем гениального человека, а видел только ученого. Одно это обстоятельство указывает уже на недостаток в нем художнической восприимчивости, потому что истинный талант скорее прочих людей постигает в другом присутствие дарования. Для Сумарокова искусство было как бы что-то ограниченное известными формами и условиями. Он не подозревал его свободного развития и связи с народным духом. В самых подражаниях его избранным образцам не видно сочувствия с их внутренними красотами. Он неутомимый говорун и пересказчик. С художнической модели он наскоро и грубо срывает верхнюю оболочку и думает, что тут схватил и всю поэзию. Так обращался он и с языком. Не только у Ломоносова, даже у Кантемира гораздо более умения вести речь, пользоваться богатствами языка и прибирать различные краски, нежели у Сумарокова. Хемницер изумителен сочувствием

* Вернее, в начале 1745. См. *Сочинения и письма Хемницера*, изданные Академией Наук. 1873.

души своей с внутреннею красотой поэзии. Оттого не нуждался он в напряжении. Его простые, легкие формы до сих пор привлекают внимание к басням его. Чуждаясь пестроты и многословия предшественника своего, он почти возвратился к единству и краткости древних, которые в баснях никогда не были вполне художниками, а только моралистами. Согласно с характером поэзии внутренней, и стих его обработался только в безыскусственности, к сожалению, переходящей иногда в прозаическую холодность и медленность. Но, судя и по тому, сколько простодушия и приятности успел он сообщить нашей басне, можно было ожидать от него дальнейшего в ней усовершенствования, если бы он не слишком рано скончался, именно сорока лет: это возраст, в какой после Крылов только начал писать басни. Дмитриев, родившийся пятью годами ранее Карамзина, как земляк его и друг, долго шел с ним ровным шагом. Они вместе открыли славный период литературы нашей, ознаменовавшийся благотворным влиянием на образование всех сословий в государстве. Дмитриев писал не одни басни. Его лирические стихотворения, сказки, сатиры и разные мелкие пьесы обнаруживают талант верный, гибкий и прекрасно направленный. Он первый из наших поэтов начал дорожить художественною стороною сочинений. Таким образом и в басню он принес живые краски, поэтический тон и оживленный рассказ. Это был баснописец образцовый по благородной игре ума, по обработке стихов, по живым описаниям, по мастерскому рассказу и по господствующему во всем вкусу.

Тогда недоставало только стремления к частным красотам, которыми должны быть отличены и всякая местность и всякая эпоха. Крылов глубоко проник в эту идею, хотя ни предшественники его, ни тогдашняя наука, ни самый запас сведений, вынесенный им на жизнь из первоначального образования, не могли ему указать на нее. Она составляет плод его самобытно-поэтической природы. Вызвав искусство на его лучшее, совершенно еще новое у нас поприще, он не чувствовал надобности оглядываться на своих предшественников и только более и более обнимал разные стороны поэзии, так глубоко им постигнутой.

IV

Отец Крылова был бедный армейский офицер, по обязанности службы часто переменявший место жительства своего. Когда родился наш баснописец, отец его жил в Мо-

скве. Скоро, однако же, по случаю беспокойств, возникших от Пугачева (1773), он принужден был отправиться в Оренбург. Любопытны некоторые о нем известия, переданные потомству Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта». «К счастью, в крепости (Яицкой), — говорит он, — находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения». Далее, описывая неудачу Пугачева на приступе под ту же крепость, Пушкин прибавляет: «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов». Надобно поэтому думать, что Андрей Прохорович Крылов (отец баснописца) принадлежал в свое время к числу людей замечательных. Затруднение, в каком тогда чувствовали себя многие даже из начальствовавших там лиц, не отняло у него ни присутствия духа, ни распорядительности, ни самого успеха. Нельзя не предполагать, что природный ум его украшен был по возможности и некоторыми знаниями. Все, что Крылов помнил и сам рассказывал о матери своей, несомненно говорит в пользу ее мужа. Женщина, дорого ценившая хорошее воспитание сына своего и собственными соображениями находившая средства к его образованию, конечно, приготовлена была к тому замужеством с человеком не грубым, не пустым, но дельным и чему-нибудь учившимся. По смерти Андрея Прохоровича Крылов получил в наследство целый сундук книг, собранных отцом. У человека, который принужден всегда жить по-походному, это большая редкость.

Капитан Крылов, по окончании военных действий против мятежника и сообщников его, перешел в гражданскую службу с чином коллежского асессора и получил в Твери место председателя губернского магистрата. Здесь оставался он до смерти своей, последовавшей в 1780 году. Заботы о первоначальном обучении сына преимущественно занимали его жену. Марья Алексеевна, мать поэта, придумывала разные способы, чтобы заохотить ребенка учиться чтению. Когда он порядочно просиживал весь урок, мать каждый раз, в награду, давала ему по нескольку копеек. Привычка прятать накопляемые деньги могла у ребенка обратиться со временем в корыстолюбие. Благоразумие матери умело предупредить и это последствие. Она указала сыну, как можно пользоваться деньгами, удовлетворяя

некоторым потребностям жизни. И он охотно на собственный счет покупал разные вещи, необходимые для его неприхотливого наряда. Таким образом ребенок, благодаря умной распорядительности матери, и учился хорошо, и одет был прилично на одни и те же деньги. Но Марья Алексеевна не в состоянии была сама обучать его французскому языку, чего не могла не желать, так как и в тогдашнее время он составлял уже один из главнейших предметов в воспитании русских детей. В доме тверского губернатора находился француз-учитель, которому позволено было к его урокам допускать и посторонних мальчиков. К нему начал ходить и Крылов наш. Только успехи его с иностранным учителем не так были счастливы, как с матерью, которая и здесь решилась употребить с пользою первоначальное свое средство. Она заставляла его читать по-французски при себе, давая обыкновенную награду за терпение и прилежание. Сперва он только наружно исполнял ее желание, выговаривая слова и не заботясь о том, что ничего не понимает. Напоследок доброе сердце его взяло верх над легкомыслием: он принялся за лексикон, старался узнать смысл прочитываемого и скоро начал понимать книгу. Никогда, однако же, Крылов не позаботился о том, чтобы вполне овладеть языком французским. В последствии времени, правда, он хорошо понимал писателей, даже мог и сам писать по-французски, но у него недоставало привычки говорить свободно.

V

При смерти отца Крылову было одиннадцать лет. Теперь еще менее представлялось возможности заниматься его воспитанием. Вдова с ребенком своим, оставшись без состояния, не получала и пенсии. Но мальчик видимо обещал некогда сделаться ее подпорою. Умственные способности развивались в нем заметно. Книги, найденные после отца, привлекли к себе все его внимание. Он без разбору перечитывал их и предавался игре воображения своего. На детей, родившихся с поэтическими способностями, обыкновенно первое и самое сильное впечатление производят драматические сочинения. Так было и с Крыловым. В голове его, наполненной героями древней Греции и Рима, составлялись разные планы театральных пьес. Но, не находя пособий в сведениях своих к образованию чего-нибудь определенного и полного, никак не умел он приготовить сносного сочинения из этих материалов. Вероятно, какая-

нибудь старинная русская опера послужила для него образцом и успокоила воображение его. На пятнадцатом году он написал свою оперу «Кофейницу». Это сочинение никогда не было напечатанным. В последствии времени Гнедич выпросил себе у Крылова, как драгоценность, рукопись детского его произведения и хранил у себя до смерти, завещав ее по духовной, вместе с библиотекою своею, Полтавской гимназии, где переводчик Гомера начал свое образование.

Родители, сами не получившие тщательного воспитания и у которых недостает средств к содержанию себя и семейства, у нас обыкновенно спешат детей своих поместить в службу, едва успевши порядочно выучить их грамоте. Ничтожное жалованье, назначаемое ребенку за переписку бумаг, они считают великим приобретением, зная, что оно, естественно, будет увеличиваться с их успехами в работе. У них будущее дальше этих пределов не простирается. Так случилось и с Крыловым. По недостатку праздного места в губернском городе мать записала сына своего подканцеляристом в калязинский уездный суд. Это происходило в следующий год по кончине отца его. В исходе того же года мальчика, по просьбе матери, переписали канцеляристом в тверской магистрат, где некогда служил и отец его. К счастью, нужда так сильно преследовала вдову, что она решилась отправиться в Санкт-Петербург, где надеялась выхлопотать себе пенсию и найти для сына выгоднейшее место. Здесь можно сказать, что несчастье работало в пользу нашу. Кто знает, чем бы кончилась судьба Крылова без этого переезда! Пятнадцатилетний поэт кончил теперь все, что надобно было заплатить детству и бедности. Но не с одними бессвязными вымыслами в душе прибыл он в столицу. Он привез с собою жажду к деятельности и знаниям. Чем менее удалось ему развить их в первые годы, тем настоятельнее за ними он пустился в новом своем местопребывании. Было и еще важное приобретение в юной душе его, которого он тогда не сознавал, а следовательно, не мог и ценить. Оставаясь столько времени в темном и тесном кругу, он ближе других писателей разглядел черты и выражение коренной русской жизни. Кто рано поднимается в наш верхний слой общества, тот принужден бывает только издалека всматриваться в быт народный, не воспитываясь его духом и ощущениями. Самый язык чисто русский не легко усвоить человеку, который с детства привыкает думать и составлять фразы по образцу или разговору иностранному. Ранние впечатления,

утвердившись в душе гениального человека, сохранились верными и чистыми до той эпохи, в которую принялся он обрабатывать их в художнических своих созданиях.

VI

Время прибытия Крылова в Санкт-Петербург замечательно по некоторым обстоятельствам, касавшимся драматического искусства в России, предмета, на который тогда устремлена была вся умственная деятельность будущего великого нашего баснописца. Правда, что первый указ об учреждении в здешней столице русского театра последовал еще в 1756 году; но это было учреждение, которым, не взнося платы за посещение его, преимущественно пользовались придворные и люди чиновные. Но только с 1782 года начались приготовления к устройству общенародного русского театра, который открыт в следующем за тем году. Таким образом, Крылов прибыл сюда в эпоху первого любопытнейшего движения на сцене нашей.

В молодой голове Крылова образовался план извлечь какие-нибудь выгоды из первого его сочинения. В Санкт-Петербурге жил иностранец Брейткопф, происходивший из известного тогда в Лейпциге книгопродавческого дома. Он содержал здесь типографию, торговал книгами и занимался музыкою, как страстный ее любитель и знаток. К нему решился обратиться Крылов с своею «Кофейницею». Опера, которой слова сочинены ребенком, показалась доброму Брейткопфу любопытным явлением. Он согласился купить ее и предложил автору в вознаграждение за труд 60 рублей. Крылов не соблазнился деньгами: он взял от него столько книг, сколько их приходилось за эту сумму. Любопытен был выбор. Крылов, отказавшись от Вольтера и Кребильйона, предпочел им Расина, Мольера и Буало. Это было основание библиотеки его и руководство для будущих его трудов. В подражание первому он увлекся героями Греции и Рима; вторые развили его направление сатирическое, которое преобладало в нем над прочими внушениями природы. В числе русских писателей, современных ему, но упредивших его славою, как драматический поэт всех знаменитее был в Санкт-Петербурге Княжнин. В это время (1784) явилась патриотическая трагедия его. Дмитревский, представлявший «Рослава», на театре доставил сочинению успех необыкновенный. Хотя Крылов был моложе Княжнина двадцатью шестью годами и не мог тогда приобрести еще никакой известности, однако же он отважился представиться творцу «Дидоны», соединявшему в таланте

своем также сатирический характер и драматическое стремление. Недостаточное состояние, приискивание службы и литературные знакомства не остановили любимых занятий Крылова. Его взгляд на расположение драмы и действия героев получил, сравнительно с прежним, некоторую опытность, а вспомогательных знаний и еще больше накопилось. Тогда-то успел он написать первую свою трагедию «Клеопатру».

VII

Княжнин доставил Крылову знакомство с Дмитревским. Несмотря на разность лет, званий и самых занятий, они должны были близко сойтись некогда. В самом деле, эти два человека рождены были понимать друг друга вполне. Дмитревский был старше Крылова тридцатью двумя годами. Хотя и ему, как нашему поэту, не привелось в детстве учиться основательно и постоянно, однако же, по прибытии из Ярославля в Санкт-Петербург, отдан был в кадетский корпус, где ознакомился с некоторыми науками и иностранными языками. Еще в 1765 году Дмитревский ездил во Францию, чтобы довершить свое артистическое образование, а в самый год рождения Крылова вторично отправлен был в Париж для принятия в здешнюю труппу некоторых французских актеров. Все это между тем, как и в Крылове, не сгладило ни с характера его, ни с его ума, ни даже с его привычек тех резких признаков, по которым легко видеть коренного Русского человека, защитившегося от владычества иноземного воспитания. Дмитревский, не ослепленный успехами своими и славою, доступен был каждому молодому человеку, который желал воспользоваться советами его и замечаниями касательно театральных сочинений. Как лицо общественное, он все достоинство свое, всю свою честь полагал в том, чтобы опытностью своею споспешествовать общественной пользе. К довершению всего он был артист гениальный. Ему были понятнее, нежели обыкновенному человеку, первые опыты другого гения. Неудивительно, что два человека, получившие от природы столько общего, после сближения друг с другом навсегда остались между собою в дружеских отношениях. В другом возрасте, в лучших обстоятельствах Крылов приходил к Дмитревскому, как в дом родственника своего. За сытным обедом, всегда состоявшим из одних чисто русских блюд, в халатах (если не было посторонних), они роскошничали по-своему, и после стола оба любили, по обычаю предков, выспаться порядочно.

По этому поводу можно рассказать забавный случай, выпавший Крылову. Раз как-то очень долго не видался он с Дмитревским и совсем не знал, что приятель живет уже на новой квартире. Они где-то встретились. Дмитревский зазвал Крылова к себе обедать и заранее очаровал воображение рассказом, как он попотчует его щами, кулебякою, поросенком под хреном в сметане, гусем с груздями, кашею и проч. Поэт в назначенный день является на знакомую ему квартиру. Слуга объявляет ему, что барин еще не возвратился домой. «Я подожду, братец». Спокойно, через приемную комнату и кабинет, добравшись до спальни, он разделся и, для освежения сил, лег заснуть на кровати. Квартиру Дмитревского в это время занимал женатый чиновник. К обеденному времени, ранее мужа, прибыла жена. Каково было ее удивление, когда она увидела на кровати в своей спальне незнакомого ей мужчину, дюжего, полного и беззаботно спящего. Можно представить, до какой степени, когда разбудили Крылова, смешался он, вообще застенчивый и не очень ловкий!

Кончив свою «Клеопатру», ребяческое подражание французским трагедиям, которые успел Крылов перечитать, он, из Измайловского полка, где жил тогда с матерью, отправился на Гагаринскую пристань к Дмитревскому. Актер принял его ласково и сказал ему, что желает предварительно прочитать пьесу один. Крылову вообразилось, что у Дмитревского не будет теперь никакого дела, кроме чтения трагедии его, и потому он почти каждый день наведывался о судьбе своего детища. Надобно же было случиться, что в течение не только нескольких дней, но и нескольких месяцев будущие друзья не могли свидеться. Чего не передумал сочинитель в этой пытке! Наконец, Дмитревский принял его и объявил, что намерен читать трагедию вместе с автором. Чтение было необыкновенно продолжительно, потому что критик не пропустил без замечания ни одного действия, ни одного явления, даже ни одного стиха. Он со всею ясностию показал ему, как ошибочен план, от чего действие незанимательно, а явления скучны, да и самый язык разговоров не соответствует предметам. Это можно назвать первым курсом словесности, который Крылову удалось выслушать и где примеры ошибок брали на каждое правило из его трагедии. Он почувствовал, что легче было написать новую, нежели исправить старую, что́ присоветовал ему и Дмитревский. Таким образом, этот опыт остался навсегда в неизвестности.

VIII

Содержанием новой трагедии послужило для Крылова мифологическое предание древней Греции о Филомеле. Таков был вкус времени. Поэты не могли выйти из заколдованного круга. Этою трагедией и начинается в нынешнем издании та часть сочинений Крылова, в которой собраны драматические произведения его. Все условия, по тогдашним понятиям необходимые для трагедии, соблюдены в «Филомеле» строго. В ней пять действий, александрийские рифмованные стихи, возвышенный язык, то есть смесь русского с церковнославянским, при героях наперсники, превышающие их догадливостью в крайних случаях, страсти благородные, свойственные лицам идеальным, злодеяния, выступающие за пределы человеческих сил, словом — все, что, казалось, непременно должно быть, кроме художнической истины и жизни с ее красками страны и эпохи. «Филомела» служит нам убедительным доказательством, что и великий поэт, которому суждено преобразовать искусство, остается некоторое время под властью века своего. В безостановочном стремлении к успеху он долго принужден падать, пока не созреют собственные его силы. Примеры и приговоры общества до такой степени увлекают его по ложному пути, что он в ослеплении сочувствует и не согласному с его душою. Новая трагедия окончена была автором в 1786 году. Надобно думать, что Дмитревский и ее осудил на забвение: иначе она явилась бы на тогдашнем русском театре, еще не богатом пьесами. Отвергнутая разборчивым вкусом знаменитого актера, она, впрочем, с того же года, как была написана, перешла в достояние русской литературы. Императорская Академия Наук, усиленная в способах ученой деятельности благоразумными распоряжениями директора своего, княгини Е. Р. Дашковой, приступила тогда к печатанию книги, теперь очень любопытной по редкости своей и которой примером у нас не пользовались после. До 1795 года, в течение почти десяти лет, печатались Академиею в одном издании все пьесы на русском языке, писанные для сцены. Из них составился сборник в 43 частях, под названием «Российского Театра». Как книга для чтения, этот сборник, конечно, утомителен, потому что издатели и не думали о выборе занимательнейшего. Но, представляя в себе почти все материалы драматической русской литературы того времени, он для истории навсегда останется памятником важным и, к сожалению, единственным. Здесь нашла себе место и «Филомела»

Крылова, что́, без сомнения, доставило много огня отроческим его восторгам.

Ежели поэт утешался произведениями своими, то мать его еще больше должна была радоваться в это время: сыну ее дали место в здешней казенной палате с жалованьем в год по 25 рублей. Чтобы постигнуть, как могли жить они при этих средствах, надобно представить всю бережливость бедных людей, ограниченность их желаний и бывшую тогда дешевизну во всем. О последней можно приблизительно судить по одному: Крылов рассказывал, что мать его платила тогда за прислугу женщине 2 рубля в год. Недолго, впрочем, Марья Алексеевна утешалась милым своим сыном. Ему суждено было одному прокладывать себе дальнейшую дорогу к счастью: в 1788 году он лишился матери, о которой никогда не мог вспоминать без сердечного умиления.

IX

Природа наделила Крылова умом деятельным, острым и даже колким. В молодости он увлекался всякою первою мыслию. Двадцати лет оставшись полным властелином судьбы своей, он, как по службе, так и в литературных предприятиях, беспрестанно гонялся за новостью. Это было причиною, что, быстро расширив круг знакомств и пользуясь известностью в кругу писателей, он ничему не предавался постоянно и долго оставался без существенных успехов на поприще гражданской службы и на поприще литературном. По смерти матери, в том же году, он определился на службу в Кабинет ее императорского величества, откуда, по истечении двух лет, вышел в отставку с чином провинциального секретаря. Ему казалось, что периодическими изданиями и заведением собственной типографии можно приобрести все: независимость, известность и деньги, что это положение спасет его от пожертвований, сопряженных с службою. Обольстившись мечтательным расчетом, Крылов с 1789 по 1801 год, в течение двенадцати лет, оставался без должности, работал для своих журналов, хлопотал по содержанию типографии и ревностно обогащал театр новыми пьесами своими.

Молодому человеку, который чувствовал врожденную потребность в умственных трудах и находил в себе решительные способности к исполнению заманчивых предприятий, трудно было усидеть хладнокровно за скучными дело-

выми бумагами в эту эпоху, когда вся Россия, вдохновенная Екатериною, была — новая жизнь и поэзия. До восшествия императрицы на престол у нас было только одно периодическое издание (ежели не считать «Трудолюбивой Пчелы» Сумарокова, один год выходившей). Академик Миллер, не знавший порядочно по-русски, основал его в 1755 году, под названием: «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Теперь являлись беспрестанно новые, так что предприятие Крылова было едва ли не сороковым. К умственному движению, обнаружившемуся так резко, наиболее содействовал указ 1783 года, доставивший право всем частным лицам заводить типографии, бывшие до тех пор исключительно принадлежностью правительственных мест и казенных учреждений. Кому не знакомо имя Новикова, представителя тогдашних журналистов, типографщиков и даже книгопродавцев? «Он (как прекрасно выразился Киреевский) не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Память о нем почти исчезла. Участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности. Многих уже нет. Но дело, им совершенное, осталось. Оно живет. Оно приносит плоды и ждет благодарности потомства». Надобно полагать, что этот человек, в начале рассматриваемого здесь десятилетия покинувший Санкт-Петербург и поселившийся в Москве с обширными своими предприятиями, где он образовал из друзей своих типографическую компанию, принявшую в свой избранный круг только что появившегося Карамзина, — надобно полагать, что он отчасти служил примером для Крылова. Новиков был ровесник Хемницера, следовательно, двадцатью четырьмя годами старше нашего поэта. Его успехами все умы еще заняты здесь были. Сатирическое издание его «Живописца» уже четыре раза было перепечатываемо. Какое искушение для молодого писателя, движимого честолюбием, бедностью и даром насмешливости!

В 1789 году Крылов соединился с капитаном гвардии Рахманиновым, чтобы на общем иждивении содержать типографию и печатать в ней свой журнал. Ровно за двадцать лет до них, доныне еще забавляющий нас романтическими похождениями своими и во всех родах литературными предприятиями, Федор Эмин, по рождению поляк, проживший несколько лет в Турции магометанином и янычаром, перекрестившийся в Лондоне у русского посланника в православие и окончивший жизнь в Санкт-Петербурге за сочинением книги: «Путь ко спасению», издавал здесь журнал под

названием «Адская почта». Его заглавие понравилось новым журналистам, которые и явились в публику с «Почтою духов».

X

В нынешнем собрании сочинений Крылова напечатаны все статьи, принадлежащие собственно его перу и помещенные им в тогдашнем его журнале. Они составляют одну картину, в которой остроумный писатель решился нарисовать поражавшие его пороки, слабости и резко смешные стороны своего века. Тогда в литературе господствовало обыкновение сатирическую работу передавать каким-нибудь духам, так как им легче человека всюду проникнуть, все увидеть, везде поспеть, принять какой угодно вид и нигде не подвергнуться никакой беде за опасное ремесло. Такая мысль могла остротою своею забавлять общество только раз; именно, в книге человека, которому она первому пришла в голову. К сожалению, это не был Крылов. Он и здесь заплатил дань веку своему, набросив на едкие свои изображения покрывало писем *Зора, Буристона и Вестодава* к волшебнику *Маликульмульку*. Нельзя читать без удивления писем этих, когда сравнишь с ними сочинения прочих писателей наших в прозе, относящиеся к одному с ними времени, и когда подумаешь, что их писал двадцатилетний молодой человек, выросший в провинции, не получивший ни воспитания, ни даже обыкновенных школьных знаний. Разнообразие предметов, до которых он касается, выбор точек зрения, где становится как живописец, изумительная смелость, с какою он преследует бичом своим самые раздражительные сословия, и в то же время характеристическая, никогда не покидавшая его ирония, резкая, глубокая, умная и верная — все и теперь еще, по истечении с лишком полустолетия, несомненно свидетельствует, что перед вами группы, постановка, краски и выразительность гениального сатирика. Крылов этим одним опытом юмористической прозы своей доказал, что, навсегда ограничившись впоследствии баснями, он опрометчиво сошел с поприща счастливейших нравоописателей. Тут он и языком русским далеко опередил современников. В его стихотворениях, относящихся к этому периоду жизни его, вы чувствуете, как рабски подчиняется он образцам, заимствуя из них известные выражения, изысканность украшений, обороты и неестественный тон. Но в прозе ни от кого независим он. Кроме легкого, правильного и сильного языка, изумляют читателя новые мысли, без малейшей

натяжки связываемые с шутками в разговорах. В одном месте *Буристон* умышленно оскорбляет актера, назвавши его народным шутом. «Лучше (отвечает актер) заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. Есть шуты (продолжает артист), которые очень дорого стоят народу, но мало его забавляют. А мы из числа тех, которым цена назначается от самих зрителей по мере нашего дарования и прилежания, а не по проискам и не по знатности покровителей. Сверх того мы из числа тех шутов, которые не подвержены пороку публичной лести. Мы (заключает он) и перед самими царями говорим хотя не нами выдуманную, однако ж истину, между тем как вельможи, не смея перед ними раскрывать философических книг, читают им только оды и надутые записки об их победах».

Главною целью издания, как нельзя не догадаться по господствующему в нем направлению, было патриотическое содействие к утверждению в России отечественных нравов, доблестей, воспитания, особенно языка, уже и тогда теснимого французским в высшем кругу общества. Вот одно замечательное место о последних двух предметах в письме *Зора*. «Еще не прошло одного века, как жители здешние сами воспитывали своих детей и толковали им только о том, чтобы были они честными людьми, храбрыми на войне и твердыми в переменах счастья. К таким наставлениям нередко способствовали примеры самих отцов, которые всегда старались содержать при себе детей своих. Тогда жители здешние хотя не были красноречивы, но говорили такие истины, которые не было нужно поддерживать красноречием. Теперь же, по прошествии варварских времен, вздумали, что тот не может быть хорошим гражданином, кто не умеет танцевать, прыгать, вертеться, говорить по-французски и болтать целый день, не затворяя рта, в беседах. К такому воспитанию необходимо понадобились Французы. Теперь не жалеют ничего, чтобы сделать детей своих приятными в большом свете, и для того учат их хорошо кланяться, держать себя в лучшем положении и не говорить здешним языком, но иностранным. Им не говорят ни слова о том, чтó есть добродетель и полезна ли она. Отцы советуют всегда иметь в наличности деньги, которые могут заменить достоинства и поправлять недостатки; а учители научают променивать эти деньги на кафтаны и на щегольство, которое здесь заменяет иногда богатство». Глубоко проникнутый убеждением, сколько нравственного зла распространя-

ется в государстве от ложного понятия о воспитании, и в какой мере задерживаются успехи общественного образования от предпочтения иностранного языка отечественному, Крылов, в каждом периоде литературной жизни своей, обращался к развитию темы, заключающейся в приведенных строках. Ей посвятил он, как увидим после, две комедии: «Модная лавка» и «Урок дочкам», и три басни: «Крестьянин и Змея», «Бочка» и «Воспитание льва».

Периодическое издание его «Почта духов», разделенное первоначально на две части, выходило ежемесячно. По истечении года он прекратил его, вероятно, почувствовавши, что для журнала недостаточно однохарактерных статей. К чести прежних читателей надобно прибавить, что «Почта духов» сохранила свою ценность как книга. Ее перепечатали в 1802 году в четырех частях.

XI

Протекло два года (1790 и 1791), на которых не осталось следа литературных занятий Крылова. Из них последний ознаменовался появлением в свет «Московского журнала» Карамзина. Предназначенные судьбою возвысить некогда успехами своими русскую литературу, эти писатели и родились почти в одно время. Только тремя годами* Карамзин старее был Крылова. Но в детстве много преимуществ досталось историографу пред баснописцем. Воспитание, образование и общество, посреди которого Карамзин вырос, рано развили его ум, его вкус и направили любознательность его на прекрасную дорогу. Крылов все приобретал случайно. Счастливые способности помогли ему, между прочим, выучиться рисовать и играть на скрипке. В числе мелких стихотворений, помещенных здесь, есть стихи к *Елизавете Ивановне Бенкендорф.* Он сочинил их, посылая к ней написанный им пером на образец гравировки портрет императрицы Екатерины II. Лучшие наши живописцы в последствии времени выслушивали суждения его о своих работах с доверенностью и уважением. Как музыкант, он, в молодые лета, славился в столице игрою своей на скрипке и обыкновенно участвовал в дружеских квартетах первых виртуозов. Неизменная страсть к театру дополняла его практическое образование.

* Если вспомнить, что Карамзин, как теперь убедились, родился 1 декабря 1766, а Крылов 2 февраля 1768 года, то разница не составит и двух лет.

Прекратив издание первого журнала, Крылов удержал типографию за собою и за своими в ней участниками. Она доставляла им доход, а в скором времени понадобилась и для собственного его предприятия. С 1792 года он приступил к составлению нового журнала под названием «Зритель». Подобно первому, и это было ежемесячное издание, но разделенное на три части. Преобладающее направление его явно показывало, что журналом заведывает редактор «Почты духов». «Зритель» издавался (заимствуем подлинные слова из Введения к нему), «чтобы порок, представляемый во всей гнусности, вселял отвращение, а добродетель, изображаемая во всей красоте, пленяла собою читателя». Крылов здесь разнообразнее. Он меняет предметы своих исследований, переходит от одной формы сочинения к другой и шуточные статьи отделяет от серьезных. Восточная повесть его «Каиб» хотя своими красками, тоном, даже планом и напоминает многочисленное племя подобных сочинений, бывших в большом ходу у писателей XVIII столетия, однако и до сих пор не утратила достоинства своего как сатира многосторонняя, умная и живописная. Очень оригинально и необыкновенно тонко в одном месте этой повести восточный стихотворец изъясняет различие между одами и сатирами. «Мне удивительна способность ваша (говорит сочинителю од другое лицо) хвалить тех, в ком, по вашему же признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам». «О, это ничего (отвечает поэт), поверьте, что это безделица! Мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было. Ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, которому он более подвержен. Но и тут принужден часто входить в самые мелочи, чтобы он себя узнал. Что до оды, то там совсем другой порядок. Можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно — и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы». В прочих статьях автор, не прикрываясь ни аллегориею, ни калифатом, дает волю неистощимому сарказму своему и прямо уже описывает низкие страсти, разврат, глупости и ничтожество современного ему общества.

Мелкие стихотворения Крылова, напечатанные в «Зрителе», еще не сбросили с себя чопорного убранства прошедшего века. Молодой поэт, как и другие из товарищей его,

покушался на все, начиная с переложений псалмов и сочинения высоких од до песней и слезных элегий. Ломоносов и даже Сумароков перед всеми носились тогда как живые. Знаменитая ода Ломоносова, начинающаяся стихом:

«Заря багряною рукою»,

видимо, одушевляла Крылова, когда он сочинял следующую строфу в своей оде «Утро»:

Заря торжественной десницей
Снимает с неба темный кров
И сыплет бисер с багряницей
Пред осветителем миров.
Врата, хаосом вознесенны,
Рукою время потрясенны,
На вереях своих скрипят;
Но разъяренны кони Феба
Чрез верх сапфирных сводов неба,
Рыгая пламенем, летят.

XII

Из числа современников по литературе самое близкое лицо к Крылову в это время был драматический писатель Клушин (ум. 1804). Он участвовал и в содержании типографии его, помещавшейся в нижнем этаже дома Бецкого (ныне е. и. в. принца Ольденбургского), и в наполнении «Зрителя» статьями. Это был человек с несомненным комическим дарованием. Крылов даже в старости своей вспоминал о нем с удовольствием и отзывался всегда с похвалою. Прекратив издание «Зрителя», они решились, с 1793 года, печатать в общей их типографии новый журнал: «Санкт-Петербургский Меркурий» и означить на нем имена обоих редакторов. Крылов, с каждым преобразованием периодических трудов своих, видимо, стремился к совершенствованию их занимательностию содержания, расширением программы и сближением с потребностями публики. В Клушине нашел он сотрудника ревностного и полезного. Одарены будучи умом тонким и гибким, молодые литераторы не берегли ни остроты, ни насмешек. Здесь Крылов поместил, между прочим, две свои статьи, исполненные едких нападений на празднолюбцев и на бездарных писателей, одну под названием: «Похвальная речь науке убивать время, говоренная в «Новый год»; другую — «Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей». Клушин трудился не только для журнала, но в то

же время и для театра. Первая из комедий его, написанная стихами, называется «Смех и горе». Она тогда же представлена была на театре. Крылов воспользовался этим обстоятельством, чтобы изложить в журнале своем отзыв о новой пьесе. Он, в объяснение разных видов критики, говорит: «Я не намерен ни ослепить автора ласкательною похвалою, ни огорчить его грубым и бранчивым суждением. Словом: я поступлю так, как бы желал, чтобы поступлено было со мною в таковых же обстоятельствах, и как бы должно было поступать со всяким новым автором. Пристрастная и чрезмерная похвала изнеживает и расслабляет дарования; колкая брань и насмешка их повергает в отчаяние и задушает в самом рождении. Но беспристрастное суждение очищает вкус и, указывая на погрешности одною рукою, увенчивает другою красоты. Такое суждение не утушает и не ослепляет самолюбия, но оставляет его в той степени, какая нужна для воспламенения дарования». Изложив содержание комедии, он со всем беспристрастием и достоинством указывает на ее недостатки. Другая комедия Клушина, в этом же году представленная, написана прозою и называется «Алхимист». И об ней Крылов напечатал свой отзыв в «Санкт-Петербургском Меркурии». Вот одно из его замечаний, обнаруживающее знатока дела. «Разговоры в комедии ведены все очень остро, но они по большой части отдалены от содержания комедии и наполнены эпизодами, которые ничуть не служат к исправлению *Вскипятилина,* что́ бы, кажется, должен был иметь автор в виду». Издание «Санкт-Петербургского Меркурия» продолжалось, как и прежние журналы Крылова, только один год. Клушин отправился тогда за границу. В последствии времени написал он для нашего театра еще три пьесы: комедию «Худо быть близоруким», оперу «Американцы» (обе 1800 г.) и комедию «Услужливый» (1801). Крылов навсегда покинул издание журналов. Только в 1835 году, по просьбе Смирдина, не принимая никакого участия в журнале, для шутки он позволил напечатать в объявлении о «Библиотеке для Чтения», будто он взялся быть в том году ее редактором.

Театр еще долго привлекал к себе все внимание Крылова и подстрекал его деятельность. От сочинения трагедий отказался он вовремя. Но тем сильнее пристрастился теперь к комедиям в прозе, быстро поставляя их одну за другою. К 1793 году относятся две его пьесы: комическая опера «Бешеная семья» и комедия «Проказники», обе тогда же представленные и после напечатанные в «Российском Театре». Трудно изъяснить теперь, отчего комедии

Крылова, и особенно первоначально им писанные, так мало выказывают поэтического в нем таланта. Нет в них ни русского общества, ни наших нравов, ни характеров сословия, изображаемого сочинителем, ни даже той общей истины в действиях, которая понятна уму, хотя бы он и не находил около себя хороших образцов для руководства в сочинении. Видно, напротив, что дурные образцы мало-помалу получают власть над самым умным человеком. В комической опере «Бешеная семья» ни в чем нет правдоподобия. Все доведено до самой грубой карикатуры. Двусмысленные речи заступают место шуток. В языке какая-то неблагородная изысканность. Это самая верная копия пустых, давно забытых пьес того времени, когда она была писана. Нисколько не лучше и «Проказники». К недостаткам первой пьесы здесь прибавлено еще столько излишних сцен и скучных разговоров, что представление ее должно было утомить самых неприхотливых зрителей. Между тем ровно за десять лет уже была напечатана бессмертная комедия Фонвизина «Недоросль». Ужели ее чтение не открыло глаз Крылову на искусство? Или она еще так преждевременно явилась, что и самые резкие красоты ее не могли вдруг направить ум и вкус на новую дорогу?

Обильно было это время и мелкими стихотворениями Крылова. Множество напечатано их в «Санкт-Петербургском Меркурии». Со всею игривостью и жаром молодого человека, в разных видах, часто с увлечением и оригинальностью, описывал он любовь своего пылкого сердца. Ему только что исполнилось двадцать пять лет. Предметом этих страстных стихов везде является тогда прославленная им Анюта. Вот как поэт описывает сам период своей юности:

Из всех наук тогда одна
Казалась только мне важна —
Наука, коя вечно в моде
И честь приносит всей природе;
Которую в пятнадцать лет
Едва ль не всякий узнает,
С приятностью лет тридцать учит;
Которою никто не скучит,
Доколе сам нескучен он;
Где мил, хотя тяжел закон;
В которой сердцу нужны силы,
Хоть будь умом силен слегка;
Где трудность всякая сладка;
В которой даже слезы милы,

Те слезы с смехом пополам
Пролиты красотой стыдливой,
Когда, осмелясь стать счастливой,
Она дает блаженство нам;
Наука нужная, приятна,
Без коей трудно век пробыть;
Наука всем равно понятна:
Уметь любить и милым быть.
Вот чем тогда я занимался,
Когда с Анютой повстречался;
Из сердца мудрецов прогнал,
В нем места ей одной лишь дал —
И от ученья отказался.

В числе мелких стихотворений 1793 года одно напечатано под заглавием «К счастью». Оно явно показывает, что молодой автор испытывал силы свои и в подражании первому лирику Екатерининского века. Сравнив эти стихи с известною одою Державина «На счастье», сочиненною в 1789 году, нельзя не чувствовать этого. В начальной строфе и в окончательной Крылов повторяет мысли образца своего, даже удерживает отчасти и форму его, как, например, в последней:

Послушай, я не кинусь в слезы:
Мне шутка все твои угрозы.
Что я стараюсь приобресть,
То не в твоих руках хранится;
А чем не можешь поделиться,
Того не можешь и унесть.

Между тем сколько разности в целом! Державин исполнен лирического движения и картин, а подражатель остается при одних нравоучительных, холодных стихах, хотя и не лишенных едкости сатиры.

XIII

«Сочинитель в прихожей», комедия в трех действиях, написанная прозой, разыграна была в 1794 году и после напечатана в «Российском Театре». Волокитство и мотовство, основы старинных у нас комедий, составлявшихся по французским образцам, господствуют и в театральных пьесах Крылова, которые относятся к рассматриваемому нами времени. Герой комедии, Граф Дубовой, так ослеплен своею любовью к кокетке Новомодовой, что во всех явлениях,

где он выходит на сцену, нет у него других речей, кроме рассказов о приготовлениях к свадьбе и подарках невесте, которая только и годится, чтобы дать понятие о глупейшей и самой низкой развратнице. Оба они мыслят и действуют по указаниям слуги и служанки, как это было в обыкновении у всех прежних театральных героев. Не можешь надивиться, откуда эти люди зашли на сцену. Все, что ни говорят они, что ни предпринимают, о чем ни шутят, за что ни сердятся, так чуждо общества, жизни и условий света, что театр привыкнешь почитать неведомою нам планетою, куда волшебник-сочинитель забрасывает нас для изучения диковинок. Там между людьми, которые, впрочем, отличены один от другого названиями должностей, очень и между нами известных, никакого нет различия: у них побуждения, привычки, страсти, язык — все так подведено под одну и ту же форму, что, долго оставаясь в их обществе, потеряешь воспоминание о действительной жизни. Сочинитель, как бы отвращая всякое подозрение, что он своею сатирою метит на чью-нибудь личность, с намерением все изображает так, как у нас и быть не может. После этого удивительно ли, что слова: лгать и сочинять употребляют у нас нередко как синонимы и что между действительностью и представляемыми на сцене происшествиями никто не думал искать соотношения?

Для оживления пьесы сочинитель вывел в этой комедии *Рифмохвата,* лицо равным образом неестественное, по крайней мере небывалое, род комического идеала. По *Рифмохвату* можно составить одно заключение, что Крылов презирал глупых и низких стихокропателей, для которых и роли выдумывал самые отвратительные. Еще в прежней своей комедии «Проказники» он наложил руку на этот постыдный класс людей, изобразивши в такой же карикатуре *Рифмокрада* и жену его *Таратору*[3]. В эти портреты, для нас теперь немые, полинялые, вероятно, попадали черты жизни, тогда кому-нибудь внятные; но они так мелки посреди грубой живописи небывальщины, что напрасно занялся бы кто разложением картин на разнородные части. *Рифмохват,* во всей пьесе почти не покидающий сцены и, следовательно, очень надоевший зрителю своими глупостями, в одном только месте рассмешит его. Он рассказывает служанке Новомодовой о своем несчастьи, случившемся в то время, когда хотелось ему поднести Графу Дубовому тетрадь стихотворений. «Да вот, сударыня: я желал поднести его сиятельству графу книгу моего сочинения, и увидел я его бегущего к своей карете. Я поклонился; од-

нако же он не догадался и сел в карету. А я был так неосторожен, что, протягивая к нему руку с этою тетрадью, уронил ее под колесо — и оно всю ее перемяло. Ну, вот такая досада, что лучше бы это проклятое колесо мне по животу переехало!»

Есть между напечатанными ныне мелкими стихотворениями Крылова многие, под которыми издатели не могли выставить времени, когда он написал их. Они отысканы в разных тетрадях между бумагами автора. Видно, поэт рано и сам почувствовал, как они маловажны для публики. Он в поэзии шел тогда за другими. Таковы переложения в стихи псалмов. На стихотворение Дмитриева «К младенцу» тоже встречаем здесь подражание, под заглавием «К спящему дитяти». У первого сказано:

Вступишь в возраст ты другой:
Рок и страсти ополчатся —
И прости твой век златой!
Ах, я опытом то знаю,
Сколько я сердечных слез
Проливал и проливаю!
Сколько муки перенес!
Смерть родных и сердцу милых,
Страсти, немощь, хлад друзей...

Другой подобную мысль выражает по-своему:

Придет время, что сон твой
Так не будет безмятежен:
Золотой твой век пройдет;
Век тебя железный ждет;
Ждут тебя сердца жестоки,
Ложна дружба, ложна честь;
Ждут развраты и пороки,
Чтоб тебе погибель сплесть.

Такого рода заимствования попадаются в рассматриваемых теперь пьесах очень часто. Они напоминают разные стихотворения даже Карамзина, Капниста и других. Молодое сердце, живо принимая лучшие впечатления, наполняется ими и как бы усвояет их. Есть, однако же, в этом отделении стихи, может быть, сочиненные и позже приведенных. Они в некоторых местах прекрасны по отделке языка, по движению мыслей, и явно показывают самобытность таланта Крылова. Это — послание к Елизавете Ивановне Бенкендорф, на которое указано было выше. Особенно оригинальны и грациозны его начало и окончание.

Махнув рукой, перекрестясь,
К тебе свой труд * я посылаю —
И только одного желаю,
Чтоб это было в добрый час.

. . . .

Прими его почтенья в знак,
И, не ценя ни так ни сяк,
Чего никак он не достоин,
Поставь смиренно в уголку —
И я счастливым нареку
Свой труд, и буду сам спокоен.
Пусть видят недостатки в нем;
Но, критику оставя строгу,
Пусть вспомнят то, что часто к богу
Мы с свечкой денежной идем.

XIV

С 1795 по 1801 год Крылов как бы исчезает от нас. Ни на одном из его сочинений не осталось заметки, по которой бы можно было отнести его к этому шестилетию. Сам он не был тогда в службе. Литератор уже с известным именем, молодой человек, успевший образовать в себе несколько талантов, за которые так любят в свете, драматический писатель, вошедший в дружеские сношения с первыми артистами театра, журналист, с которым были в связи современные литераторы, — Крылов и сам не мог заметить, как ускользал от него год за годом посреди развлечений столицы. Он участвовал в приятельских концертах первых тогдашних музыкантов, прекрасно играя на скрипке. Живописцы искали его общества как человека с отличным вкусом. В дополнение пособий по литературе Крылов выучился по-итальянски и свободно на этом языке читал книги. Ему не было уже чуждо и высшее общество столицы, где в прежнее время так радушно принимались люди с талантами. Между тем увлечения молодого сердца, естественно, требовали жертв, стоивших и траты времени и частого удаления от серьезных занятий. Хладнокровие и благоразумие не удел юного поэта. По крайней мере, Крылов, повинуясь призыву любви, умел защититься от страсти буйной. Нравственная грация во всю жизнь сопровождала движения его сердца.

К сожалению, в нем развилась другая страсть, которая заставила его много погубить времени. Он завлекся игрою

---

* Говорится о портрете Екатерины II, писанном Крыловым.

в карты. Как ни разбирай, картежная игра во всех отношениях представляет в себе что-то недостойное благоразумного человека. Вот почему ее начало всегда современно легкомысленной молодости каждого. Принять ли ее даже как отдохновение от трудов и простое средство к необходимому развлечению — надобно предположить удивительную пустоту души, способной для того оставаться в сфере подобной деятельности. Не упоминая о музыке или дружеских беседах, о прогулках и вообще о всяком механическом занятии, самое бездействие полезнее и даже благороднее игры. В защиту нравственной стороны ее обыкновенно приводят мысль, что здесь непринужденное, равномерное борение партий. Но кто не убежден, что в игре весь успех только и зависит от неравномерности либо характеров, либо соображений. Это обстоятельство, всеми сознаваемое, и низкая цель уничтожают достоинство соперничества. Пушкин говаривал, что сильную игру надобно отнести в разряд тех предприятий, которые, касаясь с одной стороны, близкой гибели, а с другой блистательного успеха, наполняют душу самыми сильными ощущениями, всегда увлекательными для людей необыкновенных. И это изъяснение нисколько не облагораживает приверженцев к игре. Подчиниться властительным порывам во время делопроизводства мелкого, сухого, безжизненного, не соблазняющего никакою поэзиею, кроме чужих денег — к этому способны разве самые обыкновенные люди, уже успевшие иссушить в себе все стремления к чему бы то ни было поэтическому. Гораздо легче сказать, и это справедливее будет, что недостаток истинно хорошего воспитания, отсутствие в душе правил строгой нравственности, привычка к развлечениям внешним, пример общества и его испорченные нравы незаметно роднят нас с этим унизительным препровождением времени и постепенно разжигают в нас другие страсти, удовлетворяемые выигрышем. Как бы то ни было, но Крылов заплатил дань и этой слабости. Он отыскивал сборища, в которых предавались игре с самозабвением. Он готов был съездить в другой город, ежели узнавал, что там найдутся товарищи по игре. Никто не замечал, конечно, чтобы Крылов жаден был к деньгам. Он был вообще беспечен и нерасчетлив. У этих людей вместо истинного сребролюбия иногда проглядывает что-то похожее на бессмыслицу. «Отправляясь со мною вместе куда-нибудь в гости (рассказывал Гнедич), Крылов никак не соглашался заплатить хорошему извозчику столько же, сколько платил я, и считал это мотовством. Половину дороги он шел пешком; и наконец,

усталый, бывал принужден сесть на самый дурной экипаж, и за половину дороги платил почти столько же, сколько просили с него при начале. Это называл он бережливостью». Вот образчик расчетливости поэта, им же изображенной в басне «Мельник». От привычки к игре освобождаются не вдруг. С Крыловым было то же. Известно, что слух об этой страсти его в последствии времени дошел до императора Александра Павловича. Государь тогда произнес многозначительные слова: «Мне не жаль денег, которые проигрывает Крылов; а жаль будет, если он проиграет талант свой».

XV

Бездейственная жизнь наскучила наконец Крылову. Вступить в службу вновь ему теперь уже не было трудно. В нем готовы были принять участие самые значительные лица. В 1801 году он удостоился покровительства вдовствовавшей императрицы Марии Федоровны. Государыня изволила поручить его рижскому военному губернатору князю Сергею Федоровичу Голицыну. Тогда Крылову было 32 года. Многие в эти лета пользуются уже значительностью по службе. Поэт занял место секретаря при новом своем начальнике. Живши в городе, который был для него иностранным, мог бы он пристраститься к делам службы; но привычка к занятиям литературным, а еще более к игре в карты не оставила его и здесь. Рассказывают, что, в последнем отношении, на некоторое время он был даже очень счастлив, выигрывая много денег, которые, как это обыкновенно оканчивается, он скоро все проиграл. Насмешливый ум его отозвался в Риге шуткою-карикатурой, известной только в рукописи, под названием трагедии: «Трумф». Основанием карикатуры служит смешной выговор русских слов, произносимых немцами. Впрочем, Крылов никогда и не думал пустить пьесу в известность. Она огласилась так же, как и все, недоступное печати [4].

На другой год новой службы своей Крылов произведен в чин губернского секретаря, а на третий еще раз покинул службу. Правда, ему больше и делать было нечего в Риге. Князь Голицын, испросив себе увольнение от должности, там занимаемой им, отправился к себе в деревню Саратовской губернии. Привыкнув к Крылову и полюбив его, он уговорил поэта переселиться с ним в новое его местопребывание. Без родства, ничем не связанный, мало заботясь о будущем, может быть и любопытствуя взглянуть на де-

ревенскую жизнь вельможи, поэт охотно принял его предложение. Там оставался Крылов три года. Его положение, несмотря на дружеское к нему отношение князя, нельзя было назвать совсем приятным. В многолюдном доме знатного человека никак не избегнешь мелких досад, случайных столкновений с такими людьми, которые, не умея вполне оценить достоинство писателя, смотрят на него как на бесполезного нахлебника. Впрочем, Крылов нашел способ отвратить от себя всякий упрек в тунеядстве. Время, остававшееся праздным после деревенских забав, собраний и гастрономических занятий, он употреблял в пользу детей князя, обучая их тому, в чем чувствовал себя сведущим. Таким образом поэт наш вкусил сладость и звания домашнего учителя. С маленькими князьями воспитывался там и чужой мальчик, сын одного русского дворянина, по происхождению носившего финляндскую фамилию *. Крылову тогда и в голову не приходило, что этот ребенок некогда удивлять будет лучшее наше общество своим остроумием, своенравием своим, ипохондриею и приготовит для потомства любопытнейшие Записки, в которых читатели найдут несколько желчных страниц и о деревенском саратовском учителе. Из них видно, что в деревне Крылов действительно не был как у себя. Он описан человеком уклончивым, тонким и заметно угождавшим прихотливому вкусу хозяина, чтó подтверждает мысль об его затруднительном положении и доказывает гибкий, проницательный ум его, рано постигнувший истину, изложенную им после в басне «Трудолюбивый Медведь». Так прошли для Крылова первые годы того славного в истории России двадцатипятилетия, на скрижалях которого сияет и его имя. В 1806 году он отправился через Москву к старым приятелям своим и к старым занятиям в Санкт-Петербург, дружески распростившись с князем Голицыным, который и сам на следующий же год должен был покинуть деревню, избранный в главнокомандующие третьей области земского войска.

XVI

В Москве русская словесность тогда процветала. Не только Дмитриев и Карамзин, преобразователи языка нашего и вкуса, влекли к образцам своим молодое поколение, но и Жуковского имя уже приобрело известность. Крылову, который остановился в Москве, не менее как и другим, при-

* Филипп Филиппович Вигель.

ятно было общество этих литераторов, которые жили только для успехов ума и вкуса. Он особенно сблизился с Дмитриевым. Желая войти с ним в такие сношения, которые бы касались предмета, для них обоих равно занимательного, Крылов, в свободное время, перевел из Лафонтена две басни: «Дуб и Трость» и «Разборчивую Невесту». Дмитриев, прочитав их, нашел перевод Крылова очень счастливым и достойным прелестного подлинника. Тогда он начал уговаривать будущего соперника своего не покидать этого рода поэзии, который, по его мнению, более других удался ему и может со временем составить его славу. Крылов последовал совету законного судии в этом деле — и в Москве же перевел еще из Лафонтена «Старик и трое молодых». Две первые басни Дмитриев немедленно послал к князю Шаликову для напечатания в № 1 его журнала «Московский Зритель» (1806). Перед ними была надпись переводчика: *С. Б. Бкндрфвой* (Бенкендорфовой). Издатель припечатал к ним свое следующее примечание: «Я получил сии прекрасные басни от И* И* Д* (Дмитриева). Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему. Имя любезного поэта обрадует, конечно, и читателя моего журнала так, как обрадовало меня». Во 2-м № *Московского* же *Зрителя,* опять с именем переводчика, напечатана и третья его басня. Итак, почти за тридцать девять лет до своей кончины Крылов был поставлен судьбою на ту дорогу, которая должна была привести его к бессмертию.

По возвращении своем в Санкт-Петербург Крылов по-прежнему предался страсти к театру. Вероятно, три его новые пьесы для сцены, все напечатанные в 1807 году, подготовлены были уже прежде. Обе комедии: «Модная Лавка» и «Урок Дочкам», выражают сильное негодование поэта на слепое пристрастие русских к французам и их языку. Можно подумать, что жизнь в провинции подняла всю его желчь. И в самом деле, там недуги столицы выказываются отвратительнее. Что здесь только смешно или глупо, то в провинции, как в искривленном зеркале, становится гадко и нестерпимо. Многие из писателей наших, начиная с Княжнина, вооружались сатирою против этого общественного недуга. Но пользы оказалось мало, даже нисколько. Под защитою господствующей моды никто не чувствует боли, какую, по-видимому, должны бы произвести острые стрелы насмешки. Есть и еще обстоятельство, спасающее порок общества. Сатирики изображают его в таком неестественном, в таком искаженном виде, что ни одному чело-

веку и в голову не придет приложить описание к своей особе. Все дело оканчивается как в басне Крылова же «Зеркало и Обезьяна». Хотя новые комедии его несравненно выше прежних движением и правдоподобием событий, очертанием характеров, указаниями на местность и современные нравы, самым языком, довольно естественным, довольно разнообразным; но в подробностях действий, в составе сцен, в развитии предприятий много еще ложного, изысканного — и от того целое больше утомляет зрителя, нежели проникает в его сердце. Так, в «Модной Лавке» Сумбурова, для которой написана вся комедия, нисколько не возбуждает в нас того чувства, которое должно оттолкнуть от ее гадкого ничтожества, потому что оно перешло границы правды. В «Уроке Дочкам» все сцены, где разговаривают Фекла и Лукерья с Велькаровым, отзываются этим же недостатком. Между тем здесь есть явления, исполненные высокого комического достоинства. Ничего нельзя представить живее, увлекательнее и грациознее VII явления, XI, XV и XVI. Эти простосердечные глупости барышень врезываются в памяти — и один намек на какую-нибудь подобную сцену вызовет краску на лицо виновных в той же слабости.

Всего труднее разгадать, чем соблазнился Крылов при сочинении волшебной оперы своей «Илья-Богатырь», явившейся тоже в 1807 году в печати и на театре. Из современных ей и однородных с нею опер публику восхищала «Русалка», Краснопольским переведенная с немецкого. Крылову показалось, что пьеса, основанная на отечественном предании, еще большее произведет действие. В самом деле, Илья-Богатырь, Соловей-Разбойник могли увлечь воображение поэта. Между тем исполнение идеи доказало, что для поэзии необходимы краски времени и места, что недостатка их нельзя заменить чем-нибудь, что частности жизни должны быть заимствованы из народных рассказов, которых обработка требует знания древностей. На исторической почве самый счастливый талант, самое плодовитое воображение мало помогают поэту без верных, обильных и уже готовых материалов. Итак, неудивительно, что Седырь, Тороп, Зломека и другие лица, смешно выдуманные автором, никого теперь не забавляют.

XVII

В 1808 году Крылову было от роду уже сорок лет. Он вошел в это время опять в службу при Монетном дворе.

Вскоре, по высочайшему повелению, он произведен был в титулярные советники. В Санкт-Петербурге издавался тогда журнал под названием «Драматический Вестник». В нем является несколько новых басен Крылова и одно стихотворение, довольно оригинальное по содержанию своему и тем еще замечательное, что оно было последнею данью его другим родам поэзии, кроме басен, за исключением двух-трех коротеньких стихотворений, помещенных им уже гораздо позже в «Северных Цветах» по дружбе его к барону Дельвигу. Стихи, на которые указано выше, названы «Послание о пользе страстей». Гораздо прежде него Карамзин, в известном своем «Разговоре о счастии» (1797 г.), явился панегиристом страстей. Новые мысли, и особенно выступающие основанием своим из ряда так называемых общих мест, сильно привлекают к себе внимание читателей, а впоследствии, хотя мы о том даже и не думаем, являются в наших собственных сочинениях. Так случилось и с Крыловым. Но он больше Карамзина развил идею в своем послании, посвященном ей исключительно. Он из каждой мысли составил картину. Еще замечательно: он здесь, говоря о значении страстей, как бы подготовил канву для одного из совершеннейших своих произведений, которое названо «Пушки и Паруса». Стихи-послания, во многих местах, так обработаны и крепки, так игривы и блестящи, что достойны имени знаменитого автора. Возьмем из них отрывок.

Как встарь живал наш праотец Адам?
Под деревом, в шалашике убогом,
С праматерью не пекся он о многом.
Виньойль ему не страивал палат:
Он под ноги не стлал ковров персидских,
Ни жемчугов не нашивал бурмитских;
Не иссекал он яшму и агат
На пышные кубки для вин превкусных;
Не знал он резьб, альфресков, позолот,
И на стенах не выставлял работ
Рафаэлей и Рубенсов искусных;
Восточных он не нашивал парчей.
Когда к нему ночь темна приходила,
Не заменял он люстрами светила,
Не превращал в дни ясные ночей;
Он, кроме яств, не знал столу уборов,
И не едал с фаянсов и фарфоров.
Когда из туч осенний дождь ливал,
Под кожами зуб об зуб он стучал —

И, твердо знав пременчивость природы,
Как стоик ждал конца дурной погоды,
Иль в ближний лес за легким тростником
Ходил нагой — и верно босиком.
Потóм, расклав хворостнику беремя,
Он сиживал с женой у огонька,
И проводил свое на свете время
В шалашике, не лучше Калмыка.

Никто не усомнится, что автор таких стихов, печатавшихся почти за 40 лет до нашего времени, должен был обратить на себя внимание, не говорим публики, для которой иногда равны писатели, стоящие на противоположных концах художнического поприща, лишь бы имена их часто мелькали перед ее глазами, но внимание тех, для которых Жуковский издавал некогда книжки свои под заглавием «Для немногих». Без сомнения, еще более в их душе утвердилось приятных надежд при появлении в *Драматическом* же *Вестнике* значительного числа басен его. Они представляли собою такие произведения поэзии, которыми удовлетворялись вдруг и требования литературной критики и ожидания национального чувства. Патриотическое стремление к самостоятельной, независимой поэзии видело в них залоги для своей эпохи. В числе образованнейших людей того времени, принимавших ближайшее, непосредственное участие в успехах отечественной словесности и художеств, были граф А. С. Строганов и А. Н. Оленин. Дом и семейство каждого из них сосредоточивали все, что являлось в столице замечательного по литературе и изящным искусствам. Там не покровительствовали только, а любили таланты, участвовали в их занятиях, входили во все подробности трудов их и возбуждали их деятельность не только советами, но и нежнейшею дружбою. Писателю, как и другому человеку, необходимо общество. Ежели по происхождению своему принадлежит он к так называемому среднему кругу людей, то не совершит и половины своего назначения, оставшись в нем навсегда. Ум его, образованность и вкус не могут быть удовлетворены мелочными потребностями, тесною рамою жизни среднего круга. Его общество должны составлять люди, чуждые неотступных забот, принуждения, недоверчивости, ограниченных суждений и скучных разговоров. Ему необходим открытый и ясный взгляд на общество, на жизнь. При нем все должно быть свободно, искренно и высоко занимательно. Из такого общества писатель возвращается в свое уединение с новыми мыслями,

с новыми знаниями. Он соображает свои труды с действительными нуждами людей, а не с ничтожными жалобами невежества и себялюбия. Все писатели, коих имена и сочинения составляют народную славу, оправдали эту истину. Такой удел достался теперь и Крылову. Теснейшею дружбою он был соединен с домом А. Н. Оленина, где все тогдашние русские литераторы находили радушие и участие. Душою их общества, кроме образованного хозяина, была супруга его, Е. М. Оленина, урожденная Полтарацкая, существо кроткое, исполненное любви к прекрасному и его понимавшее сердцем. Это семейство и дом графа А. С. Строганова составляли как бы одно избранное общество, в котором созревали знаменитости вкуса, принадлежащие веку Александра I.

XVIII

По соображении всего, что в жизни Крылова предшествовало 1808 году, можно сказать, что для нас Крылов родился только в сорок лет. В это время он сознал свое назначение, устремивши всю поэтическую деятельность свою на один род. Накануне старости полюбила его грация вместе с мудростью. С этих пор он ничего не писал без их воли. И вот в 1808 же году вышло первое издание его басен, в числе 23 — блистательный год в русской литературе. По истечении одиннадцати лет * она должна отпраздновать его вторым Крыловским юбилеем. Слава Санкт-Петербурга отозвалась в Москве. Там Жуковский был редактором «Вестника Европы». Он поместил в нем прекрасный разбор только что вышедших в свет басен Крылова[5]. Совершеннейшие из них, по отзыву критика — следующие пять: «Два Голубя», «Разборчивая Невеста», «Стрекоза и Муравей», «Пустынник и Медведь» и «Лягушки, просящие царя». Рассуждая о басне вообще и прилагая свои выводы к Лафонтену, Жуковский говорит: «Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной басни, почитается, невзирая на то, поэтом оригинальным. Причина ясна: Лафонтен, заимствуя у других вымыслы, ни у кого не заимствовал ни той прелести слога, ни тех чувств, ни тех мыслей, ни тех истинно стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми украсил и, так сказать, обратил в свою собственность заимствованное. *Рассказ* принадлежит Лафонтену; а в стихотворной басне рассказ есть главное». Критик прибавляет

* То есть в 1858 году. Статья эта печаталась в 1847.

далее, что в большей части тогдашних басен Крылова вымыслы и рассказ заимствованы у Лафонтена. Несмотря на то, Жуковский называет нашего баснописца поэтом тоже оригинальным. «Не опасаясь никакого возражения (говорит он), мы позволяем себе утверждать решительно, что подражатель-стихотворец может быть автором *оригинальным,* хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик *в прозе* есть раб; переводчик *в стихах* — соперник». Наконец, вот ближайшая характеристика Крылова, какую составил Жуковский, рассматривая его басни: «Слог басен его вообще легок, чист и всегда приятен. Он рассказывает свободно и нередко с тем милым простодушием, которое так пленительно в Лафонтене. Он имеет гибкий слог, который всегда применяет к своему предмету: то возвышается в описании величественном, то трогает вас простым воображением нежного чувства, то забавляет смешными выражениями или оборотом. Он искусен в живописи. Имея дар воображать весьма живо предметы свои, он умеет и переселять их в воображение читателя. Каждое действующее в басне его лицо имеет характер и образ, ему одному приличные. Читатель точно присутствует мысленно при том действии, которое описывает стихотворец».

Понятно, какие новые черты внес бы в свой отчет критик, если бы ныне говорил о Крылове, когда все получило в его баснях окончательное совершенство, когда им поэт сообщил независимость тона, колорита, выражения, когда обнял он собственною мыслью русскую жизнь в главных ее оттенках и красках, изобразил ее резко и верно, наполнил создания свои философиею, сатирою и поэзиею того народа, которого был представителем, и когда в языке своем так гармонически, так художнически слил все стихии разнообразной отечественной речи. Всех Крылова басен теперь 197. Из этого числа (по его собственному показанию в издании 1843 года) только 30 таких, которых содержание заимствовал он у других поэтов, а 167 принадлежат собственно ему и по вымыслу и по рассказу.

XIX

Со времени первого издания басен Крылова до поступления его на службу в Императорскую Публичную библиотеку прошло четыре года. Из них два последние он провел в отставке. К театру начал он охладевать, что с летами становилось заметнее. Прежний сценический писатель, друг Дмитревского, постоянный посетитель каждого на театре

представления, пришел к тому, что наконец по десяти лет сряду не заглядывал в храм Мельпомены и Талии. Теперь он принадлежал кругу лучших литераторов. Его талант вполне ценил сам Державин. В 1810 году в доме певца Фелицы устроилась «Беседа любителей русского слова». Все известные в Санкт-Петербурге литераторы, все любители и покровители наук приняли участие в этом патриотическом деле. Беседа образована была наподобие какого-нибудь судилища. Она разделялась на четыре разряда. В каждом из них находился председатель, действительные члены и сотрудники. Сверх того было четыре попечителя и неопределенное число почетных членов. Один раз в месяц происходили публичные заседания, куда собирался так называемый цвет общества. В доме Державина, замечательном своею архитектурою, что на Фонтанке у Измайловского моста, отделана была великолепная зала для этих литературных собраний. Там в первый раз читаны были экзаметры Гнедича, который первоначально вздумал было продолжать после Кострова перевод Илиады александрийскими стихами, но — благодаря советам и настоянию С. С. Уварова (ныне графа, министра народного просвещения) — решился приступить к новому труду с первой песни и взять размер, подобный подлиннику. В 1811 году избран был в действительные члены «Беседы» и Крылов. Его новые басни возбуждали общий восторг в каждом чтении. Ежемесячно издавалась особая книжка, в которой печатано было все, прочитанное и одобренное в «Беседе». Лирик Державин поместил там, кроме последних стихотворений своих, «Рассуждение о лирической поэзии». С 1811 до 1816 (год кончины Державина, после чего и собрания «Беседы» прекратились) вышло девятнадцать книжек.

Так как большею частью литераторы, участвовавшие в «Беседе любителей русского слова», были члены Российской академии, то в конце 1811-го же года и Крылов избран в академики. По смерти А. А. Нартова, в 1813 году, президентом назначен А. С. Шишков. Блистательный период существования Российской академии уже прошел. Своею славою она обязана Екатерине II, непосредственно участвовавшей в ее занятиях, и первому президенту своему княгине Дашковой, умевшей постигнуть глубокую мысль великой основательницы академии. Крылов не нашел в ученых заседаниях той занимательности и возбуждения, которые бы сообщили новый полет его гению. Он редко посещал академию, и то разве в торжественные собрания. Таковы везде бывают отношения гениальных людей к прозаи-

ческим официальным совещаниям. Рассказывают, будто раз при рассуждении о способах, как обезопасить доходы академии, в припадке простодушной веселости своей, Крылов предлагал купить землю под овощные огороды, с которых доход самый прибыльный и самый верный. Впрочем, и для Российской академии была еще впереди эпоха, когда на несколько времени ожила ее знаменитость. В 1818 году ее летописи украшены были именами Карамзина и Жуковского. Академические собрания, как обыкновенные, так и публичные, оживлены были присутствием и участием лиц, привлекавших к трудам своим всеобщее внимание. Отрывки из «Истории Российского Государства» публично в первый раз читаны были в академии. Крылов, Жуковский и Гнедич тут же являлись с новыми своими произведениями.

XX

Открытие Императорской Публичной библиотеки последовало в 1812 году. Ее директором назначен А. Н. Оленин. Должности библиотекарей и помощников их поручены лицам, преимущественно известным в литературе, что́ и после соблюдаемо было несколько лет. Таким образом, здесь соединились: переводчик «Илиады» Гнедич, знаток славянской филологии Востоков, первый в России библиограф Сопиков, переводчик «Ифигении» и «Федры» Расина Лобанов. В этот же круг введены были после барон Дельвиг и Загоскин. Сюда Оленин пригласил и Крылова. Сопиков, прежде несколько лет занимавшийся книжною торговлей, как человек опытный и знавший все, что касалось до русских книг, назначен был библиотекарем по русскому отделению, а Крылов помощником его. Давний поощритель музы поэта, Брейткопф, которого жена была начальницею санкт-петербургского училища св. Екатерины, также поступил на службу в библиотеку. Удивились и обрадовались друг другу старые знакомцы, нежданно очутившись за одним делом. В первых своих воспоминаниях они воскресили прошлое. Дошла очередь и до «Кофейницы». Крылову любопытно было взглянуть на рукопись детства своего. К счастью, Брейткопф сохранил эту драгоценность. Он в целости передал ее знаменитому автору. Для жительства служащих отведены квартиры через дом главного здания библиотеки. С этой эпохи начинается для нашего поэта новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 года не переменил он ни службы, ни литературных занятий, ни даже квартиры. В 1816 году, когда вы-

шел в отставку Сопиков, умерший в 1818, Крылов занял его должность и квартиру (в среднем этаже, на углу, что к Невскому проспекту). Тут прожил он до последней отставки своей почти тридцать лет. Украшением приемной комнаты был портрет его, во весь рост, масляными красками, написанный тоже в 1812 году профессором Академии художеств Волковым на 44 году жизни поэта.

День учреждения библиотеки долгое время праздновал был публичным собранием и чтением разных новых произведений русских литераторов. В первый год Крылов прочитал здесь для публики свою басню «Водолазы». Имя и талант его становились уже народными. Сосредоточив деятельность свою на обработывании одного рода поэзии, он явственнее отделился от прочих писателей и утвердил за собою общее, выгодное для себя мнение. В первый год службы его в библиотеке император Александр Павлович приказал производить ему, сверх жалованья по должности, 1,500 р. асс. пенсии из Кабинета его императорского величества. Спустя восемь лет эта монаршая милость была удвоена. Неприхотливому, одинокому человеку теперь не о чем было заботиться. Он и погрузился в свою поэтическую лень.

Одна и та же лестница, мимо Крылова, вела наверх в квартиру Гнедича. Удобство сообщения, холостая жизнь обоих, любовь к литературе и равные отношения к гостеприимному дому Олениных тесно связали поэтов, хотя во многом великая была разница в их личности. Умом своим, всегда сосредоточенным и дальновидным, сердцем опытным и охлажденным, характером беспечным и скрытным, жизнью недеятельною и неопрятною, приемами простыми и чуждыми светскости, Крылов представлял совершенную противоположность Гнедичу, который до многого додумывался медленно и не всегда верно, увлекался добрым и доверчивым чувством, любил во всем порядок и щеголеватость, старался выказать знатока общественных приличий и часто поддавался влечению самолюбия. Это, впрочем, не мешало каждому из них сознавать в другом истинное его достоинство. Они верили вкусу один другого и взаимно советовались в сомнительных случаях. Гнедич выше ставил здравый смысл и несомненный талант Крылова, который ценил благородное предприятие своего товарища, его добросовестность в исполнении важного дела и самую начитанность, приобретенную им в продолжение долголетнего труда. Несходство духовное отражалось и на их чтении стихов. У Гнедича экзаметры его текли из уст медленно, глухо,

размеренно и принимали в самых патетических местах выражение заученное. Но вообще эта метода, созданная Гнедичем, не была ни смешна, ни противоестественна. Она обличала в нем страстного художника, который возвел свое искусство на высокую степень обработанности. Крылов же басни свои как бы не читал, а пересказывал со всею грацией простодушия и безыскусственности. В голосе его слышались все переливы самих предметов, так что чтение его можно было принять за продолжение самого разговора, которым он занимал до тех пор свое общество.

XXI

Все мы убеждены, что здесь назначение наше — деятельность. Она источник самосовершенствования, без которого человек становится виновным и перед людьми и перед своим Создателем. Умственная, нравственная, политическая, какая бы ни была, даже просто физическая деятельность доставляет человеку то, чем он возводит свое достоинство выше и выше. С этой точки зрения рассматривая Крылова, нельзя не обвинять его во многом. Теперь жизнь его, вставленная в рамки, которые пришлись по мерке, улеглась неподвижно. Кроме выходов к должности, очень легкой и не головоломной, кроме выездов к обеду в Английский клуб (где он после играл некоторое время по привычке в карты, а под конец только дремал) и на вечер иногда к Олениным, Крылов ничего не полюбил как человек общественный и образованный, как писатель гениальный. Он продолжал от скуки сочинять иногда новые басни, а больше читал самые глупые романы, особенно старинные, читал не для приобретения новых идей, а чтобы убить только время. Можно одну сторону найти в этом хорошую. Он доказал, что мелочное честолюбие, чиновническое или писательское, не общая у нас слабость. Не увлекаясь никакими замыслами, он отсторонился от людей, может быть, не чувствуя в себе столько свежести сил, чтобы с верным успехом раздвигать дорогу между ними. Но он и тут не был позабыт ни в каком отношении. Начиная с чина коллежского асессора, пожалованного ему государем в 1814 году «в уважение отличных дарований в Российской словесности» (как сказано в имянном высочайшем указе по этому случаю), Крылов, постепенно подымаясь, в 1830 году получил уже чин статского советника, награжденный еще прежде крестами Владимирским и Анненским.

Новые издания басен его, которых число год от году

возрастало, являлись очень часто. Второе вышло в 1816 году и разделено было на пять книг. В последнем, которое предпринято и кончено самим автором в 1843 году, находится уже девять книг. Из прочих изданий замечательнее других явившиеся 1825 и 1834. Одно предпринято было Слёниным и украшено очень хорошими гравюрами, другое Смирдиным, где почти при каждой басне есть по литографированной картинке, которые с удивительным успехом все исполнены Сапожниковым.

В баснях Крылова, не говоря о поэтических красотах их и народности, выразилось много истин, которые навсегда останутся пищею мыслящего и любознательного ума, какому ни принадлежал бы он веку и народу. Убеждения нашего поэта, высказавшиеся в его созданиях, самостоятельны и резки. В басне «Безбожники» представлена картина, до такой степени разительная и согласная с очевидностью, что вслед за нею всякое сомнение и легкомыслие уступят в сердце место отрадному верованию. Его «Водолазы» решают один из труднейших вопросов касательно просвещения. «Конь и Всадник» есть ответ на политические толки. «Листы и Корни» утверждают законные отношения между сословиями. В «Мирской Сходке» изъяснено начало несообразности многих общественных постановлений. Крылов представил собою писателя, не увлекавшегося ни современными соблазнами, ни односторонним направлением. Для общества он проповедник строгого порядка, правосудия, законной власти. Злоупотребления, пороки, происки, глупости нашли в нем неумолимого обвинителя. Его нравоучение проникнуто светом опытов и мудрости. Ни материализм, ни мистицизм, ни либерализм не свели его с той дороги религии, философии и политики, на которой утвердился он собственным размышлением. Он воевал против крайностей во всем, зная, как близко от них беды. Вникнув мыслью в тайный смысл его басен «Огородник и Философ», «Червонец», «Музыканты», «Любопытный», кто не почувствует, что по его системе педантство нелепо во всех своих видоизменениях? Крылов умел выразить собственное мнение в самых щекотливых случаях против людей сильных и даже опасных. Не было бича язвительнее басни его на спесь, самохвальство, невежество и тщеславие. Достаточно для этого вспомнить басни «Апеллес и Осленок», «Булыжник и Алмаз», «Осел и Соловей», «Парнас». Какие уроки заключил он в «Бритвах», «Голике» и во множестве других рассказов! Словом: книга его басен составляет основу истин общечеловеческих, гражданских, семейных и всякого человека, по

какой бы ни проходил он стезе в жизни. В отношении к России это лучшая галерея, в которой первоклассный живописец собрал характерные наши портреты, сохранивши со всею верностью не только их выражение, но и костюмы до последней мелочи.

XXII

Характер и движение литературных отношений в Санкт-Петербурге заметно изменились в тот же 1816 год, когда последовала кончина Державина. Много было до этих пор преимуществ на стороне Москвы, где жили Карамзин и Жуковский, одушевители молодого поколения писателей. Они переселились теперь в северную столицу. Около них начали между собою соединяться люди, чувствовавшие призвание к литературе и понимавшие важность благородных умственных занятий. Нигде успех не возможен без сосредоточенности сил. Великий писатель не только служит образцом вкуса, но и сообщает стройность обществу литераторов, которые с доверчивостью и любовью принимают его идеи и сообразуются с ним в правилах жизни.

Карамзин только и жил для бессмертного труда своего, от которого никто не мог отвлечь его днем. Зато каждый вечер отдавал он своему обществу. Люди государственные и писатели, все, кто искал только беседы наставительно-приятной, соединялись у него. Тогда литература занимала в понятии образованного общества высокое место. На ней сосредоточивались интересы и ожидания первых умов. Удивительно ли, что в обществе Карамзина воспитали свое мышление не только другие первоклассные писатели наши, но и те, которым предназначено было преобразовать и усовершенствовать разные отрасли гражданского ведения? Куда спешили князь Вяземский, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, там же, между графом С. Румянцовым, Сперанским, Олениным, сидели Уваров, Дашков, Блудов. Это самое общество, раз в неделю, по субботам, собиралось на вечер к Жуковскому. Сфера идей, тон суждений, краски языка естественно согласовались с понятиями, стремлениями и умом лиц, соединенных в собрании.

Здесь и Крылов являлся как общий друг. Его практический ум и тонкое соображение находили для себя много пищи независимо от приятного развлечения, представляемого разнообразием гостей, любивших его одинаково. Еще заметнее отдавался он игре своего остроумия и любезности по субботам у Жуковского, где отсутствие дам, чтение ли-

тературных новостей и большая свобода в отношениях развязывали его всегдашнюю осторожность. Между лучшими русскими писателями, со времен Ломоносова до смерти Пушкина, всегда заметно было искреннее дружелюбие. Ни тени той взаимной зависимости, в которой обвиняют соперников. Это низкое чувство никому не знакомо было в их кругу, всегда оставаясь только в низшем слое литературном. Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе своей чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, Крылов бывал особенно приятен. Раз, на одном из этих вечеров, он стал искать чего-то в бумагах на письменном столе. «Что вам надобно, Иван Андреевич?» — спросили его. «Да вот какое обстоятельство», сказал он: «хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист; а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством». Есть очень любопытная картина, представляющая кабинет Жуковского, когда после он жил в той части Зимнего дворца, которая называлась Шепелевским домом. На ней видишь группы людей в разных положениях. Это портреты литераторов и других лиц, собиравшихся у него. Всех заметнее и живописнее тут Крылов рядом с Пушкиным.

XXIII

Иностранцы почти так же, как и русские, чувствовали достоинство таланта Крылова. Басни его, особенно те, в которых более национальной прелести, переводимы были на разные европейские языки. Но никогда поклонение гению его не доходило до такой торжественности, как было в 1823 году в Париже. Известно, что это была эпоха новых литературных идей во Франции. Тогда Вильмен открыл курс лекций своих, которых неотразимая истина, изумительная ученость и мужественное красноречие произвели переворот в понятиях слушателей. Во Франции убедились, что и за пределами ее, даже под сумрачным небом, расцветая благоухает иногда цвет поэзии. Многие перешли в какую-то крайность и начали думать, будто у французов до тех пор не было еще поэзии в том смысле, как понимают это слово в Англии и в Германии. Существенное приобретение от лекций Вильмена состояло в том, что преграда, столько веков останавливавшая эстетическое сближение французов с другими народами, наконец была разрушена.

Любознательность повлеклась в разные страны за неведомыми, но уже сознаваемыми сокровищами ума и вкуса. В это время жил в Париже соотечественник наш граф Григорий Орлов, автор «Записок о Неаполитанском королевстве» и «Истории музыки и живописи в Италии», только что приготовлявший к печати еще сочинение: «Путешествие в полуденную Францию». У него в доме собирались все известнейшие ученые и литераторы. Графиня Орлова, урожденная графиня Салтыкова, хотя давно не пользовалась хорошим здоровьем, оживляла, однако же, это собрание тем очаровательным умом, который выражается в участии, в любезности и вкусе. Естественно, что в эту пору всего чаще разговор касался соединения в одну общую собственность того, что находится лучшего в иностранных литературах. Графиня обратила внимание гостей на предмет давнего поклонения своего. Она им предложила мысль о новом, лучшем переводе Крылова на французский язык. Единодушно изъявили готовность участвовать в этом деле все знаменитые тогдашние литераторы. Совокупилось пятьдесят семь талантов, чтобы одолеть один. В доме Орловых открылся как бы турнир поэзии. Участникам хотелось не только понять смысл басни, но, так сказать, к сердцу приложить каждый ее стих, каждое слово. Гостеприимные хозяева работали для них неусыпно. Наконец, сколько можно русской природы внести во французскую речь, они сделали все — и тогда-то облеклись лучшие Крылова басни в стихи игривые и блестящие, может быть едва узнавая себя в этой щегольской одежде, с такою торжественностью для них приготовленной в столице вкуса. Издание было самое роскошное и украшено прекрасными гравюрами. Всех басен переведено было 89. Надобно признаться, что это не только не перевод, но часто и не подражание, а новые басни, для которых Крылов приготовил темы: по крайней мере большая часть их заставляет так думать. Например, герцог Бассано, в басне «Червонец», вместо 38 стихов Крылова поместил в 69 стихов рассказ о крестьянине и о каком-то прохожем. Амори Дюваль, в басне «Троеженец», более 20 стихов сочинил, чтобы перевести два первые стиха подлинника. Русская простота им, по-видимому, непонятна. Тем не менее торжество таланта Крылова было полное.

Несравненно выше, спустя несколько времени, оказана была почесть баснописцу в его отечестве. В 1831 году государь император Николай Павлович, в числе подарков своих на Новый год великому князю наследнику, изволил прислать его высочеству бюст Крылова. Можно вообразить,

что почувствовало сердце поэта, когда до него дошло о том известие. Правда, он с давнего времени имел счастье пользоваться большим благоволением к себе особ императорского дома, которому обязан был всем своим благосостоянием. Но в выражениях милостей и благорасположения есть неуловимые оттенки. Здесь в безмолвном явлении высказалось все: и любовь, и урок, и почесть. В 1834 году, по высочайшему повелению, пенсия — три тысячи рублей, получаемая Крыловым из Кабинета его императорского величества, удвоена была суммою из государственного казначейства, в «уважение заслуг», как сказано в указе, «оказанных им отечественной словесности». Во все остальные годы жизни отношения Крылова к царскому семейству были самые завидные. В какое время и где бы ни встречался с ними поэт, оно неизменно приветствовало его восхитительными изъявлениями ласковости и дружелюбия. Всем памятно еще, что во время отпевания тела Крылова на груди его лежали засохшие цветы. Это букеты, которые при жизни своей имел он счастие получать в разные, незабвенные для него эпохи от государыни императрицы Александры Федоровны. Он как святыню хранил их у себя до самой своей кончины.

XXIV

Служащие в Императорской Публичной библиотеке обыкновенно дежурят по очереди, оставаясь в ней целые сутки. Крылов никогда не добивался, чтобы получить льготу в этой обязанности, хотя легко мог дойти до того, и, конечно, был вправе не только по своему таланту, но и по летам своим. Обязанность дежурства тяготила каждого библиотекаря в летние жары, когда ни читателей, ни важных дел не было. Гнедич видимо становился тогда нетерпеливым и приходил в дурное расположение духа. Чтобы освежиться от духоты комнаты, он выходил на просторный двор и прохаживался в тени. Ежели из знакомых приходил кто к нему и спрашивал, не дежурный ли он, Гнедич не отвечал словами, а только пальцем показывал на Аннинский свой крест на шее, заставляя тем понять утвердительный свой ответ. Но Крылов был терпеливее. Он преспокойно усаживался с ногами на диване и убивал время за чтением глупейших романов. Нельзя, однако же, сказать, чтобы он не озабочивался иногда и хлопотами по обязанностям службы. Для удобнейшего размещения и безостановочной выдачи брошюр, которых в русском отделении в новейшее время оказалось гораздо более, нежели книг, Крылов приду-

мал футляры в форме толстых книг и разложил в них по авторам летучие изделия книжной промышленности. Особенно начал хлопотать он по своей должности, когда определился к нему в помощники барон Дельвиг, столь же беспечный чиновник, сколько был он и беспечным поэтом. Крылов скоро догадался, что прошли для него счастливые годы, какими он был обязан смышлености и трудолюбию Сопикова. Это, однако же, не довело до ссоры двух поэтов, равно ленивых, но равно и уважавших друг в друге истинное дарование. По возможности они кое-как несли вместе общее бремя.

Домашняя жизнь Крылова еще более выказывала в нем особенностей. Он не заботился ни о чистоте, ни о порядке. Прислуга состояла из наемной женщины с девочкой, ее дочерью. Никому в доме и на мысль не приходило сметать пыль с мебели и с других вещей. Из трех комнат чистых, которые все выходили окнами на улицу, средняя составляла залу, боковая влево от нее оставалась без употребления, а последняя, угóльная к Невскому проспекту, служила обыкновенным местопребыванием хозяина. Здесь за перегородкой стояла кровать его, а в светлой половине он сидел перед столиком на диване. У него не было ни кабинета, ни письменного стола; даже трудно было отыскать бумаги с чернильницей и пером. Приходивших к нему он дружески просил всегда садиться, на что не без затруднения можно было согласиться опрятно одетому гостю. Крылов беспрестанно курил сигары с мундштуком, предохраняя глаза от жару и дыма. При разговоре сигара поминутно гасла. Он звонил. Девочка, проходя, иногда с песенкой, из кухни через залу, приносила без подсвечника восковую тоненькую свечку, накапывала воску на стол и ставила огонь перед неприхотливым господином своим. Форточка в зале почти всегда была открыта. Крылов, набрасывая разных зерен по обеим сторонам оконниц, привадил к себе голубей с Гостиного двора, и они привыкли быть у него как на улице. Столы, этажерки, вещи на них стоявшие и все, что ни попадалось на глаза в комнатах, носило на себе следы пребывания этих ежедневных гостей баснописца. Утром он вставал довольно поздно. Часто приятели находили его в постели часу в десятом. Один из них, товарищ по академии, привез ему с вечера в подарок богато переплетенный экземпляр перевода Фенелонова «Телемака». Это было еще в 1812 г. Едучи по утру к должности, полюбопытствовал он спросить у Крылова, понравился ли ему перевод, которым поэт наш и хотел было, ложась спать, позаняться, но

так держал неосторожно перед сном в руках книгу, что она куда-то сползла с кровати под столик. Переводчик, заглянув за перегородку, где Крылов еще спал, и увидев, куда попала золотообрезная книга его, тихонько убрался назад, чтобы Крылов и не узнал об его посещении. Так, за сигарой, с романом, иногда в разговорах с приятелями, Крылов проводил время до того часу, в котором надобно было отправляться обедать в Английский клуб. Продремав там довольно времени после обеда, иногда заезжал он к Оленину, а иногда возвращался прямо домой.

К посторонним посетителям, с которыми не был связан искренне, литераторы ли были то или другого рода люди, Крылов вообще оказывал большую вежливость. Никогда не любил он входить в спор, хотя бы кто говорил ему совершенно противное убеждениям его. Он знал, что люди переменяют свои мнения только после собственных опытов. Давно сделавшись равнодушным к литературе, Крылов машинально соглашался со всяким, что́ бы кто ни говорил. Это многих ободряло продолжать самые нелепые начинания. Между тем проницательность и чувство изящного у Крылова всегда ощутительны были в высшей степени. Когда принесли ему показать первый раз Ламартина «Meditations poétiques»*, он долго их листовал, перечитывал, в иных местах останавливался — и наконец произнес сквозь зубы: «Да, стихи довольно густы». При появлении в свет Пушкина «Руслана и Людмилы» почти все из литераторов старой школы вооружились против поэмы. Критикам в журналах конца не было. Одна из них вывела Крылова из его равнодушия. Он на другой же день послал к какому-то журналисту следующую эпиграмму:

Напрасно говорят, что критика легка:
Я критику читал Руслана и Людмилы —
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка [6].

То, что у нас называется находчивостью ума, Крылов часто показывал самым неожиданным и оригинальным образом. Раз выпросил он у Оленина дорогую и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это было роскошное издание описания Египта, которое составлено во время кампании Наполеона. Поутру за своим кофе, чтобы разглядеть все яснее, он сел у окна на стуле, который вместе со столиком стоял на приделанном тут возвыше-

---

* «Поэтические размышления» *(фр.)*.

нии. Положив перед собой огромную книгу и разогнув ее так, что одна половина была на столике, а другая на окне, поддерживая левой рукою корешок, любовался прелестными гравюрами, приложенными к тексту. Вдруг он почувствовал, что его стул покачнулся, как будто соскользнувши с возвышения. Усиливаясь сохранить равновесие, Крылов второпях схватил правою рукою за блюдечко чашки с кофе. Чашка опрокинулась на книгу — и разогнутые листы фолианта облиты были кофе. В одно мгновение он бросился в кухню, которая только узеньким коридором отделялась от залы, где произошла беда. Схватив ушат с бывшею в нем водою, он втащил его в залу — и, кинув на пол разогнутую книгу, стал поливать ее из ушата. Служанка, все это видевшая, но ничего не понявшая, опрометью бросилась наверх к Гнедичу, призывая его к Крылову и давая чувствовать намеками, что барин ее не в своем уме. Вот как рассказывал об этом Гнедич, немножко всегда театральный. «Вхожу. На полу море. Крылов с поднятым ведром льет на книгу воду. Я кричу в ужасе. Он продолжает». Опорожнив ушат, Крылов рассказал о случившейся беде и изъяснил, что без воды не было никакого способа свести с листов пятна кофе. И в самом деле, когда просушил он книгу, на ней ничего не осталось, кроме желтенькой полоски на краях страниц.

XXV

К славе своей Крылов не был нечувствителен. Он, при всей осторожности своей и наружном хладнокровии, с большим чувством и как бы с умилением рассказывал о следующем. Однажды летом шел он по какой-то улице, где перед домами были разведены садики. Он издали заметил, что за одною отгородкою играли дети, и с ними была дама, вероятно мать их. Прошедши это место, случайно взглянул он назад — и видит, что дама брала детей поочередно на руки, поднимала их над заборчиком и глазами своими указывала на Крылова каждому из них. Из другого происшествия, которое сначала польстило его самолюбию, а после укололо его, он всегда выводил нравоучение, как смешно полагаться на свою известность. Крылов зашел как-то в лавку Королева, что прежде была под Английским магазином. Ему хотелось полакомиться устрицами, до которых он был большой охотник. Там увидел он много подобных себе гастрономов, и в том числе дей-

ствительного тайного советника Р***. Расплачиваясь за устрицы и не сомневаясь, чтобы его там не знали, этот господин спросил у лавочника, может ли он поверить ему на слово, так как теперь у него недостает несколько денег, чтобы все заплатить по их счету. Купец извинялся, что не имеет чести знать его, и, обращаясь к Крылову, прибавил: «Вот если угодно поручиться за вас Ивану Андреевичу, то я с удовольствием поверю». — «А как же меня знаешь ты?» — спросил Крылов. «Помилуйте, Иван Андреевич (отвечал добродушно лавочник), да вас, я думаю, всякий мальчишка на каждой улице знает». Возвращаясь домой, Крылов зашел перед окнами своей квартиры в лавку Гостиного двора, чтобы купить нотной бумаги. «За деньгами, — сказал он, — пришлите ко мне на дом; я живу здесь в двух шагах от вас; ведь вы меня знаете: я Крылов». — «Как можно знать всех людей на свете (проговорил купец и взял с прилавка бумагу): много живет здесь народу».

Свою известность Крылов по скромности изъяснял и тем, что у всякого из нас в обществе гораздо более (как говорил он) таких людей, которые знают нас, нежели таких, которых мы знаем. В собраниях, на прогулках, в библиотеке, даже у себя на дому часто он принужден был улыбаясь раскланиваться или говорить по-приятельски с такими людьми, которых, конечно, когда-нибудь видал, но ни имени, ни места службы совсем он теперь не помнил. При свиданиях с иными сочинителями он благодарил их за присылку сочинений, между тем как приношения последовали совершенно от других лиц. Иногда, казалось, он и не верил в свое великое призвание, приписывая успехи свои стечению благоприятных для него обстоятельств. В послании своем к Оленину, написанном в 1826 г., он от полноты души говорит:

Хоть, может быть, иным я странен покажусь —
Но благодарным быть никак я не стыжусь,
И в простоте сердечной
Готов всегда и всем сказать, что на меня
Щедрот монарших луч склоня,
Ленивой музе и беспечной
Моей ты крылья подвязал —
И, может, без тебя б мой слабый дар завял
Безвестен, без плода, без цвета,
И я бы умер весь для света.

Крылов не бывал за границею. Если бы пришлось ему покороче ознакомиться с новою жизнью, как знать, удержал ли бы он неизменное настроение ума своего, который всегда стремился к приобретению только практической мудрости и который так легко отклонял крайности, верно усматривая везде златую средину? Поездка в чужие края раз и его едва не соблазнила. В 1828 году Крылов очень выгодно продал одно издание басен своих и вдруг почувствовал себя богачом. Он стал уговаривать Гнедича собраться с ним вместе в путешествие. Но друг отсоветовал ему на шестом десятке жизни подвергаться хлопотам дальней дороги и разлуке с милою родиной. В стихах Гнедича, по этому случаю написанных, много истины, меланхолии и грации. Крылов согласился остаться дома. Но им овладела другая прихоть. Он решился издержать лишние деньги на убранство своих комнат. И вот они украшены богатою мебелью и разными дорогими тканями. Из магазинов и с фабрик наставили ему везде серебра, бронзы, фарфору, хрусталя и алебастровых вещей. Английские ковры разостланы на полу. В буфете очутились модные сервизы и прочие принадлежности роскоши. Устроившись, Крылов назначил день и пригласил к себе на обед семейство Оленина с общими их друзьями. Удовольствовавшись первым и последним опытом суетности, Крылов почувствовал, что это не прибавило ему счастья, что привычкам его нужны только спокойствие и поэтическая лень. Он без внимания и заботливости оставил дорогие свои вещи. Голуби по-прежнему стали располагаться в обновленных его комнатах и всему сообщили вид знакомого им жилища. Спустя несколько лет после этого события кабинет Крылова рукою искусного художника сохранен для потомства. Великая княгиня Мария Николаевна приказала перенести его на картину, которая и находится у ее высочества.

XXVI

Беспечность и празднолюбие Крылова происходили более от равнодушия к тому, чем жизнь увлекает других, нежели от истощения душевных его сил. Светлый ум и твердая воля в нем сохранились до последних дней его. Когда-то приобрел он для украшения жилища своего несколько картин. Впоследствии он охладел ко всему. За чистотою и порядком смотреть было некому. От пыли,

густым слоем везде ложившейся, позолоту на нижней части рам выело у всех картин. Из них одна висела в средней комнате над диваном, где случалось сидеть и хозяину. Сперва картина держалась на двух гвоздиках. После один из них выпал — и она повисла боком. Долго ее все видели в этом положении. Что же отвечал Крылов, когда начали его предостерегать, чтобы не досталось голове его от картины? «Ежели действительно придется ей упасть, то рама, по косвенному положению своему, должна в падении описать кривую линию и, следовательно, она минует мою голову». В 1818 году разговорились однажды у Оленина, как трудно в известные лета начать изучение древних языков. Крылов не был согласен с общим мнением и вызвал Гнедича на заклад, что докажет ему противное. Дело принято было всеми за шутку, о которой и не вспоминал никто. Между тем Крылов, сравнительно с прежним, реже видался с Гнедичем, давая знать ему при встречах, что пустился снова играть в карты. Через два года, у Оленина же, он приглашает всех присутствующих быть свидетелями экзамена, который Гнедич должен произвесть ему в греческом языке. Раскрывают в «Илиаде» одно место, другое, третье — и так далее. Крылов все объясняет свободно. Каково было при этой новости всеобщее удивление, особенно Гнедича, который узнал, что приятель его без помощи учителя, сам собою, только в течение двух лет, достигнул того, над чем сам Гнедич провел половину жизни своей! Но Крылов не собрался извлечь из этого никакой выгоды ни себе, ни обществу: он удовольствовался только тем, что выиграл заклад у Гнедича и развеселил приятелей своих. Правда, он купил всех греческих классиков и прочел их от доски до доски. На чтение их он употреблял все свои вечера перед сном. Потому-то греческие книги у него уставлены были под кроватью, откуда легко было доставать ему всякую, как только в постели приходила ему охота к чтению. По окончании экзамена он охладел к греческим классикам и не дотрагивался до них несколько лет. Раз как-то он протянул было под кровать руку за Эзопом, — но там уже не осталось никого из греков. Служанка Крылова, заметив, что эти пыльные книги никогда не читаются, и подумав, что, как бесполезные, нарочно и брошены они под кровать, вздумала употреблять их каждый раз на подтопку, когда приходила топить печь в спальне. Она-то их и перевела. Замечательно, что Крылов, сам собою свободно выучившийся по-гречески, чувствовал во всю жизнь отвращение от

латинского языка — и всегда говорил, что ни из чего бы не решился когда-нибудь учиться по-латыни.

Тяжело подымаясь с места на какое-нибудь дело и по большей части проводя время в неподвижности, Крылов бывал всегда проворен и даже с постели вскакивал одеваться, когда ему сказывали, что где-нибудь виден пожар. Это было для него занимательнейшее зрелище. Он не пропустил ни одного из больших пожаров в городе и о каждом сохранил самое живое воспоминание. В рассказах об этих случаях он был жив и даже красноречив, особенно когда вспоминал о пожаре, бывшем здесь близ взморья на Неве, где горели камели. Без сомнения, от этой странной черты любопытства его произошло и то, что в его баснях все описания пожаров так поразительно точны и оригинально хороши.

XXVII

Менее всего благоразумен был Крылов в употреблении пищи. За несколько лет до последней болезни своей испытавши припадок паралича, правда, он в остальные годы строго наблюдал, чтобы не есть много разных кушаньев, но и при двух-трех блюдах умеренность не была его добродетелью. Известно, что императрица Мария Федоровна всегда покровительствовала Крылову и оказывала ему все знаки благоволения. Он лето проводил чаще в городе, нежели на даче, выезжая только разве гостить недели на две в Приютино к Олениным. Государыня нередко изволила приглашать его в Павловск. Крылов, являясь к ее величеству, никогда не забывал любимого императрицею старинного обыкновения, чтобы мужчины пудрились. Часто, принимая поэта, государыня встречала его следующей шуткой: «Вы, может быть, приехали и не совсем для меня; но это (показывая на его пудреную голову) я уж беру прямо на свой счет». В Павловске он написал свою басню «Василек», оставив ее, как свидетельство глубочайшего чувства признательности к венценосной благотворительнице, в одном из альбомов, которые в Розовом павильоне разложены были для удовольствия посетителей. Однажды, за обеденным столом у императрицы, другой поэт, Нелединский, шепнул Крылову: «Ты ешь за десятерых: откажись хоть от одного блюда. Разве ты не замечаешь, что государыня поминутно на тебя взглядывает, желая попотчевать?» — «Ну, а если не попотчует?» — отвечал он, продолжая угощать себя.

Особенно весело было Крылову, когда на званом обеде или ужине приготовляли для него русские кушанья. Это обыкновенно и делали все из его друзей и близких знакомых. За несколько лет до того, как Крылов покинул службу в библиотеке, на вечера по пятницам литераторы собирались у А. А. Перовского. Хозяин каждый раз приказывал подавать гостям ужин. Садились немногие: в числе их всегда бывал Крылов. Раз, во время толков о привычке к ужину, одни говорили, что никогда не ужинают, другие, что давно перестали, третьи, что намерены перестать; Крылов же, накладывая на свою тарелку кушанье, примолвил тут: «А я, как мне кажется, потеряю привычку ужинать в тот день, в который перестану обедать». Последние из многолюдных литературных обедов бывали у В. И. Карлгофа. В его доме Крылов видел особенное, непритворное к себе радушие хозяина и хозяйки. Хотя изредка являлся наконец он на обеды к графине Е. П. Растопчиной, а на ужины к князю В. Ф. Одоевскому. Впрочем, не было человека менее спесивого на зов, как наш поэт. Пережив столько поколений литераторов и оставшись в искренней дружбе только с малым числом первоклассных писателей, он почитал себя в отношении к другим какою-то общею, законною добычей.

XXVIII

2-го февраля 1838 года со дня рождения Крылова должно было исполниться ровно семьдесят лет. Хотя еще слишком за год перед тем совершилось пятидесятилетие со времени появления его «Филомелы» в печати, но вспомнили о том только по случаю приближавшегося дня его рождения. Все литераторы оживились, обрадовавшись случаю отпраздновать юбилей знаменитого русского баснописца. По докладе о том государю императору министр народного просвещения дал знать, что его величество соизволяет на общее желание. Из лиц, к поэту ближайших по дружбе, составлен был комитет для учреждения праздника. Под председательством Оленина там были: Жуковский, князь Вяземский, Плетнев, Карлгоф и князь Одоевский. Предположили в день рождения Крылова дать обед в зале Дворянского собрания, чтó было в доме г-жи Энгельгардт. Гостей соединилось около 300 человек. В Санкт-Петербурге не было ни одного таланта, в каком бы он роде искусства ни получил известность, который бы не

поспешил присоединиться к торжеству, родственному для всей России. Перед обедом Плетнев и Карлгоф поехали за Крыловым. До него не могли не дойти слухи о приготовляемом празднике, но он ничего не знал определительно. Впрочем, депутация нашла его уже одетым. «Иван Андреевич, — сказал ему Плетнев, — сегодня исполнилось пятьдесят лет, как вы явились посреди русских писателей; они собрались провести вместе этот день, достопамятный для них и для всей России, и просят вас не отказаться быть с ними, чтобы этот день сделался для них навсегда незабвенным праздником». — «Знаете что, — отвечал он, — я не умею сказать, как благодарен за все моим друзьям, и, конечно, мне еще веселее их быть сегодня вместе с ними; боюсь только, не придумали бы вы чего лишнего: ведь я то же, что иной моряк, с которым оттого только и беды не случалось, что он не хаживал далеко в море». — По прибытии их в собрание Оленин приветствовал Крылова: «Иван Андреевич! Русские литераторы северной нашей столицы, художники и любители отечественной словесности собрались в день вашего рождения, чтоб единодушно праздновать пятидесятилетние ваши успехи на поприще русской словесности. Примите по сему случаю искреннее наше поздравление и нелицемерное желание, чтобы многие еще годы вы украшали знаменитыми, полезными и приятными вашими трудами русскую нашу словесность». Министр народного просвещения прочитал следующий высочайший рескрипт на имя Крылова: «Отличные успехи, коими сопровождались ваши долговременные труды на поприще отечественной словесности, и благородное, истинно русское чувство, которое всегда выражалось в произведениях ваших, сделавшихся народными в России, обращали на себя наше постоянное внимание, в ознаменование коего жалуем вас кавалером Императорского и Царского ордена Нашего Св. Станислава второй степени, знаки коего, при сем сопровождаемые, повелеваем вам возложить на себя и носить по установлению. Пребываем к вам Императорскою и Царскою милостью Нашею благосклонны. Николай». Украсив звездою грудь поэта, министр пригласил его в особенную залу, куда их императорские высочества великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич изволили прибыть для поздравления Крылова. Всем этим он уже до слез был растроган.

Начался обед. Помещение гостей так было устроено, что они отовсюду могли видеть общего любимца. Против

него, на другой стороне залы, поставлен был стол, прекрасно освещенный и убранный цветами, где стоял в лавровом венке бюст его и лежали разные издания всех сочинений Крылова, какие только могли собрать тогда. На хорах поместились дамы, желавшие присутствовать при торжестве. Крылов сидел между Олениным и министром народного просвещения. По обе стороны от них заняли места прочие министры, почтившие своим присутствием юбилей народного писателя. Между ними находился и граф Канкрин, особенно любивший поэта и дружески принимавший его у себя. Перед Крыловым сидели все пять членов комитета, распоряжавшего празднеством. За обедом провозглашено было четыре тоста: Олениным за здравие государя императора и всей его августейшей фамилии. Музыка заиграла в это время известные Жуковского стихи «Боже, Царя храни!». Министр народного просвещения предложил тост за здоровье Ивана Андреевича Крылова и сказал ему: «За здоровье Ивана Андреевича Крылова — да будет его литературное поприще, всегда народное по своему духу, всегда чистое в нравственном своем направлении, примером для возрастающих талантов, поощрением для современных, радостным воспоминанием потомству! Я считаю одним из приятнейших дней моей жизни день, в который удостоился я быть посреди вас, мм. гг., орудием всемилостивейшего внимания государя императора к нашему незабвенному Крылову и на этом празднике русской словесности представителем его державного благоволения к ее трудам и успехам!» Вслед за его словами Петров запел стихи князя Вяземского, на этот случай написанные:

На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе — все мы сватья!
И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятья
Мы влюблены в его жену.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

И этот брак был не бесплодный:
Сам Феб его благословил!
Потомству наш поэт народный
Свое потомство укрепил.
Изба его детьми богата
Под сенью брачного венца:
И дети — славные ребята!
И дети все умны в отца.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Мудрец игривый и глубокий,
Простосердечное дитя,
И дочкам он давал уроки,
И батюшек учил шутя.
Искусством ловкого обмана
Где и кольнет из-под пера:
Там Петр кивает на Ивана,
Иван кивает на Петра.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут:
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,

И слава эта — наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы золотой
Он дожил до алмазной свадьбы
С своей столетнею женой.
Он так беспечно, так досужно
Прошел со славой долгий путь,
Что до ста лет не будет нужно
Ему прилечь и отдохнуть.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Жуковским предложен был тост за славу и благоденствие России и за успехи русской словесности, причем он произнес: «Любовь к словесности, входящей в состав благоденствия и славы отечества, соединила нас здесь в эту минуту. Иван Андреевич, мы выражаем эту нам общую любовь, единодушно празднуя день вашего рождения. Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный; когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы, от нас немногих, услышите голос всех своих современников. Мы благодарим вас, во-первых, за самих себя, за столь многие счастливые минуты, проведенные в беседе с вашим гением; благодарим за наших юношей прошлого, настоящего и будущих поколений, которые с вашим именем начали и будут начинать любить отечественный язык, понимать изящное и знакомиться с чистою мудростью жизни; благодарим за русский народ, которому в стихотворениях своих вы так верно высказали его ум и с такою прелестью дали столько глубо-

ких наставлений; наконец, благодарим вас и за знаменитость вашего имени: оно сокровище отечества и внесено им в летописи его славы. Но, выражая пред вами те чувства, которые все, находящиеся здесь, со мною разделяют, не могу не подумать с глубокою скорбью, что на празднике нашем недостает двух, которых присутствие было бы его украшением и которых потеря еще так свежа в нашем сердце. Один знаменитый предшественник ваш на избранной вами дороге недавно кончил прекрасную свою жизнь, достигнув старости глубокой, оставив по себе славное, любезное отечеству имя; другой, едва расцветший и в немногие годы наживший славу народную, вдруг исчез, похищенный у надежд, возбужденных в отечестве его гением. Воспоминание о Дмитриеве и Пушкине само собою сливается с отечественным праздником Крылова. Заключу желанием, которое да исполнит Провидение, чтобы вы, патриарх наших писателей, продолжали многие годы наслаждаться цветущею старостию и радовать нас произведениями творческого ума своего, для которого еще не было и никогда не будет старости. Оглядываясь спокойным оком на прошедшее, продолжайте извлекать из него те поэтические уроки мудрости, которыми так давно и так пленительно поучаете вы современников, уроки, которые дойдут до потомства и никогда не потеряют в нем своей силы и свежести, ибо они обратились в народные пословицы; а народные пословицы живут с народами и их переживают».

Наконец кн. Одоевский предложил тост за здоровье присутствовавших, присоединив следующие слова: «Я принадлежу к тому поколению, которое училось читать по вашим басням и до сих пор перечитывает их с новым, всегда свежим наслаждением. Мы еще были в колыбели, когда ваши творения уже сделались дорогою собственностью России и предметом удивления для иноземцев: от ранних лет мы привыкли не отделять вашего имени от имени нашей словесности. Существуют произведения знаменитые, но доступные лишь тому или другому возрасту, бо́льшей или меньшей степени образованности; не много таких, которые близки человеку во всех летах, во всех состояниях его жизни. Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, воспоминает старец; их произносит простолюдин как уроки положительной мудрости, их изучает литератор как образцы остроумной поэзии, изящества и истины. Примите же дань благодарности от лица младших дела-

телей на том поприще, которое вы проходите с такою честью для вас и для русского слова; пусть долго, долго ваш пример будет нам путеводителем; пусть новыми вашими творениями вы обогатите если не славу вашу, то по крайней мере сокровище тех высоких ощущений, которые порождаются в людях только произведениями высокого искусства. Голос нашей признательности исчезает в общем голосе наших соотчичей; но это чувство в нас тем живее, что для нас прелесть старины и младенческих воспоминаний возвышается наслаждением видеть в лицо знаменитого современника, быть очевидными свидетелями его нравственной доблести; для нас память ума соединяется с памятью сердца».

Бенедиктов сочинил для этого праздника помещаемые здесь стихи, которые были прочитаны Блудовым.

День счастливый, день прекрасный —
Он настал, и полный клир,
Душ отверзтых клир согласный
Возвестил нам праздник ясный,
Просвещенья светлый пир.

Небесам благодаренье
И владыке русских сил,
Кто в родном соединенье
Старца чудного рожденье
Пировать благословил.

Духом — юноши моложе,
Он пред нами — славы сын!
Витых локонов пригожей,
Золотых кудрей дороже
Серебро его седин.

Не сожмут сердец морозы;
В нас горят к нему сердца:
Он пред нами — сыпьтесь, розы;
Лейтесь, радостные слезы,
На листы его венца!

Общего одушевления и радости столь непритворной, столь живой, кажется, не бывало еще в таком многолюдном собрании. Между тем выражение, которое постоянно оставалось на лице Крылова, не могло не произвести сильного впечатления на мыслящего человека. О нем в «Современнике» тогда было напечатано: «Крылов, окру-

женный многочисленными почитателями своими, в эти минуты занимал каждого как первый из тех талантов, которые созидают неисчезающее величие наций. Но что выражало его полувеселое и полузадумчивое лицо? О, к его душе, верно, теснилось все прошедшее — одно, что не изменяется никогда в своей прелести. Он, верно, проходил мыслью по этому чудному пути, который указало ему тайное Провидение, чтобы темное, заботам и трудам обреченное дитя увенчано было в старости по единодушному отзыву всего отечества». Когда Крылов, встав из-за стола, проходил близ хор, на него посыпались цветы и лавровые венки. Он с чувством благодарил дам за их трогательное внимание к нему — и, взяв один из венков, роздал из него по листку друзьям своим. В заключение праздника, по приглашению председателя его, все присутствовавшие согласились участвовать, чтобы в память этого события выбита была медаль с изображением Крылова. В следующем месяце напечатано было в «Коммерческой Газете» объявление: «Его Императорскому Величеству благоугодно было, в воспоминание совершившегося пятидесятилетия литературного поприща И. А. Крылова, изъявить высочайшее соизволение не только на выбитие на счет казны медали с его портретом, но и на открытие подписки для учреждения стипендии под названием *Крыловской,* чтобы проценты с собранной суммы были употребляемы на взнос в одно из учебных заведений для воспитания в нем, смотря по сумме, одного или нескольких молодых людей. Сообразно с сею высочайшею волею министр финансов приглашает желающих почтить знаменитого нашего баснописца, приняв участие в деле, которое с подвигом благотворительности связует одно из любезнейших для всякого русского имен». После учреждения стипендии Крылов пожелал, чтобы ею воспользовался мальчик Степан Кобеляцкий, сирота без отца и без матери, сын подпоручика Алексея Степановича Кобеляцкого, бывшего помещика Черниговской губернии Нежинского уезда. Его поместили в 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию. В 1845 году молодой человек уже поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету и теперь слушает лекции во 2-м курсе.

В 1839 году И. А. Крылов избрал в свои стипендиаты еще молодого человека, который определен был во 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Это сын главной надзирательницы при Сиротском институте санктпетербургского Воспитательного дома Анны Федоровны Оом, вдовы учителя Морского кадетского корпуса, которая до замужества

своего жила в доме А. Н. Оленина. Крылов, знавший ее почти с ее детства, до смерти своей сохранил к ней то уважение и дружбу, которые внушаются прекрасными качествами сердца, высокообразованным умом и наилучшим воспитанием. Молодой человек, сын ее, Федор Оом, в июле 1846 года, из гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет, где ныне слушает лекции в 1-м курсе юридического факультета по камеральному отделению.

XXIX

В 1841 году Крылов навсегда оставил службу. Высочайше предписано было производить ему пенсию из Государственного казначейства по 5,700 р. асс., что с пенсиею, которую получал он из Кабинета его императорского величества, составляло 11,700 р. асс. Он переехал жить на Васильевский остров в дом купца Блинова, что в Первой линии. Отсюда еще менее стал выезжать он в свет. Даже в Английском клубе видали его редко. Из его коротких знакомых жили с ним по соседству только двое: в первом кадетском корпусе Я. И. Ростовцов и в университете Плетнев. Они еще навещали его. Он как будто отяжелел. Впрочем, тучность издавна одолевала его. Он сам очень мило подшучивал над нею. В блистательном маскараде, бывшем у великой княгини Елены Павловны, где все характерные костюмы подобраны были с таким вкусом и разнообразием, Крылов, нарядившись музой Талиею, произнес их императорским величествам стихи, и между прочим сказал:

Люблю, где случай есть, пороки пощипать —
Все лучше-таки их немножко унимать.
Однако ж здесь, я сколько ни глядела,
Придраться не к чему; а это жаль — без дела
Я, право, уж боюсь, чтобы не потолстела.

Последнюю из басен своих («Вельможа») написал он еще в 1835 году. Он ее читал их императорским величествам также в маскараде, бывшем в Аничковском дворце, где Крылов одет был кравчим, в русском кафтане, шитом золотом, в красных сапогах, с подвязанной седой бородою. От стихотворений в других родах отказался он давно. Были, однако же, случаи, при которых он брался за перо. Так, еще в 1824 году написал он анакреонтическую оду свою «Три Поцелуя», в воспоминание самой приятной для него шутки трех молоденьких почитательниц его таланта. После обеда у Оленина он сел в кресла и заснул. Не зная, как

учтивее разбудить его, эти Грации сговорились поцеловать его поочередно одна за другою. В последний раз сидел он над рифмою через пять месяцев после своего юбилея. Это было одно из самых грустных для него событий: 3 июня 1838 года скончалась Е. М. Оленина. Он почтил ее прах эпитафиею, которая и вырезана на ее надгробном камне. Замечательно, что Крылов отделкою языка в лучших баснях своих нисколько не напоминает блестящей школы Жуковского. Есть что-то, так сказать, увесистое в стихах его, как в нем самом. Однако же тут нет и того, что называется недоконченностью обработки. Напротив, ни на одном слове не задумываешься и не пожелаешь перемены его или перестановки. Эти стихи не достались Крылову так легко, как думают. Он иногда десять раз совершенно по-новому переделывал одну и ту же басню. Особенно пришлось ему помучиться над баснею «Дуб и Трость». Конечно, главною тут причиной был превосходный образец Дмитриева. Совершенно выправленные басни Крылов любил начисто переписывать сам, на особом листке каждую. Только старинный почерк его был так неразборчив, что иные из своих рукописей под конец никак не мог он разобрать и сам.

В отшельнической жизни своей Крылов нашел забаву, обучая детей грамоте и прослушивая их уроки музыки. Он усыновил семейство крестницы своей (см. выше стр. 125), которое и поместил на квартире с собою. Ему весело было, когда около него играли дети, с которыми дома обедал он и чай пил. Девочка, по имени Наденька, особенно утешала его. Ее понятливость и способности к музыке часто выхвалял он как что-то необыкновенное. В сношениях своих с обществом, когда явно требовало того приличие, он попрежнему оставался человеком совестливо внимательным. 8 февраля 1844 года Санк-Петербургский университет праздновал торжественным актом первое свое двадцатилетие. Крылов с 1829 года был почетным членом университета. От ректора* он получил приглашение на приготовлявшийся ученый праздник, который должен был происходить во вторник. Накануне этого дня в комнату ректора Крылов является в мундире. «Что это значит, Иван Андреевич?» — «Ах, как я устал, — отвечает он. — Дайте отдохнуть. Высоко всходить к вам». — Усевшись и отдохнув, он рассказал ректору, что по рассеянности своей непростительно ошибся, читая приглашение, и приехал на акт вместо вторника в понедельник. Тогда же и другая беда случилась

* П. А. Плетнев.

с ним. Выходя из экипажа у подъезда, он поскользнулся на тротуаре и упал. «По крайней мере, будьте свидетелем,— прибавил он,—что я ценю дорого внимание ко мне университета. Завтра уж я могу и не приехать». Ректор не мог не упрашивать его о том же, так как холод доходил тогда до 20 градусов. В этом же месяце он снова явился в университетской зале, привлеченный всегдашнею любовью к музыке и славою Виардо-Гарции. Она приехала петь в одном из университетских концертов, ежегодно устраиваемых студентами в пользу тех из своих товарищей, которым нужно денежное вспомоществование для окончания учения. Крылов из концерта зашел на вечер к ректору, чтобы потолковать о знаменитой певице и вообще о музыке. Он нашел там знатока и страстного любителя музыки князя Г. П. Волконского, бывшего тогда попечителем здешнего учебного округа. Кажется, это было последнее свидание Крылова с островским его соседом, которому он двадцать пять лет оказывал неизменное дружелюбие.

XXX

Во всю жизнь Крылов пользовался завидным здоровьем, благодаря той простоте, в которой он вырос и которая навсегда так много доставляет выгод и преимуществ бедным людям над богатыми. Неумеренность в пище и сидячая жизнь не могли ослабить физической его крепости, захваченной им в детстве. Правда, еще задолго до последней болезни своей он два раза, в разные эпохи, чувствовал легкие припадки паралича. Но и они, миновав без гибельных последствий, не заставили его озаботиться что-нибудь переменить в образе жизни. С удивительным спокойствием, даже с какою-то непонятною шутливостью, перед самой смертью своей, говорил он о бывшем у него параличе, когда Я. И. Ростовцов, желая пригласить к нему отца его духовного, спросил, как бы невзначай, не мнителен ли Иван Андреевич. «А вот я что-то расскажу вам, и вы узнаете,— отвечал он,— мнителен ли я. Давно как-то, уж не помню, сколько лет тому назад, я почувствовал онемение в пальцах одной руки. Показываю ее доктору и спрашиваю, что бы это значило? Вот как вы же, он наперед и выведывает у меня, не мнителен ли я. Нет, говорю. Так с вами, сказал он, может сделаться паралич. Да нельзя ли как отвратить эту беду? Можно: вам надобно во всю жизнь не есть мясного и быть вообще очень осторожным». — «Вы, без сомнения,— спросил Я. И. Ростовцов,— строго исполняли это?» —

«Да, исполнял месяца два». — «А потом?» — «А потом нисколько и не думал об этом, как сами, конечно, заметили. Вот как я не мнителен», — заключил Крылов. Равнодушие и беспечность еще заметнее сделались в нем в последнее время жизни. Случилось, что открылся пожар в доме, смежном с его квартирою. Торопливо уведомив о том Крылова, люди его бросились спасать разные вещи от видимой опасности и неотступно просили, чтобы он поспешил собрать те из своих бумаг и дорогих вещей, которых потеря необходимо расстроит остаток жизни его. Но он, против обыкновения, не спешил и на пожар взглянуть. Не обращая внимания на крик и слезы, он не одевался, приказал готовить себе чай — и, выпив его не торопясь, закурил еще сигару. Кончив это все, начал он одеваться как бы нехотя. Потом, вышедши на улицу, поглядел на горевшее здание и, как знаток дела, сказал только: «Не для чего перебираться». Он возвратился в свою комнату и скоро улегся спать. Незадолго до его последней болезни из Парижа присланы были к нему для поправки листы, на которых печаталось его жизнеописание для биографического словаря достопамятных людей. «Пускай пишут обо мне, что хотят», — сказал он, откладывая бумаги, — и, только уступив усильным просьбам бывших при этом свидетелей, внес туда несколько заметок.

XXXI

Предсмертная болезнь Крылова произошла от несварения пищи в желудке. Раз, вечером, по всегдашнему обыкновению своему, для ужина приказал он приготовить себе протертых рябчиков в виде каши и облить ее маслом. Это тяжелое кушанье в прежнее время не оказалось бы для него вредным; но на 77 году жизни его вышло противное. Помощь врачей не спасла поэта. Он и в эти минуты сохранял, сколько мог, спокойствие и даже некоторую веселость. Разговаривая о чем бы то ни было, он всегда пояснял свои мысли апологами, для которых в памяти своей или даже в предметах, им тут же видимых, мгновенно находил материалы. Так и про случившееся теперь с ним последнее несчастье он рассказал Я. И. Ростовцову следующую басню: «Мужик собрался отвезти на продажу воз сушеной рыбы. Лошаденка у него была измученная и слабая. Несмотря на то, он навалил поклажи столько, сколько можно было увязать. Глядевшие на все это соседи смеялись над ним и предсказывали, что быть беде с его лошадью. А мужик им в ответ все одно: да ведь рыба-то сушеная.

Но доро́гою убедился он, что непомерная тяжесть должна свалить лошаденку, хоть и сушеною рыбой надсадишь ее. Вот и со мною вышло то же. Не обременят желудка рябчики, подумал я: ведь они протертые. А лишек-то все не хорош, как его ни возьми».

Когда опасность усилилась, Крылов пожелал исполнить христианский долг. С тихим умилением встретил он глазами отца своего духовного и с сердечною благодарностью принял утешение святой веры. Перед самою кончиною он попросил перенести себя в кресла, но, почувствовав тоску, сказал: «Тяжело мне» — снова пожелал лечь на постель. Там скоро произнес он слабым, прерывающимся голосом: «Господи! прости мне прегрешения мои». Последовавший за тем глубокий вздох был последним в его жизни. Он скончался утром в четверг в три четверти 8 часа 9 ноября 1844 года (который был високосный), 76 лет 9 месяцев и 7 дней от роду.

У Крылова не осталось родственников, кроме усыновленного им семейства крестницы его Савельевой. Душеприказчиком, по духовному его завещанию, назначен Я. И. Ростовцов. Министр народного просвещения предложил Академии Наук и университету принять участие в печальном сопровождении покойного в церковь Исаакиевского собора и при погребении его на кладбище Александро-Невской лавры. Крылов в академии был действительным членом по Отделению Русского языка и словесности, а в университете, как выше означено, почетным. Государь император, в изъявление высочайшего внимания своего к литературным заслугам Крылова, повелеть соизволил исчисленную на погребение сумму 9 т. р. асс. отпустить из Государственного казначейства. Церковь Св. Исаакия Далматского едва могла вмещать собравшихся туда на последнее прощание с народным баснописцем. Викарий Санкт-Петербургский, преосвященный Иустин совершал литию, а надгробное слово произнес протоиерей Исаакиевского собора А. И. Малов. Первые сановники государства несли гроб из церкви. На траурных принадлежностях, вместо герба, находилось изображение медали, выбитой в память пятидесятилетнего юбилея Крылова. Студенты Санкт-Петербургского университета поддерживали балдахин и несли ордена покойного. Народ, столпившийся при погребальном шествии, занял весь Невский проспект. В Александро-Невской лавре, после божественной литургии, обряд отпевания совершал высокопреосвященнейший Антоний, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Фин-

ляндский, с Афанасием, епископом Винницким и викарием Иустином. Голову Крылову украшал лавровый венок, которым он был увенчан в день юбилея. Перед закрытием гроба министр народного просвещения положил туда медаль, поднесенную поэту в воспоминание 2 февраля 1838 года. Крылов погребен на так называемом новом кладбище, подле Гнедича, откуда видна и Карамзина гробница с умилительною надписью: «Блажени чистии сердцем».

На другой день по кончине Крылова более тысячи особ в Санкт-Петербурге получили по экземпляру басен его, которые, начав печатать в 1843 году и кончив издание под собственным надзором, он не успел еще пустить в свет. Все эти книги разосланы были в траурной обертке с следующими словами, припечатанными на первом заглавном листе: «Приношение. На память об Иване Андреевиче. По его желанию. Санкт-Петербург, 1844. 9-го ноября. 3/4 8-го утром». Драгоценный этот подарок действительно предназначаем был самим Крыловым в изъявление благодарности лицам, участвовавшим в составлении юбилейного для него торжества. Он не успел удовлетворить желания сердца своего. Ревнуя к чести его и доброй о нем памяти, верный каждой его мысли, душеприказчик прекрасно исполнил его намерение.

XXXII

Утрата, которую живо почувствовали все, мгновенно обратила мысли к одному предмету — увековечить для России память Крылова видимым образом. Единодушное желание предупредило всякий холодный суд в этом деле. И можно ли усомниться в правах Крылова на памятник? Он, без власти, не достигнувший знатности, не обладавший богатством, живший почти затворником, без усиленной деятельности, наполнил собою помышления миллионов людей, вселился в их душу и навек остался присутственным в их уме и памяти. О нем-то должно повторить, что́ древние сказали про Гомера: «Он каждому, и юноше, и мужу, и старцу, столько дает, сколько кто взять может». Есть люди, которые видят в Крылове только поэта для детей. Правда, ни из чьих сочинений дети не извлекут столько пользы, как из его басен. Но мыслящий человек почерпнет и еще более. Есть мудрость, доступная всем возрастам. Но во всей глубине своей она может быть постигнута только умом зрелым. То, что составляет самое существенное достоинство сочинений Крылова, не может потерять цены своей от изменений вкуса, языка и требований времени. На него ни-

когда не пройдет мода, потому что успех его от нее никогда и не зависел. Никто не откинет Крылова, кто читает для того, чтобы окрепнуть умом и обогатиться опытностью.

Его императорскому величеству благоугодно было соизволить на исполнение общего желания. Комитет, составленный для приведения в действие высочайшей воли, немедленно напечатал свое объявление о памятнике Крылову, в проекте написанное членом Комитета князем П. А. Вяземским. Оно помещается здесь, потому что в жизнеописание Крылова вносит прекрасную характеристику.

«По всеподданнейшему докладу господина министра народного просвещения, Государь Император благоволил изъявить всемилостивейшее согласие на сооружение памятника Ивану Андреевичу Крылову и на повсеместное по империи открытие подписки для собрания суммы, потребной на исполнение сего предприятия.

Вслед за тем, с высочайшего разрешения, учрежден Комитет для открытия подписки и всех распоряжений по этому делу.

Памятники, сооружаемые в честь знаменитым соотечественникам, суть высшие выражения благодарности народной; в них освящается и увековечивается память прошедшего; в них преподается назидательный и поощрительный урок грядущим поколениям.

Правительство, в семейном сочувствии с народом, объемля просвещенным вниманием и гордою любовью все заслуги, все отличия, все подвиги знаменитых мужей, прославившихся в отечестве, усыновляет их и за пределом жизни, и возносит незыблемую память их над тленными могилами сменяющихся поколений.

Исторические эпохи в жизни народа имеют свои памятники. Дмитрий Донской, Ермак, Пожарский, Минин, Сусанин, Петр Великий, Александр Благословенный, Суворов, Румянцев, Кутузов, Барклай, в немом красноречии своем, повествуют о своей и нашей славе: в неподвижном величии стоят они на страже независимости и непобедимости народной. Но и другие деяния и другие, мирные подвиги не остались также без внимания и без народного сочувствия. Памятники Ломоносова, Державина, Карамзина красноречиво о том свидетельствуют. Сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знамениями умственной жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого отечества. Подобно Мемноновой статуе, сии памятники издают, в обширных и холодных степях наших, красно-

речивые и жизнедательные голоса под солнцем любви к отечеству и неразделенной с нею любви к просвещению.

Подобно трем поименованным писателям, и Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях русского языка.

Русский ум олицетворился в Крылове и выражается в творениях его. Басни его — живой и верный отголосок русского ума с его сметливостью, наблюдательностью, простосердечным лукавством, с его игривостью и глубокомыслием, не отвлеченным, не умозрительным, а практическим и житейским. Стихи его отразились живым впечатлением в уме читателей его. И кто же в России не принадлежит к числу его читателей? Все возрасты, все звания, несколько поколений с ним ознакомились, тесно сблизились с ним, начиная от восприимчивого и легкомысленного детства до охладевшей и рассудительной старости, от избранного круга образованных ценителей дарования до низших степеней общества, до людей мало доступных обольщениям искусства, но одаренных природною понятливостью, и для коих голос истины и здравого смысла, облеченный в слово животрепещущее, всегда вразумителен и привлекателен.

Крылов, нет сомнения, известен у нас многим и из тех, для коих грамота есть таинство еще недоступное. И те знают его понаслышке, затвердили некоторые стихи его с голоса, по изустному преданию, и присвоили их себе как пословицы, сии выражения общей народной мудрости. Грамотная, печатная память его не умрет; она живет в десятках тысяч экземпляров басен его, которые перешли из рук в руки, из рода в род; она будет жить в несчетных изданиях, которые в течение времени передадут славу его дальнейшему потомству, пока останется хоть одно русское сердце — и отзовется оно на родной звук русского языка. Крылов свое дело сделал. Он подарил Россию славою незабвенною. Ныне пришла очередь наша. Недавно праздновали мы пятидесятилетний юбилей его литературной жизни. Ныне, когда его уже не стало, равномерно отблагодарим его достойным образом: сотворим по нем народную тризну, увековечим благодарность нашу, как он увековечил дар, принесенный им на алтарь отечества и просвещения. Кто из русских не порадуется, что русский Царь, который благоволил к Крылову при жизни его, благоволит и к памяти его? Кто не порадуется, что Он, милостивым, живительным словом, разрешает народную признательность принести знаменитому современнику возмездие за жизнь, которая так звучно, так глубоко отозвалась в общественной жизни не-

скольких поколений? Нет сомнения, что общий голос откликнется радушным ответом на вызов соорудить памятник Крылову — и поблагодарить правительство, которое угадало и предупредило общее желание.

Заботясь о том, чтобы вполне осуществить сие желание и сделать исполнение его доступным всем и каждому, Комитет постановил себе первым правилом принимать всякое приношение, начиная от щедрой дани богатого ревнителя отечественной славы до скромного и малозначительного пожертвования смиренного добродателя. Кто захочет определить границу благодарности? И тем более, кто возьмется установить крайнюю цену ее, ниже чего ей и показаться нельзя? Благодарности и добровольному выражению ее предоставляется полная свобода. Крылов принадлежит всем возрастам и всем званиям. Он более, нежели литератор и поэт. В этом выражении есть все что-то отвлеченное и понятное только для немногих; но круг действия его был обширнее и всенароднее. Слишком смело было бы сравнивать письменные заслуги, хотя и блистательные, с историческими подвигами гражданской доблести. Но, вспомня Минина, который был выборный человек от всей Русской земли, нельзя ли, без всякого применения к лицам и событиям, сказать о Крылове, что он выборный грамотный человек всей России? Голос его раздался и будет раздаваться в столицах и селах, на ученических скамьях детей, под сенью семейного крова, в роскошных палатах и в храминах науки и просвещения, в лавке торговца и в трудолюбимом приюте грамотного ремесленника. Пусть и голос благодарности отзовется отовсюду.

Памятник Крылову воздвигнут будет в Петербурге. И где же быть ему, как не здесь? Не здесь родился поэт, но здесь родилась и созрела слава его. Он был собственностью столицы, которая делилась им с Россиею. Не был ли он и при жизни своей живым памятником Петербурга? С ним живали и водили хлеб-соль деды нашего поколения, и он же забавлял и поучал детей наших. Кто из петербургских жителей не знал его по крайней мере с виду? Кто не имел случая любоваться этим открытым, широким лицом, на коем отпечатлевалась сила мысли и отсвечивалась искра возвышенного дарования? Кто не любовался этою могучею, обросшею седыми волосами львиною головою, недаром приданною баснописцу, который также повелитель зверей, этим монументальным, богатырским дородством, напоминающим нам запамятованные времена воспетого им Ильи-Богатыря? Кто, и незнакомый с ним, встретя его, не гово-

рил: вот дедушка Крылов! и мысленно не поклонялся поэту, который был близок каждому русскому.

Художнику, призванному увековечить изображение его, не нужно будет идеализировать свое создание. Ему только следует быть верным истине и природе. Пусть представит он нам подлинник в живом и, так сказать, буквальном переводе. Пусть явится перед нами в строгом и верном значении слова вылитый Крылов. Тут будет и действительность и поэзия. Тут сольются и в стройном целом обозначатся общее и высокое понятие об искусстве и олицетворенный снимок с частного самобытного образа, в котором резко и живописно выразились черты русской природы в проявлении ее вещественной и духовной жизни.

Все суммы, которые будут собраны по подписке, до приступа к исполнению предположения должны храниться в казначействе министерства народного просвещения. Пожертвования можно обращать прямо в министерство; принимаются также гг. губернскими предводителями дворянства и градскими главами, от которых все сборы по губерниям будут сосредоточиваться у гг. гражданских губернаторов. По ведомству министерства народного просвещения поручение это возложено, под распоряжением гг. попечителей учебных округов, на директоров училищ в губерниях». Подписали:

Президент Академии Наук С. Уваров.

Почетный член Академии Наук граф Д. Блудов.

Вице-президент Академии Наук князь М. Дондуков-Корсаков.

Действительный член Академии Наук князь П. Вяземский.

Ректор С.-Петербургского университета П. Плетнев.

Душеприказчик И. А. Крылова Я. Ростовцов.

ОПЫТ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОФЕССОРА НИКИТЕНКО

I

Всем известно, что знание правил литературы и ее истории никого не доводит до степени отличного писателя, ежели человеку не дано природою так называемого таланта. Тем не менее полезно доискиваться, на чем основываются совершенства сочинений вообще и какое значение представляют труды писателей в истории человечества. От-

крытие каждого нового основания в правилах литературы приближает нас к уразумению духовной стороны человека, а верный взгляд на замечательное сочинение тотчас становится пояснением одного или нескольких событий в истории народа. Эти умственные приобретения могут быть уделом всякого, и никто не примет их бесплодно для жизни общественной и частной.

Книги, заключающие в себе учение о литературе и об ее истории, как и многие другие однородные сочинения, до бесконечности разнообразны, что зависит естественно от проницательности, глубокомыслия, силы и обширности рассудка, от восприемлемости и живости ощущений, от общности и точности знаний, от способности соображения, от навыка, твердости и самостоятельности в употреблении языка. По назначению своему сочинения о литературе, ежели привести их к главным видам, представляются в двух общих отделах: одни прямо приготовлены в руководства, от чего получают уже и все принадлежности учебников, как-то: выбор предметов, их распределение, разделение, язык, тон и во всем известную меру; другие пишутся как бы только для легкого, приятного чтения и явно освобождены от форм педагогических. Бывает между ними и еще вид: книги, обнимающие науку в ее полноте и последовательности, но без строгих форм учебников и не чуждые увлекательности в изложении. Ими пользоваться могут все соразмерно своим способностям.

К последнему разряду относится сочинение г. Никитенко: «Опыт Истории Русской Литературы», из которого напечатана теперь только *Книга первая,* содержащая в себе *Введение.* Сочинитель рассматривает здесь: 1. идею и значение истории литературы, 2. метод изучения истории литературы, 3. источники истории литературы, 4. идею и значение истории Русской литературы, 5. разделение истории Русской литературы на периоды. Первый и четвертый из этих предметов рассматриваются сочинителем подробнее, нежели прочие. Оно так и быть должно. «Несмотря на популярность этого слова (литература), сказано на 10 стран., вращаемого в наше время и такими устами, которые назначены вовсе не для этого употребления, оно не сделалось яснее». Чтобы дойти до ясного, полного и верного определения идеи и значения литературы, г. Никитенко вошел в философско-историческое исследование идеи *народа* вообще и *России* в частности, что и сообщило взгляду его в том и другом месте ощутительный перевес над остальными частями сочине-

ния. Читатели видят, что содержание книги пока чисто теоретическое. Они найдут здесь идеи, а не факты. Главное достоинство рассматриваемого мною сочинения заключается в том, что оно представляет собою органическое целое, в котором все истины выходят одна из другой, что в нем говорится о каждой истине с видимым одушевлением и что взгляд на все предметы достоин их важности.

II

Приступая к развитию идеи и значения истории литературы, сочинитель прежде всего очень основательно замечает, что вообще в истории важны и поучительны не лица и события, а убеждения, цели, страсти, внутренние причины. «XIX веку принадлежит, — говорит г. Никитенко, — идея лучшей методы в исследовании и изучении дел человеческих. Сколько времени в исследовании жизни народов обращали внимание на одни внешние явления, не заботясь о том, что́ всему внешнему дает смысл, характер и цену. Для науки в этом духе, по-видимому, вовсе не существовали движение и направление идей народа, личные интересы его ума и сердца — как будто бы человек мог что-нибудь значить со всеми высокомерными притязаниями своими на первенство в природе, со всем, что́ он принимает и исполняет, если бы мысль не полагала своей царственной печати на его деяния». История, как ее писали прежде, названа здесь в шутку *важным средством для изощрения памяти школьников,* также *праздничною, театральною* историею, «где, по выражению сочинителя, дух человеческий остается за кулисами, а перед глазами зрителей представление, как говорится, кипит жизнью и действием, герои декламируют, блистая пурпуром и золотом, и творятся чудеса великолепных декораций. Мы, в свою очередь (продолжает сочинитель), позволим себе думать, что мир ничего не видал бы бессмысленнее и печальнее истории человечества, если бы рядом с созданием и разрушением царств не были начертаны на страницах ее цифры Эвклида, афоризм Гиппократа, Сократова ирония, стих Гомера и много подобного, чего не дает могущество меча на земли, ни самое могущество золота» (стран. 2, 3 и 4).

Направление такого учения, как я заметил, согласно с истиною. Только не совсем здесь верно указание на различие между историками прежними и нынешними. Кто выразительно и одушевленно рассказывает о событиях, живо рисуя лица и действия, тот передает нам не одно внешнее:

он вводит нас в созерцание мыслей, страстей, словом — прямо духовной деятельности человека или народа. Так великий художник одними очертаниями, красками, звуками вполне открывает перед нами все, происходящее в глубине души. И нет определительнее и успешнее способа выяснить значение и характер мысли, дать цену усилию и торжеству разума или энтузиазма, как только достойно изобразив явление их в действиях. Не XIX век открыл это искусство. Оно с древнейших времен принадлежало гениальным людям. История в этом виде не наука, а художественное произведение. Я бы и начал с этого разделения. Оно всему указывает законное место. Шлёцер [1] и Карамзин больше всех оказали услуг Русской истории — но один как ученый, а другой как художник. Вико [2] и Гердер [3] не вооружались против художественной истории, потому что ей только и обязаны были своими философскими соображениями, которые изложили, как науку о человечестве. Их труды не отнимают цены у исторических сочинений Шиллера [4], Вальтер Скотта и Тьера [5]. К дополнению многозначительной идеи, какая соединяется с словом *история,* я прибавил бы здесь мысль о *всех* великих созданиях, выразившихся *словом,* и сказал бы, что ими, равно как и собственно называемою историею, изображается духовная же сторона жизни человечества. Политические движения, гражданское устройство вовлекают в производство свое массы людей, которые между тем действуют по указаниям одного высшего ума. Рассматривание этой многосложной картины приводит нас к уразумению представителя политических высших идей. Конечно, еще много остается областей, в которых человек духовным парением своим возвышает нас в собственных глазах наших. Он не всегда потому велик, что средства его многосложны. Часто не только в одиночестве, но и в неизвестности, даже в презрении у всех, он озаряет мир новою истиною, постигнутою долгими его соображениями или мгновенным вдохновением. Никто этого не опровергал ни прежде, ни ныне. Сюда, в этот отдел истории человечества, давно уже вошли и цифры Эвклида, и афоризм Гиппократа, и Сократова ирония, и стих Гомера. Убедительнейшее доказательство — что ими пользовались и древние и новые народы. Я согласен с мнением сочинителя, что таланта и знаний не дает могущество меча, ни самое могущество золота; но и в том не сомневаюсь, что могущество меча и золота равно не дает ни огня страстей, ни силы воли, ни всеобъятности мысли, ни присутствия духа, ни презрения смерти — внутренних принадлежностей

человека, изображаемых в истории, откуда они, равно как и в теснейшем смысле называемые таланты и знания, не могут быть исключены без ущерба для науки.

III

Сочинитель, доказавши превосходство духовной деятельности перед деятельностью внешней, обращается к ближайшему предмету своему — к слову. «Способ самопроявления (говорит он), наиболее зависящий от власти человека и наименее от власти судьбы, соприсущий ему во всех переменах обстоятельств от колыбели до могилы, есть *слово.* Мы через слово делаемся людьми, т. е. существами мыслящими, прежде чем общество успеет из нас сделать новых, особенных людей, смотря по своим нуждам или страстям. С ним и навсегда каждый из нас остается человеком более, чем со всеми другими формами жизни и деятельности» (стран. 6 и 7). В изъяснении той важности, которая действительно заключается в слове, г. Никитенко указал на разные обстоятельства жизни и истории, подтверждающие мнение его. Для доставления большей верности его взгляду, как мне кажется, надобно прибавить пояснение, в каком смысле берет он предмет свой, т. е. слово; потому что и общий всем людям дар выражать простые понятия, и ниспосылаемый только избранным высокий талант первенствовать речью и властвовать над людьми — называются вообще словом. Это особенно необходимо для ясности последних слов в предыдущей выписке. Человек, говорится там, с помощью слова остается более человеком, нежели при других формах жизни. Мысль почти несомненная, ежели она относится к слову во втором значении. Возражение рождается только с той стороны, что слово не всегда назвать можно одною из форм жизни, а чаще указанием на какую-нибудь форму. Говоря точнее, надобно назвать формою жизни физическое или духовное действие, а слово только последует за ним и упрочивает явление его будущему.

От слова следует в сочинении переход к *науке и литературе,* двум главным видам, которые принимает слово для изображения внутренней жизни народа. «Литература, по определению г. Никитенко, есть мысль человеческая, возникающая у народа вместе с ним из его духа, жизни, исторических и местных обстоятельств и посредством слова выражающая свое народо-человеческое развитие под совокупным влиянием *верховных и всеобщих* идей истинного и изящного». По основной мысли это определение очень

хорошо; но в изложении его и в частностях я нахожу неточности. Нельзя сказать, что народ и его мысль возникают из духа того же народа; потому что существование народного духа не предшествует явлению самого народа. Дух и (в обширном значении) мысль — одно и то же. Итак, литература есть духовная жизнь народа, выразившаяся его словом. Невозможно исчислить всего, что́ действует на образование характера, сферы и прочих особенностей литературы какого-нибудь народа. Идеи истинного и изящного названы верховными и всеобщими. Они равны прочим идеям, занимающим человечество. Возникновение, образ, распространение и сила истины и изящества подчинены, как и все в земном странствовании человека, различным обстоятельствам. Совокупным влиянием своим не влагают они в литературу исключительного характера: напротив, их собственный идеал определяется после в истории совокупностью произведений литературы.

IV

Есть мнение, что все памятники письменности народа можно включить в понятие его литературы; и другое — что справедливее внести в это понятие только изящные произведения слова, действующие преимущественно на эстетическую восприемлемость души. Г. Никитенко, ограничив необъятность первого представления и отвергнув стеснительное понятие второго, с убеждением изложил свои соображения касательно истинного значения литературы. «Или литературы вовсе нет (говорит он), как факта определенного и самостоятельного, или мы найдем ее только на той нравственной ступени, где человек сознает свое призвание и неотразимую потребность сосредоточить всего себя в мысли, ею обнять все разнообразные влечения и интересы своей природы и истории и ее же творческим художественным могуществом, перенося себя в слово, спасти свои человеческие верования среди притязаний грубой материи и превратностей своей судьбы. Если народ в состоянии отделить в себе то, что принадлежит правам мысли всеобщей человеческой — идеям изящного и истинного, от того, что не относится к ним; если он возделывает и развивает эту мысль в своей жизни, в своих понятиях, в своей истории и результаты этой деятельности выражает наконец в художественных. стройных формах слова — он создает, он имеет литературу. Тогда как другими способами деятельности — общественным устройством, нравами, обычаями и проч., он «более или ме-

нее уклоняется от всеобщего человеческого порядка вещей и достигает своих исключительных, домашних, так сказать, целей; в литературе он выражает свое сознание о том, что свято, дорого и необходимо всем людям, как существам, наделенным одними и теми же нравственными нуждами и способами мыслить, чувствовать и выражать свои мысли и чувствования... Итак, не в особенном роде предметов или содержании заключается самостоятельность литературы и отличие ее от всех прочих произведений письменности и изящных искусств, но в особенном направлении человеческого духа, которое вверяется для применения и выражения благороднейшим усилиям избранного народа. Это направление не состоит в исключительном стремлении ни к истине, ни к изящному: оно есть акт духа, претворяющий одно в другое — истину в изящное и изящное в истинное» (стран. 14, 15, 24, 25 и 26).

Приводимое мною место касается двух важных вопросов в науке словесности: 1) что называть собственно литературным сочинением и 2) законно ли стремится частная литература, т. е. принадлежащая одному какому-нибудь народу, выразить собою что-то особое, отдельное от литератур прочих народов. Г. Никитенко, в ответе своем на первое, определяет сначала, что *сочинение тогда только становится чисто литературным, когда автор выражает в нем человеческое свое призвание и неотразимую потребность сосредоточить всего себя в мысли,* и проч. (см. выше). После он заключает, что отличие литературных сочинений выражается только направлением духа, а не выбором предметов или содержания. По ответу сочинителя можно судить, какою тонкою, едва уловимою чертою разграничиваются собственно ученые сочинения и чисто литературные. Но когда г. Никитенко наконец произносит, что в литературных произведениях дух претворяет истину в изящное, а изящное в истинное; тогда становится несомненным, что и поэт, и историк, и естествоиспытатель, и правовед, и все избранные, отличенные наукою или искусством, когда они живым, несокрушимым словом воплощают для нас сказания духа своего, все они — равно литераторы. Существенное состоит в ясной самобытности создания. Предмет и форма ничего не значат. Но как явления народного духа, подобно внешнему существованию народа, образуются и совершаются в известной постепенности, и их история есть как бы лестница, которой, однако же, каждая ступень равно важна, равно необходима для составления целого; то действительная ценность литературных сочинений должна быть определяема

не безусловно по общим законам эстетики, а по отношению к тому, что́ они вносят в историю народного духа. Второй вопрос прямее и яснее решен в рассматриваемой книге. Сочинитель предоставляет народу отделяться от других *общественным устройством, правами и обычаями,* а в литературу предлагает вносить, что *свято, дорого и необходимо всем людям.* Ежели бы в обществе нравы и обычаи, а потом и учреждения не связаны были с его духом, то легко было бы исполнить предлагаемое. Между тем известно, что дух властвует равно повсюду — и в литературе и в жизни, как частной, так и гражданственной. Итак, едва ли можно наклонить литературу в одну сторону, а гражданственность в другую. По моему мнению, оба эти предмета сами настолько сойдутся с общечеловеческим направлением и столько выработают в себе частно-народного, сколько к тому и другому найдут средств в разнородных обстоятельствах, действующих повсюду на литературу, которая таким образом и явится, как я уже определил ее, жизнью, высказавшеюся словом.

V

Теперь в сочинении идет опять занимательный вопрос: чем литература отличается от науки? «В науке и литературе (говорит г. Никитенко на 27 стран.) мысль, облекаясь в слово, является в своей первостихийной чистоте, со всею свободою, свойственною ее характеру, и охраняемою способом самого ее проявления, — вот почему наука и литература так дружны между собою. Истина есть одинаково верховная задача для науки и для литературы, потому что мысль только в истине находит удовлетворение своего бытия, следовательно, и цель его. Но наука ищет истины, добывает ее; это служебное орудие мысли, посредством коего выполняются только требования ее личных интересов. Литература стремится к истине, как к величайшему благу жизни». Допустивши, что в науке и литературе слово составляет равное облачение мысли, а истина равное удовлетворение ее существования, одну верховную задачу ее и цель, едва ли можно их разъединить оттенками таких выражений, как, напр., *одна ищет, другая стремится;* потому что как скоро ищут, то уж стремятся, и наоборот — стремясь ищут. Я даже не нахожу ни выгоды, ни обязанности учения разграничивать то, что природою и сущностью своею соединено так нераздельно. Конечно, великая разница между сочинениями Ньютона и Шекспира. Впрочем,

она потому только чувствительна, что не все изучают отвлеченности математики. Между тем едва ли более найдется и таких людей, для которых действительная высокость драм Шекспира постижимее биномии Ньютона. Но в отношении к полету и силе духа, в отношении к истории мысли и даже к пользе, разливаемой на человечество откровениями слова, эти два человека, Ньютон и Шекспир, не равны ли между собою? И в каком сочинении, когда речь коснется вообще успехов мысли и слова, назвав одного, пропустят другого? Иногда встречается надобность ограничиваться каким-нибудь отделом литературы, что бывает и в других науках. Говорят же все: литература богословская, медицинская, юридическая и проч. Тем не менее литература народа не перестает быть в идее чем-то целым. «Для кого было бы доступно изучение литературы в таком обширном или, лучше сказать, беспредельном объеме?» — спрашивает сочинитель, опровергая мнение, по которому все памятники письменности вносятся в понятие литературы. Эта необъятность получит пределы, когда все повторения, все сокращения, все подражания, все выписки и многие подобные им явления письменности, как сухие ветви, отсечены будут историком от возвращаемого им древа истории литературы. «В литературе (сказано на 28 стран.) истина изменяет свою наружность; она совлекается форменной одежды понятий и принимает праздничный наряд образов, то богатый и роскошный, то простой и грациозный. Изящное неразлучно с литературою, то как цель и содержание, то как условие формы». Истина, совлекшись первоначальной одежды своей — для того, чтобы показаться в новой, — не останется во всем объеме сама собою. Законный, единственно ей принадлежащий ее наряд является с рождением ее, а не берется для замены ее простого, будничного, так сказать, одеяния. Изящное ничего не значит другого, кроме истины жизни и согласия со всеми ее принадлежностями. Подтверждением этой мысли служат слова и самого сочинителя, когда он, говоря о причинах, ведущих литературу к неизбежному упадку, так разительно изображает тождество науки с литературою. «Ежели мы предыдущими объяснениями старались определить с точностью (стран. 43 и 44) границы между литературой и наукою, то совсем не имели намерения показать, чтобы первая могла успешно развиваться без последней. Идеи, которыми литература обогащает содержание своих изданий, притекают к ней с волнами событий; но они требуют испытания и опоры того высшего разума, который опыты настоящего приводит в связь с опы-

тами веков и близкое к нам уполномочивает и укрепляет союзом с первоначальным и основным. Если литература должна пробуждать симпатическое сочувствие к истине; ежели то, что есть великого в идее и разуме, она должна делать великим в жизни, то как же исполнит она эту священную миссию, возложенную на нее во имя разумного и живого человечества, не быв облечена во всеоружие знания? Ложью и выдумками не убеждают, а только обманывают; высокими идеями без ясных понятий о вещах забавляют умы тощие, больные модою и самолюбием; грезами и поэтическими мечтами прельщаются только женщины до свадьбы и служащие юноши до первой взятки; общественные сплетни и обрывки знаний, подбираемые на тинистом и мутном дне современности, годятся только для газет. Что ж может литература во всем этом найти достойного себя и общества, которому она предназначена служить не забавою, а наставником, провозвестником лучших стремлений и верований, судьею его сердца и ума и наконец его славою».

VI

Два метода изучения истории литературы рассмотрены сочинителем, прежде нежели он приступил к изложению того, который им составлен для будущих трудов его, а именно: *фактический* и *критико-эстетический* методы. Хоть он и признает явное преимущество второго перед первым, но основательно указывает на односторонность и критико-эстетического. «Истина факта (говорится на 50 стран.) есть один остов истины — душу и жизнь дает ей истина идеи. Зато эта поникшая долу история справедливо хвалится, что без нее все высокие воззрения ничто. Она собирает, предоставляя другим пользоваться собранным — в том именно состоит ее заслуга». Никто не сомневается, что и полезнее и возвышеннее проникнуть в значение факта, нежели ограничиться одним сведением о том, что он действительно был. Только одно не может обойтись без другого. Надобно начать с познания, как произошел факт, чтобы определить его значение или идею. Следовательно, эти методы нельзя рассматривать в виде предметов, один другой заменяющих, но как части целого. Еще опаснее в нынешнее время восставать против истории, излагающей факты без примеси теоретических толкований. Ясно, в полноте и с художническою истиною представленные события обильнее благотворными выводами снабжают читателя, нежели так назы-

ваемые высшие взгляды, односторонние, произвольные и насильственно подчиняющие каждое явление ложной причине, случайно зародившейся в голове историка. Судить и приговор давать следует беспристрастному зрителю, а не рассказчику, уже предубежденному любимою своею теорией. Притом же самая легкость казаться знающим историю по общим взглядам угрожает современности неизбежным неведением действительной науки.

Критико-эстетический метод изучения истории литературы г. Никитенко не без основания назвал односторонним. История, излагаемая по этому способу, «ищет в литературе только одного интереса и одной заслуги (стран. 52 и 53) — интереса и заслуг художественных, а мы видели уже, что литература решает и другие важные вопросы. Изложенная в этом духе, она, конечно, необходима для художника, для таланта, призванного к литературной деятельности; но общество имеет нужду в истории литературы, более соответственной разнообразным стремлениям его. Оно хочет изъяснить, понять себя в явлениях и представителях своей умственной силы и судьбы — и история литературы, по требованию столь законному, должна явиться в новом характере, в характере философского прагматизма его мысли и чувства». Я довел читателя до метода, избранного сочинителем, который его назвал *философско-прагматическим*. Народность и общественный дух, государство с его учреждениями, непосредственно относящимися к умственной деятельности народа, и язык — вот четыре предмета, с которых, по изъяснению г. Никитенко, начинается история литературы в этом смысле. Вслед за тем идут сочинения, особенно действовавшие на успехи и направление народной мысли и чувства; а потом и литературные лица с их влиянием на общество, не только в смысле эстетическом, но и нравственном. «Критицизм (стран. 56) должен пройти глубоко, по всем, так сказать, составам и жилам созданий, заслуживших честь подробного исследования. Он должен разложить основную идею и содержание каждого из них, стараясь показать, что̀ принадлежит в них общечеловеческим стихиям жизни, народным и общественным, природе, месту, личному характеру писателя или его школе, что в идеях его есть самобытного и заимствованного, откуда и каким путем. Он изъяснит форму произведений, ее общие черты и происхождения, эстетический характер в отношении к времени или национальному вкусу, и наконец слог писателя, как со стороны филологических условий, так и красок». Таким образом, согласно с мнением, выше мною изложенным, г. Ники-

тенко лучшим методом истории литературы признает представление событий, т. е. фактов, излагаемых с ясностию, полнотою и художническою истиною. «Преимущество этого метода (заключает он на 56 же стран.) перед двумя предыдущими очевидно. Он вмещает в себе выгоды обоих, присовокупляя к ним то, чего они лишены, т. е. полноту изложения и объем, соответствующий значению литературы. При богатстве фактов и критико-эстетической их оценке, он в то же время показывает ход литературного образования в естественном его развитии, т. е. в связи с прочими явлениями жизни, и вводит нас в самое святилище народного ума и чувства, развертывает внутреннюю жизнь народа со всеми ее изменениями, со всеми переворотами, каким подвергалась она на пути к высшим целям человечества».

VII

Источники истории литературы разделены сочинителем на непосредственные и посредственные. В первом отделении он помещает факты самой литературы, т. е. ее произведения и писателей; во втором — все, что служит к объяснению народности, общественного духа, образованности в известную эпоху, государственных учреждений и языка. По замечанию г. Никитенко, из числа фактов литературы одни имеют более отношения к народу, другие к эпохе и обществу, третьи к какой-нибудь литературной школе. Мне кажется, это раздробление не прибавляет ничего к делу науки. Существенное, что надобно изучить в литературном факте, зависит не от его отношения, а от внутреннего достоинства его. Создание самобытное, согласное с потребностями человеческого духа, исполненное силы и откровения высоких истин и вечной красоты, естественно и равномерно относится не только к народу, к эпохе или к школе, но и ко всякому существу, мыслящему и чувствующему человечески. При этом явлении не в том вопрос, кому и чему приписать его создание, но в какой степени оно подвинуло человековедение на бесконечном его возвышении. Содействовать к осуществлению такого духовного сокровища могли и современники и предшественники — и его благотворное влияние совершится по мере готовности и восприемливости каждого.

При оценке важности собственно народных произведений словесности сочинитель очень кстати поражает предрассудок, по которому некогда «все простые излияния мысли и чувства считались (73 стран.) грубыми и недостойны-

ми философского взгляда исследователей и внимания людей образованных. Это было (говорит г. Никитенко) в те времена, когда в произведениях литературы искали только одной красоты, т. е. забавы и развлечения, колеблясь между страсбургским пирогом и драмой или поэмой и нимало не подозревая, что слово, не имеющее ни авторитета школы, ни авторитета официального, может решать вопросы чрезвычайно важные для общества и быть занимательным в своей патриархальной и глубокой простоте. В силу тогдашних стремлений *выдумали* так называемый *вкус*, который очень удачно, по характеру века, перенесен был от гастрономических предметов на предметы изящные». Я полагаю, что пренебрежение, оказанное несколькими лицами в прошлом веке собственно народным произведениям словесности, не выражает собою всеобщего верования в одни авторитеты. И в XIX веке довольно еще людей, для которых старинная сказка или песня только смешна, или совсем безвкусна. И теперь эти судьи колеблются между драмой или поэмой и страсбургским пирогом. Только не эти гастрономы выдумали вкус, который, как чувство не телесное, а духовное, известен был во все времена. Не только нынешняя теория, вероятно, и позднейшие не будут в силах истребить его так же, как, наприм., чувство самосохранения и правоты. Конечно, вкус различен; но его отсутствие не признак высшего совершенства, а недостаток, наподобие того, как глухота или слепота называется повреждением организма.

Много занимательных подробностей содержится в книге об изменениях и разных периодах литературы. Мне кажется только, что здесь было самое приличное место для развития идеи о таком переходе литературы, которому народ нисколько сам не способствует, но которому между тем явно подчиняется. Я разумею появление писателя, в высшей степени самостоятельного, увлекающего читателей совершенно в новую сферу образов, положений, мыслей и убеждений. Конечно, это еще вопрос не вполне решенный: сильнее ли общество действует всегда на образование одного человека, или один человек на образование общества? По крайней мере полезно для успехов науки обращаться иногда к воззрению на эти отношения. В теориях все приписывается народу, как будто его духом без различия одержимо каждое лицо. Но часто писатель несравненно живее и неотвратимее обладаем бывает собственным, кроме его никому еще не сообщенным духом, нежели общим, народным. И ежели обстоятельства позволят ему изо-

бразить внушаемое гением его — народ и литература мгновенно примут новый оборот.

В числе источников истории литературы, как я сказал, помещена в сочинении характеристика языка, изображение его успехов, изменений или упадка в данную эпоху. «Гениальные писатели имеют свой язык, т. е. слог (83 стран.); из общего языка народа они извлекают такие богатства и красоты, которые до них казались несуществующими и невозможными» Ежели сочинитель за одно принимает язык и слово, то он вводит в учение неверную мысль. Язык только материал, а слог способен употреблять его. История языка также относится к истории слога, как исследование народной жизни к частной биографии.

Правила литературы, рассматриваемые тоже как источник ее истории, исследованы в их основании, т. е. в сущности искусства. «В искусстве есть две стороны: одна принадлежит закону развития, которое, увлекая все вперед, к новым вопросам, новым следствиям, не может быть определено и измерено ни умозрениями, ни опытом; которое, отражаясь в творческих замыслах гения, подчиняется не какой-либо особой системе правил, а всеобщей системе духа и жизни, системе истории, подлежащей изъяснениям, но не догматам. Другая сторона искусства заключается в способах, какими осуществляет она свои идеи. Как эти способы состоят в употреблении вещественных орудий и форм, над которыми господствует закон необходимости, в которых все определено один раз навсегда, то здесь для искусства должны быть правила строгие, точные, единообразные и специальные (85 и 86 стран.)». Это резкое разграничение одной стороны деятельности духа от другой не вполне согласно с истиною. Понятия со всеми приложениями к ним никогда не возникают в душе без орудий и форм языка, так что всякое развитие в первом отношении непременно содействует и развитию во втором. Правила литературы можно распространить на обе стороны искусства, только не в виде мелочных предписаний, а как общие и высшие соображения, извлеченные из свойств мыслящей силы и явлений ее.

О производителях в области литературы говорится здесь как о лицах, которые, «постигнув дух своего народа и общества, изучив их нравственные нужды, овладев их словом, становятся впереди всех вождями и руководителями на исторической арене их мысли. То, что в умах других есть только темное гадание, неопределенный порыв, в сердцах чаяние или предчувствие, что, однако ж, составляет томи-

тельную потребность и ума и сердца, то, прошедши сквозь художническую душу этих избранных людей, выработавшись в недрах их зиждительной мысли, облегшись в слово стройное и животрепещущее, становится ясною истиною, живым убеждением движет, одушевляет, питает всех» (89 и 90 стран.). Столь общее и одноцветное изображение лиц, действующих под влиянием разносторонним и своими трудами образующих в истории разнохарактерные периоды, недостаточно выясняет этот важный материал истории. Все писатели здесь безусловно подчинены готовым элементам и ничего собственного не вносят в тот мир, которого идеи без них превратились бы во что-то неподвижное и безжизненное.

VIII

После общих воззрений на науку сочинитель приступает *к идее и значению истории литературы Русской.* Он говорит: «История русской мысли должна иметь свой характер, свое значение. Но как их определить? По каким умственным путям устремится гений народа, мощный, но не искусившийся опытами прошедшего, благотворными по самым их превратностям, готовый на все, но так мало еще приготовивший? Какие задачи суждено ему решать в системе человеческой разумности — это тайна Провидения» (97 и 98 стран.). В истории русской мысли не только должен быть, но и есть особенный ее характер и значение. Как же их определить? Способом, заключающимся в сущности истории, которая изображением дел приводит к ясному уразумению и определению всего, что в ней содержится. Два последние вопроса выходят из области истории — и сочинитель очень справедливо на них сам себе отвечает. «Для нас не настала еще пора полного самопознания — и, кажется, эта пора отдаленнее, чем думают слишком торопливые составители народных духов и судеб» (стран. 99). Это неоспоримо, ежели здесь разумеется самопознание философическое, т. е. ясное разумение всех тайн человеческой духовности. Самопознание же историческое, т. е. вывод из совершившихся у нас дел, теперь уже возможно. «Мы в области истории шли какими-то особенными путями, и господствующие начала нашей народности, вырабатываясь в горниле самой чрезвычайной судьбы, когда какая-нибудь постигала народ, выработали нам физиономию, которую трудно уловить искуснейшему наблюдателю и живописцу» (там же). Чем необыкновеннее пути, по которым указано было идти

народу, чем судьба его чрезвычайнее, тем заметнее все для наблюдателя и тем легче живописцу уловить эту физиономию. «Мы одарены самыми счастливыми способностями, самыми человечественными, если можно так выразиться, готовыми принять в себя всякую истину, красоту и добро» (там же). Это сделалось бы несравненно ощутительнее, если бы заменено было хотя несколькими *фактами*. «Народы, в системе всеобщей образованности, составляют логические, своевременные явления, верные и местами своими и эпохами потребностям и идее целого» (стран. 100). Вот мысль, которую надобно взять за основание в исследовании предмета, занимающего здесь сочинителя. Убежденный в ее непреложности, он должен был из нее почерпать ответы на все вопросы, возникающие в истории нашей словесности. «Раскинувшаяся на плоских снежных равнинах у рубежей Азии и Европы, отодвинутая от сцены великих исторических дел самою беспредельностью и неприязненным характером своего пространства, Россия должна была слабо испытывать притягательную силу начала, двигавшего корифеями человечества, народами, стоявшими во главе всемирной образованности, или вовсе не испытывать» (101 и 102 стран.). Не противоречит ли это предыдущему положению? — «Так прошли века. Мы не дерзаем и кто дерзнет сказать, что века эти прошли бесплодно для нашей умственной и нравственной будущности» (103 стран.). Вместо *будущности* не вернее ли сказать *для жизни*, так как жизнь значит преемничество явлений, а будущность не входит в это понятие? «Что было, то не могло быть без следствий; жизнь не знает ничего бесплодного» (там же). И здесь глубокая истина.

Почти все приведенные мною общие мысли сочинителя заставляют думать, что он в идее и значении истории литературы Русской найдет явление естественное, правильное и последовательное; что он укажет прямой путь движения народной мысли и представит характер ее в истинном виде. Но он, как бы охладевши к собственным верованиям и убеждениям, выраженным с такою ясностью и силою, отвращается от них и переходит на противную сторону. «Новейшие племена запада довершали разрушение древнего мира (говорится на 101 стран.) и, проникнутые свежими идеями христианства, полагали основание новому. Россия ничего подобного не делала и не могла делать. Она не имела случая вначале оказать ни одного из тех энергических напряжений ума и воли, которые вынуждаются столкновением с деятелями, оспаривающими друг у друга осуще-

ствление великой идеи. Сами ли пришли к нам варяги или были призваны — все равно: они не могли или не успели дать первоначальным славянским элементам ни возбуждения, ни направления, ни народной цели. Правда, они привели их в брожение, которое, конечно, должно было иметь свои исторические последствия; но эти последствия не успели развиться из движения, охваченного вдруг новым влиянием, самым неожиданным и роковым — влиянием татарским. При таких обстоятельствах у народа русского способности его долгое время должны были остаться, так сказать, непочатыми; им не на чем было изощряться; не в чем было почерпнуть ни возбудительной теплоты вопросов всенародных и человеческих, ни доверия к самим себе. Они испытывали только силу гнета или силу конвульсивно раздражавшую. То были века *страданий* и умственного бездействия» (101, 102 и 103 стран.). Я согласен, что в событиях народной, а следовательно, и частной жизни русских многое было не так, как у других народов. Но разве и теперь нет поразительной разницы в формах, которыми выражается духовная деятельность современных нам государств? Никто между тем не думает, что люди, живущие по-своему, лишены напряжений ума, что их способности не початы, что их не животворит теплота человеческих вопросов и что у них умственное бездействие. Кто допускает бытие мысли, тот уже не может отвергать ее деятельности. Как бы в подтверждение моего мнения сам сочинитель сказал: «Ужели Россия обязана представлять в ней те же самые явления, в том же порядке и по тем же переходным степеням, с теми обстоятельствами и оттенками, как и все другие народы, которые, впрочем, пользуются от наших аристархов правом идти своим особенным путем и развиваться из собственных начал? Разве наша литература, какова бы она ни была, не есть факт, рожденный историческими судьбами общества и народа, и разве она меньше поэтому заслуживает внимания и исследования, чем всякая другая действительность природы или истории?» (137 стран.). Я нахожу еще менее приближающимися к истине те предположения, которыми сочинитель как бы оправдывает русских в восьмисотлетнем мнимом умственном усыплении. «Чрезвычайная усиленная деятельность, с какою предстояло России вознаграждать *обиды судьбы* и траты от промедления, не входила ли в одно из условий *экономии человеческого рода*, которое выполнить суждено ей? Новые необычайные события, происшедшие из этого кажущегося нарушения исторической симметрии, не дают ли истории мира нового особенного оттен-

ка, необходимого для гармонии целого, и самому народу не послужили ли они заменою того возбуждения, какое другие находили на обыкновенном, так сказать, *логическом* пути своей жизни»? (103 и 104 стран.).

IX

Эпохою Петра Великого открывается картина России, достойной стоять наряду с другими народами. Описывая деяния Преобразователя государства нашего, сочинитель прибавляет: «По предметам, по цели, если угодно, по фактам это было новое и чрезвычайное событие, которое история наша по справедливости называет реформою, переворотом; по внутреннему прагматизму мысли это был естественный, логический шаг нашей народности, задержанной в своем ходе, но не измененной в сущности ни татарами, ни реформою. Она — эта гибкая, крепкая, энергическая, светло-умная, аналитическая народность — в самой колыбели своей обречена действовать, как она действует, обречена стереть с лица земли двух завоевателей — одного храброго, другого величайшего, брить бороду, носить модные шляпки и фраки Парижа, читать Байрона, Шекспира, Гете, Шеллинга и Гегеля, говорить языком Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова, иметь университеты, академии и гимназии» (108 стран.). Итак, несправедливо сказано было выше, что логическое движение в истории нам не досталось?

Надобно сознаться, что допетровский период Русской истории у нас изучен вообще очень слабо; в исследовании его много пропусков; тогдашние памятники письменности нашей частью не рассмотрены знатоками, частью не все открыты, а еще больше число их утрачено. Вот почему и кажется нам, что, в противность естественному ходу дел, здесь, на границе между древнею и новою историею России, усматривается изумительный скачок. У г-на Никитенко есть прекрасные слова, которыми поддерживается мысль, что вся история России должна представлять наблюдательному уму зрелище естественного движения к умственному совершенству. «Жизнь (говорит он на 145 и 146 стран.) развивается в такой строгой постепенности, так не любит скачков, отступлений и щегольских эффектов, что самое великое на земле не есть ни самое чрезвычайное, ни неожиданное. Изучайте предшествующие обстоятельства и причины: вы увидите, что превозносимые вами эпоха и гений — ее творец суть только громкие провозвестники уда-

ра, который совершился уже в тишине неприметно колесами и пружинами, скрытыми в огромном и сложном механизме дел человеческих». В четверть века никакой гений не в силах из ничего создать в государстве все, а тем менее уничтожить восьмисотлетнюю духовную жизнь. Я вполне разделяю мнение сочинителя, что Петр I действовал на основании народности нашей. Мне кажется только, что в разнородных его стремлениях не надобно смешивать существенных дел с делами, случайно примкнувшимися к первым. Как лучше образовать разные части управления в государстве, как вернее упрочить внешнее и внутреннее его благосостояние, как утвердить повсюду порядок, распространить знания — все это и при Петре входило в Россию по следам, давно уже проложенным в прежнее время, нисколько не противореча нашей народности в хорошем ее значении. Новые же формы жизни частной и другие большею частью наружные перемены, не составляя существенного в быту нашем, только надвинуты на него и остались на поверхности общества, не проникнув в него как потребность и приучив нас во многом довольствоваться одним кажущимся. Последняя черта, замечаемая и ныне в жизни нашей, получила начало с Петровского преобразования. Она сообщает некоторый вид справедливости разным возглашениям, являющимся и в обществе и в литературе против гениального монарха. Г-н Никитенко говорит, что русской народности обречено читать Байрона, Шекспира, Гете, Шеллинга и Гегеля; а несогласно с ним мыслящие думают, не век ли ей обречено казаться, будто она действительно их читает?

В рассматриваемой мной книге картина умственной деятельности в России в продолжение допетровского периода, к удивлению читателей, составлена из частей, явно не соответствующих одна другой. Сперва говорится там, что у нас «в этом пространстве времени мысль народная *не обнаруживает в себе жизни развития;* она не вырабатывает великих всечеловеческих идей истинного и изящного напряженным постоянным инстинктом, не очищает, не доводит их до степени определенных вопросов созревающим сознанием своих сил» (125 стран.). А после прибавлено, что «в допетровском пространстве времени народная мысль свидетельствует о своем бытии и неизменяемом характере то непрерывным рядом дееписаний и живым отношением своим к современной действительности, наприм. в «Слове о полку Игореве», то ярко и смело накиданными чертами поэтических образов в сказочном эпосе, то глубокими, иногда мощ-

ными и зловещими, иногда умилительно-тихими и кроткими звуками сердца в лирике. Мысль, угнетаемая и скорбная под свинцовым игом веков медлительных и суровых, питалась и находила утешение в высоких творениях Отцов и Учителей церкви. Полная их отрадного и святого наития, она нередко переносила и образ воззрения их на вещи и язык в свои сказания о судьбе отечества. Государственные акты, вместе с выражением высших потребностей эпох, заключают в себе нередко страницы истинно изящного народного красноречия. Его не называют ораторским, может быть, только из преувеличенного уважения к форме, тогда как по духу его и действию оно вполне проникнуто ораторскими стихиями» (стран. 126, 127 и 128).

Что касается до следующего за ним периода, т. е. настоящего, нынешнего, литературная деятельность России обозначена и в нем чертами, опять противоречащими одна другой, так что идеи и значение истории литературы русской остаются решенными очень сомнительно. Прежде сочинитель сказал, что «наше настоящее, может быть, обильнее нуждами, требующими постоянных усилий ума, чем настоящее других; оно имеет свой характер, которого нельзя изъяснить общими и историческими местами; по своей чрезвычайности оно не подходит под их обыкновенные категории и формулы. Мы народ новый в истории всемирной умственной деятельности — вот истина, столь же простая, сколь и важная для нас. Мы должны не продолжать, а начинать; наше богатство не в наследстве, а в собственной разумной деятельности, для которой Небо щедро наделило нас способностями. В них-то, в этих прекрасных способностях наша твердая опора и наши драгоценнейшие надежды на поприще знания и искусства. Все патриотические идеологии должны умолкнуть перед существенными патриотическими интересами, которые можно выразить двумя словами: *наука и труд»* (121 и 122 стран.). Потом прибавлено, что «значение и интересы нашей литературы постепенно возрастают в периоде после Петра Великого. Здесь она является нам в том характере, какой обыкновенно следует из жизни развития — в характере строгой прагматической последовательности. С каждым шагом значение ее быстро расширяется, так что совпадение ее с значением истории всемирного образования уже *не есть предчувствие*, а *очевидность*. Литература наша, последовательно, логически переходя от одной степени к другой, от изменения к изменению, от неудач к успеху, проникала глубже и глубже в умственные и нравственные интересы людей, в новые их

нужды, укреплялась в них корнями своими, обогащала их своими внушениями, сама обогащалась их стихиями и готовила в тишине свой *прекрасный цвет и плод»* (128, 129 и 130 стран.).

X

Окончанием книги служит разделение истории литературы Русской на два периода, разграниченные явлением Петра Великого. *Первый* период назван временем образования и установления нашей народности, без преемственного и последовательного развития нравственных, т. е. умственных и эстетических сил. Я уже несколько раз упоминал выше, можно ли согласиться с мнением, чтобы народ, проникнутый умственными и эстетическими силами, действовал на поприще гражданственности без преемственного и последовательного развития этих сил? *Второй* период назван здесь временем нравственного развития народности. Есть и подразделения каждого из них. В допетровском особо берется отдел с основания Русского государства до появления в нем власти татар, и отдел с татар до преобразований в России при Петре. «Влияние дикого и свирепого могущества татарского (говорится на стран. 146 и 147) было столь глубоко и в то же время столь враждебно основным стихиям русской жизни, что веков, захваченных им, нельзя не представлять себе периодом отдельным, совершенно особенным и по характеру своему и по следствиям. Россия до татар была иною, чем во время и после их до Петра Великого — и как бы нам ни представлялось здесь мало памятников ее умственной жизни, мы не можем не видеть на них печати другого духа, не видеть в них другого направления мысли». Эта самая причина требует, чтобы время с Иоанна III до Петра I изображено было также в особом отделении, на что сочинитель не соглашается. Он, предупреждая возражение, спрашивает: «Но произвело ли это время какой-нибудь переворот в умах, возбудило ли, направило ли их к новой определенной деятельности?» (стран. 149). В ответ можно указать на введенную у нас в продолжение этого времени правильную систему гражданского устройства, на памятники законодательства, на действия тогда же введенного книгопечатания, на сказания князя Курбского и другие современные записки, на духовное красноречие, на дипломатические акты, на народные песни, на филологические труды ученых, на повсеместность силлабических стихов, на заметные успехи ученого образования, и проч. и проч., что

довершило в России духовную самостоятельность. Г. Никитенко говорит, что «это были пары, скоплявшиеся в душной атмосфере, которые надлежало мощному духу планеты разогнать, чтобы они не мешали видеть восходящее великолепное солнце» (150 стран.). Не точнее ли сказать: это был свет зари, которая свидетельствовала, что солнце уже восходит? И в самом деле: для литературных успехов Кантемира и Ломоносова более было приготовлено в русской жизни незадолго до Петра, нежели собственно при нем.

Что касается до периода после Петра, сочинитель, не находя особенной нужды и даже возможности разлагать на отделы это небольшое пространство времени, только указывает читателям, что до 1812 года литература наша обозначается более *художественно-формалистическим* направлением, а после этой эпохи *художественно-общественным* и *народным*. До какой степени выражена этими названиями идея той и другой половины периода, я не вхожу в особое изложение, потому что вполне согласен с мнением сочинителя, который говорит: «Самая ничтожная и трудная вещь делить события исторические на периоды» (стр. 145).

Я представил моим читателям весь план и основные мысли сочинения. То и другое достойно общего внимания, как явление самобытное, что так редко у нас бывает, особенно в истории литературы. Излишним нахожу упомянуть, что сочинитель самобытен даже в слоге своем: это легко каждый мог заметить по выпискам, мною приведенным. Его книга должна возбудить деятельность наставников русской словесности. На логическом основании сочинителя они легко могут теперь утверждать и распространять свое учение, не школьное, а живительное и общественное. Частности и дополнения предоставляются на произвол каждого. Всего приятнее чувствовать в книге г-на Никитенко этот дух терпимости, который так несомненно свидетельствует о прямом стремлении сочинителя к истине. «Если сказанное мною (говорит он в предисловии на стран. VII и VIII) будет поводом к обнаружению начал или понятий противоположных — тем лучше: из борьбы мнений рождается истина. И не пора ли нам наконец учений, несогласных с нашими идеями или нашими взглядами в области науки и искусства, не считать оскорблениями лиц и вещей? Мы зреем приметно — и некоторым остаткам литературного детства да будет конец».

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ЖУКОВСКОГО

I

Ни в одной литературе не было поэта, с которым можно бы сравнить Жуковского. Большую часть своих стихотворений он перевел с иностранных языков. Но эти переводы вполне равняются оригинальным сочинениям как по свободному их изложению на русском языке, так и по силе действия их на читателя. Самые известные и более других уважаемые переводчики достигали только до того, что со всею верностью передавали на своем языке значение подлинника; Жуковский сообщил переводам своим жизнь и вдохновение оригиналов. Оттого каждый перевод его получал на нашем языке цену и силу самобытного сочинения. Этот необыкновенный талант доставил ему средство к великому преобразованию литературы нашей. До него она была однообразна и почти бесцветна. Жуковский расширил область ее, дал лучшие образцы различных тонов поэзии, усвоил нам первоклассные произведения древних и новых стихотворцев и поравнял нас в поэзии с образованнейшими современными народами.

Отличительная черта таланта Жуковского состояла в удивительном сочувствии ко всему прекрасному в изящных искусствах. Этою способностью он превышал всех известнейших поэтов. Но она одна не возвела бы его на ту высоту, на которой он стоит в русской литературе. Его надобно назвать творцом нового русского языка, которого особенности состоят у него в самых верных выражениях для каждой черты описываемого им предмета, в необыкновенной благозвучности речи, в свободном, но всегда правильном ее течении, в сочетании слов и их украшении, столь неожиданном и увлекательном, что каждая мысль является новым созданием, наконец в искуснейшем употреблении то краткости, то обилия периодов, смотря по свойству излагаемых идей. В нашем языке более, нежели в каком-нибудь другом, разных слов, изображающих один и тот же предмет. Одни из них составляют принадлежность языка церковнославянского, другие собственно называемого русского, третьи образовались в каком-нибудь отдельном периоде истории, четвертые в особом сословии, и так далее. До Жуковского писатели предпочитали слова избранные, т. е. употреблением утвердившиеся в общем книжном языке, что сообщило литературе одноцветность и принужденность. Живо сочувствуя бесконечно разнообразным красотам природы

и красоте образцов всемирной поэзии, Жуковский воспользовался сокровищами нашего языка и внес в свои стихотворения это разнообразие выражений, которое необходимо для красок и живости передаваемых им бесконечно различных образов.

Есть другая черта в его таланте, свидетельствующая, что он, как поэт, достигнул бы необыкновенной высоты и тогда, когда бы ограничился сочинением одних собственных стихотворений, не увлекаясь совершенствами других поэтов. В таланте его над всеми качествами преобладало самобытное стремление к осуществлению идеальной красоты, грации, мысли возвышенной. Оно безотлучно сопровождает его и видимо в каждой черте его труда. Самые переводы его потому и действуют на читателя как оригинальные сочинения, что творящая сила переводчика глубоко проникает в его чувства, в его понимание подлинника и в выражения его. Она, подобно солнечному лучу, ничего не отнимает у предметов, на которые действует, ничего им не прибавляет, но в то же время наводит на них тот восхитительный свет, от которого все они становятся приятнее и блистают равно озаренные. В этой силе самобытности заключается изъяснение того влияния, которым Жуковский произвел эпоху в нашей словесности.

II

К довершению столь прекрасных способностей Жуковский воспитал в душе своей религиозное чувство, чистейшую нравственность и высокое понятие о достоинстве человека. Ими он был руководим в течение всей жизни, и они составляют незыблемое основание его поэзии. Как ни разнообразны стихотворения его по содержанию своему, по формам, краскам и тону — все они сохраняют какой-то семейный отпечаток в общем своем направлении: везде присутствие чистоты, любви к природе, к нравственному порядку; везде успокоение духа, верование в лучшие качества человеческого сердца; везде ожидание тех утешительных обетований, которыми жизнь и смерть примирены и равно освящены для души христианина. Жуковский, казалось, избрал девизом своей поэзии только три слова: Вера, Надежда и Любовь. Он прошел все возрасты жизни, видел различные изменения судьбы, вслушался во все учения — и остался верен тому, что выражают эти всеобъемлющие слова. Они внушили ему то увлекательное красноречие, то могущественное убеждение, которому так отрадно покоряться

и с которым чувствуешь в себе и силу и отраду. Человек, глубоко принявший в сердце поэзию его, не только сохраняет благородный энтузиазм к славе чистой, к деятельности бескорыстной, к мыслям возвышенным и к чести непреклонной, но и самое понятие об искусствах, и в особенности о поэзии, у него неразлучно с представлением совершенства нравственно-идеального, а в идеях, образах, положениях и в самом слоге он всему предпочитает силу истины, поэтическое создание, голос чувства и верность выражения. Посреди явлений господствующего ныне вкуса, увлекаемого яркими, но ложными красками, напыщенностью фраз и своеволием воображения, еще сильнее отзываются в чистом сердце святыня действительного вдохновения, картины, списанные с природы, и гармонические звуки, дружные спутники поэзии Жуковского.

Нельзя было и ожидать, чтобы на этой высоте поэзии, с идеями, чувствованиями и изображениями столь утонченными и в нашей литературе совершенно новыми, при слоге и языке, без предварительных опытов вдруг созданном для стихотворений, Жуковский сделался равно доступен всем классам читателей и вошел бы в разряд народных поэтов. Он сам это ясно сознавал, печатая некогда переводные свои стихотворения под заглавием «Для немногих». Во всех изящных искусствах, а в поэзии и преимущественно, есть совершенства, есть красоты, постигаемые людьми только приготовленными к тому воспитанием, чтением, обществом или особенною восприимчивостью души. Никакие объяснения критики не настроят ума и сердца к постижению и ощущению самых верных, самых неподдельных, живых и светлых красот, являющихся в тонких и легких очертаниях, в свободных и грациозных движениях, в сочетании звуков и слов, сладостно и трепетно прикасающихся к утонченному слуху, если читатель природою или тщательным воспитанием не возведен на одну высоту с поэтом. Итак, не удивительно, что Жуковский, как поэт и как писатель, произведениями своими вполне действовал только на круг людей, так сказать, избранных. Для приятного занятия читателей, ищущих в книге развлечения, отдыха, иногда и средства незаметно провести время, он не оставил ничего. Но успехам искусства, обогащению литературы, внушению чистых, высоких и назидательных идей, развитию и окончательному совершенствованию языка он способствовал едва ли не более всех русских писателей.

III

Жуковский целую жизнь посвятил трудам умственным. Отдавшись им с первой молодости, он до последнего дня своего считал их главным своим призванием. Им назначал он лучшую часть дня, т. е. утро, и потому никогда не вставал от сна позже пяти часов, как бы поздно ни ложился, иногда принуждаемый к тому какими-нибудь особенными обстоятельствами. Этот недостаток сна, необходимого для здоровья, он старался вознаградить перед обедом, когда сон не тяжел и безвреден. Рукописи его, как у всех лучших писателей, сохраняют следы глубокого внимания и самой строгой отделки, что видно и в рукописях Пушкина. Одна посредственность довольствуется первым выражением, первым словом, попавшимся под перо. Что в теории называют следами быстрого вдохновения, то на практике оказывается неумолимостью вкуса и непреклонностью воли гениального ума. Любовь к искусству, как и всякая страсть, жертвует всеми своими силами для достижения цели. Каким привыкли мы видеть Жуковского в его стихах, таков он был и в отношении ко всему, окружавшему его в кабинете. Безвкусия или беспорядка он не мог видеть перед собою. У него все приготовляемо было с определенною целью, всему назначалось место, на всем выказывалась отделка. Чистые тетради, перья, карандаши, картоны, книги в приятном размещении ожидали руки его. Огромный высокий стол, у которого работал он стоя, уставлен был со всевозможными прихотями для авторского занятия. Куда бы он ни переселялся, даже на несколько недель, первою его заботою было устроение такого стола. Самую большую и удобнейшую из своих комнат он всегда выбирал для кабинета, который особенно любил украшать бюстами.

Люди, отличавшиеся какими бы то ни было талантами, даже только резкими особенностями ума, составляли любимое его общество, когда он был свободен. Но утро, как драгоценность, он охранял для своих трудов. В дружеском собрании вечером, когда душа поэта ничем не была тревожима, он являлся по большей части веселым и шутливым. Забавные рассказы, сам ли он предавался им или слушал других, долго и живо могли занимать его. Сколько верен был он своему призванию в уединенные часы занятий, столько же казался непохожим на самого себя в дружеском развлечении. Но так как размышление и опыты жизни, рано или поздно, оказывают свое действие, то и в характере поэта постепенно являлось возобладание той мудрости,

которая положила такой чистый венец на последние его годы. Пушкин говаривал: «Один глупец ни в чем не переменяется». Спокойное, даже строгое воззрение на жизнь в эпоху зрелости ума не есть утрата душевных сил, изумлявших нас в юноше, а естественное возвышение его духа.

IV

Жизнь Жуковского не представляет заманчивого разнообразия, которое особенно нравится в рассказах об исторических лицах. Она сосредоточена была в тишине кабинета на трудах мысли и вдохновения. Наибольшую часть ее поэт провел бессемейно. Только детство и старость его озарены были теми радостями, которые животворят нас в милом родном кругу. Он родился 29 января 1784 года* в селе Мишенском, в трех верстах от Белева, уездного города Тульской губернии. Многочисленная семья, посреди которой он явился на свет, богата была детьми и до него, но все девочками. По этому случаю он с рождения сделался общим любимцем. К счастью, природа наделила его такими прекрасными качествами, что излишняя нежность родителей и всего семейного круга не только не избаловала его, но быстрее развила в нем добрые наклонности и замечательные способности. Черты и выражение лица его, рост и вся вообще наружность не напрасно заставляли ожидать от мальчика чего-то необыкновенного. Самые первые наклонности его предсказывали в нем будущее развитие вкуса и таланта. Если бы с первых лет начали постоянно занимать его рисованием или музыкою, без сомнения, на каждом поприще он достигнул бы высокого совершенства: так в нем было сильно чувство изящного.

В раннем еще детстве Жуковский лишился своего отца. Он остался на попечении матери. Сестры были гораздо старше его, так что дочери их сделались его совоспитанницами. Эти семейные обстоятельства подействовали, во-первых, на образование души его, которая всегда отличалась нежностью, благородством, набожностью и каким-то рыцарством, во-вторых, на укрепление самой чистой любви и дружбы между ним и его племянницами. В родственном их союзе было что-то более знаменательное, нежели обыкновенно представляется у других, оттого ли, что развившийся талант

---

* Это показание основано на словах одного собственноручного письма Жуковского.— *П. П.*— В других случаях, однако ж, сам Жуковский относил день своего рождения к 1783 году, что подтверждается и другими достоверными сведениями.— *Я. Г.*

уже отражался на окружающих его, или природа прекрасно образовала каждое из них существо.

Первые опыты собственно называемого учения не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призвания. Из него хотели сделать математика, а он все оставлял для поэзии. Страсть к сочинениям театральным обыкновенно прежде всего раскрывается в детях с живым воображением. Она овладела и Жуковским, лишь только поместили его в тульское народное училище. Ревностный к должности своей учитель, Феофилакт Гаврилович Покровский, выведен был из терпения невнимательным учеником и решился, в назидание товарищам Жуковского, исключить его из училища. Это происходило в 1796 году. Для спасения чести любимца своего родные записали будущего поэта в Рязанский пехотный полк, квартировавший тогда в Кексгольме. Надобно между тем заметить, что, по старинному обыкновению, Жуковский на втором году после рождения своего уже записан был в Астраханский гусарский полк сержантом, а в 1789 году произведен в прапорщики и даже принят (разумеется, на бумаге) в штат генерал-поручика Кречетникова младшим адъютантом; но через три месяца уволен по прошению от службы без награждения чином. Выбор нынешнего нового пути, не совсем понятный для нас, изъясняется тем, что между знакомыми родных Жуковского в Туле жил в постоянном отпуску майор Рязанского полка Дмитрий Гаврилович Посников, который вызвался устроить судьбу мальчика. Его одели в мундир и отправили в Петербург для дальнейшего следования по назначению. Здесь, в Зимнем дворце, поэта ожидало впечатление, о котором любил он рассказывать, удержав его навсегда в памяти. По случаю большого выхода ему достали местечко на хорах[1], откуда в первый и в последний раз на веку своем удалось ему видеть императрицу Екатерину II*. Кто знает, не переносился ли он своею мыслью к этой минуте, когда говорил перед кончиною, изображая себя в виде Лебедя:

Но не сетуй, старец, пращур лебединый:
Ты родился в славный век Екатерины.

---

* Это сведение не точно. Из одного письма Жуковского известно, что он видел императрицу на празднике Потемкина в Таврическом дворце. (Р. Архив, 1866, стр. 1075).— *Я. Г.*

V

Между тем восьмое ноября изменило положение всех малолетних дворян в России, считавшихся в военной службе[1]. Жуковский снова очутился в Туле, где пробыл только до начала 1797 года. В январе родные его отправились с ним в Москву, чтобы остаться там до коронации нового императора. Благородный пансион Московского университета избран был местом окончательного образования и воспитания Жуковского. Основанный в 1770 году кураторами Мелиссино и Херасковым, пансион сделался рассадником замечательных людей в России. При поступлении туда Жуковского главным лицом в пансионе был известный педагог и профессор А. А. Прокопович-Антонский. Между товарищами своими по воспитанию поэт встретил тех избранных по уму и сердцу, которые до конца жизни его остались его друзьями. Все здесь способствовало к развитию счастливых дарований. По истечении годичного курса наук ученики обязаны были сами достойнейших из своего круга избрать в почетные директоры неклассных своих занятий и увеселений. В присутствии кураторов и ближайшего начальства своего они подносили избранным товарищам лавровые венки и давали обещание следовать охотно их распоряжениям. Жуковский, пробыв менее двух лет в пансионе, удостоен был этого отличия. Празднество, совершавшееся 14 ноября 1798 года по случаю освящения новопостроенного при пансионе каменного флигеля, происходило в присутствии куратора М. М. Хераскова. Таким образом, один поэт благословил другого на служение высокой поэзии и чистой добродетели.

Начало литературных успехов Жуковского надобно отнести ко времени пребывания его в пансионе. Известно, что с 1782 года при Московском университете существовало так называвшееся «собрание университетских питомцев». В свободные часы от должностных занятий студенты сходились для чтения литературных своих опытов. В особом журнале было печатаемо лучшее. Подобное общество образовалось и в пансионе, под названием «Собрания благородных воспитанников университетского пансиона». Так как начальство пансиона почитало самыми верными успехами воспитанников только извлекаемые из свободной их деятельности, наблюдая за нею внимательно, но со стороны, то и дозволено было молодым любителям словесности, по их собственным соображениям, приготовить самим начертание устава общества. Товарищи избрали Жуковского

в редакторы устава. Последствия этой юношеской забавы оказались самыми замечательными для русской литературы. Она с первого года текущего столетия начала принимать в свои произведения лучшие краски, лучшее направление, тон и формы языка. Известнейшие действователи на поприще литературы нашей образовались в этой школе, так что Москва не без основания приписывает себе развитие новых начал в умственном и эстетическом образовании отечества.

VI

В пансионе Жуковский оставался до октября 1800 года. Тогда куратором был И. П. Тургенев, отец молодых Тургеневых, учившихся в пансионе вместе с нашим поэтом, который приобрел не только дружбу сыновей, но и родительскую нежность их отца. В доме бывшего начальника своего Тургенева Жуковский встретился с Карамзиным и Дмитриевым, с этими писателями, которые сделались для него образцами вкуса. Они уже тогда почувствовали, чем может со временем явиться этот молодой человек, только что вышедший из детства. Карамзин такое находил удовольствие в его обществе, что после кончины первой жены своей пригласил Жуковского на целое лето с собою в Свирлово, и таким образом утвердилась между ними привязанность, основанная на взаимном уважении. В последствии времени Карамзин же положил основание нежной дружбе между Жуковским и князем П. А. Вяземским, не изменявшейся в продолжение всей их жизни.

Несмотря на несомненное призвание свое к занятиям литературным, Жуковский не уклонился от общего служебного пути и получил место в Москве же в Главной Соляной конторе, где состоял до апреля 1802 года, дослужившись тут до чина титулярного советника. Вышедши в отставку, он покинул самую Москву. Его влекло к себе Мишенское со всеми воспоминаниями его детства. Там еще жили родные его, у которых он, и в пансионе бывши, проводил свои вакации каждое лето. Замечательно, что первые стихи, написанные им по прибытии в деревню, вдруг поставили его в разряд лучших поэтов русских. Это было «Сельское Кладбище», напечатанное в «Вестнике Европы», начавшемся тоже в 1802 году, под редакцией Карамзина, который на другой год, говоря о Богдановиче и его «Душеньке», так точно приводил в разборе своем один стих из элегии Жуковского, как бы это было всем известное место из Ломоносова или Державина. В Мишенском и Белеве написаны

были и другие его стихотворения, оконченные прежде 1808 года. В первом из этих мест оставалось семейство сестры его В. А. Юшковой, бывшей крестною его матерью, которой дочь, А. П. Зонтаг, сама приобрела известность в нашей литературе прекрасными сочинениями для образования детей, во втором же месте поселилась другая сестра его К. А. Протасова[2]. Одной из дочерей ее, бывшей в последствии времени в замужестве за известным стихотворцем нашим А. Ф. Воейковым[3], посвящены: первая часть «Двенадцати спящих дев» и «Светлана». Там некогда бывал у него Батюшков. Эти два таланта, яркие и современные, связаны были самою искреннею дружбою. Лучший брат не мог более принять на себя попечений, какие оказал Жуковский в начале болезни, которая до сих пор не покидает несчастного друга его*. В одном из грациозных посланий своих Батюшков, прощаясь, говорит Жуковскому:

Прости, балладник мой,
Белева мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель.
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая;
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных:
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!

В Белеве, на берегу Оки, Жуковский построил дом матери своей, где она провела тихую свою старость и скончалась в 1811 году.

В первые годы литературной жизни поэт наш нередко бывал в необходимости трудиться из платы над переводами в прозе, как человек недостаточный. Он умел, однако же, примирять нужду с потребностью таланта. Этой разборчи-

* Это писано в 1852 году; Батюшков умер в 1854 в Вологде.— *Я. Г.*

вости вкуса мы обязаны переводом «Дон Кихота», напечатанным в первый раз в 1805 году, а во второй в 1815. Он воспользовался трудом Флориана, автора, столь уважавшегося в его время. Как ни странно теперь думать, что первоклассный поэт руководствуется второстепенным кудреватым писателем, при всем том истинное дарование вывело переводчика на прямую дорогу, и в книге его до сих пор много достоинств неотъемлемых. Говоря о первых переводах Жуковского в прозе, кстати упомянуть здесь об одном из них, неизвестном для многих, тем более что это обстоятельство относится к 1801 году. Вот в каких забавных выражениях сам Жуковский, незадолго до своей кончины, сообщил о том в одном письме. «Некогда в Москве обанкрутившийся Зеленников трактовал меня преобидно. Для него я перевел за 75 рублей «Мальчика у ручья». Эту сумму он выплачивал мне по 5 р., по 7 р. с полтиною и т. д.». И это сочинение (Коцебу) в то время принадлежало автору, любимому современным обществом. Русский перевод печатался тоже два раза (во второй раз в 1819 г.).

Карамзин два года издавал «Вестник Европы». Он передал его Панкратию Сумарокову, едва год выдержавшему труды редакции, которая перешла тогда к известному профессору Каченовскому. От него-то с 1808 года Жуковский принял «Вестник Европы» в свое заведывание. Он возвратил изданию ту жизнь и занимательность, которыми оно всех привлекало к себе при его основателе. Перебирая этот журнал, убеждаешься, что он был действительный посредник между читателями и своею эпохой. В нем ничто не забыто, ничто не упущено. Как драгоценная летопись современности, «Вестник» указывает на все явления истории, литературы и общественной жизни. Конечно, лучшим украшением журнала были собственные сочинения и переводы редактора. Но он, как талант, как законный судия в деле и как образцовый писатель, не бесплодно употреблял свои способы, чтобы произведениям других придать правильность, точность и силу выражения, без которых нет физиономии ни в стихах, ни в прозе. Журнал тогда не был складочным местом дюжинных романов. Он обогащал ум читателя указаниями, а не губил его времени. Если мы встречаем в журнале Жуковского так называемое «чтение легкое», необходимое для известного круга людей, оно никого не отводило от главной цели издания, очищая вкус и нравы. Это были по большей части собственные его переводы небольших повестей, выбранных с таким умом, что их чтение до сих пор может служить лучшею школою образова-

ния. Жуковский, взявши на себя редакцию журнала, принужден был снова переселиться в Москву. Дом бывшего наставника его, А. А. Прокоповича-Антонского, служил ему родным приютом. Но для облегчения трудов по редакции, особенно в летние месяцы, когда Белев и Мишенское так приятно рисовались в его воображении, с 1809 года он принял к себе в сотрудничество опять М. Т. Каченовского, что продолжалось и в 1810 году, т. е до прекращения Жуковским журнальной деятельности. Как ни краток был период прямых сношений его с публикою, он доставил поэту твердое и блестящее положение в общем мнении. Карамзин и другие лица, умом своим и образом мыслей составлявшие венец избранного общества, признали в молодом человеке лучшую надежду русской литературы.

VII

Освободившись от срочной работы, вообще неприятной для человека с высшими понятиями о литературных занятиях, Жуковский начал жить только для поэзии. С его именем соединялось в тогдашнем молодом поколении предчувствие какого-то рассвета. Стихи его быстро переходили из рук в руки и являлись часто в печати там, куда автор еще не показывался. Так, в 1807 году в Петербурге издано было особою брошюрою стихотворение его «Песнь Барда над гробом Славян-победителей». Теперь, когда скончалась мать его, он поселился в Муратове (Орловской губ., Болховского уезда), деревне сестры своей, К. А. Протасовой, переехавшей туда из Белева с семейством. Сельская жизнь постоянно влекла его к тихим своим удовольствиям. От полноты души высказался он, когда написал (1805):

Мне рок судил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной,
        И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
        Часы сей жизни скоротечной;
Кто в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает,
И солнце, восходя, по рощам голубым
        Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,

В дубраве упредить пернатых пробужденье,
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел...

Ничего очаровательнее представить нельзя, когда вообразишь эту эпоху его. Общественной жизни он узнал столько, чтобы не сделаться мизантропом и не сожалеть о ней. Славы на его долю досталось более, нежели он мог желать по исключительной своей склонности к простоте и тихим семейным радостям. Он окружен был обществом людей, которые любили его искренно и наслаждались его счастием как собственным. Равная их образованность и одинаковый вкус искали сходных занятий и удовольствий. Там-то изучен был Шиллер — и, может быть, еще нигде не оказывалось столько поклонения его гению. Жуковскому исполнилось двадцать шесть лет. И в обыкновенном человеке эта пора развивает благороднейшие и нежнейшие сочувствия. Что же должно было, при столь благоприятных обстоятельствах, развиться в душе поэта? Он полон был вдохновения, счастья и высокой, необыкновенной любви [4]. Ощущения свои, столь же чистые, как и живые, столь же сильные, как и возвышенные, он изобразил тогда преимущественно в «Послании к Батюшкову» и в первой части «Двенадцати спящих дев». Но еще не верное представление образовалось бы о полной картине жизни Жуковского в деревне, если бы не было упомянуто здесь, что к семейству, посреди которого он жил, дружба и уважение привлекали из соседства много других лиц, которые умели делить благородные забавы ума. Так, например, семейство А. А. Плещеева содействовало к разнообразию их общих удовольствий. Музыка, театр и чтение драматических писателей столько же были по вкусу всех, сколько все показывали в них успехов. Особенно сам А. А. Плещеев неподражаемо действовал как дилетант, как артист и как декламатор.

Давно занимался Жуковский составлением сборника, который бы можно было назвать соединением всего лучшего в русской поэзии. Наподобие греческой антологии, такие сборники задолго до него известны были в литературах немецкой, французской и английской. Они предназначаются в пособие исторической и теоретической части литературы. Взявши из каждого поэта, который по таланту своему достоин изучения, одно замечательнейшее или то, что составляет цвет его поэзии, составитель антологии определяет, кого надобно почитать принадлежащим истории и чем он

останется памятен на ее страницах. В то же время избранные стихотворения, если только соблюдено будет предыдущее условие, непременно составят подтверждение правил науки и представят образцы, как исполнять требования теории. Отсюда следует, что за издание подобной книги только и может взяться истинный талант, классический писатель, знаток всего, что совершалось в истории словесности. Никто не усомнится, что у Жуковского все были права на это предприятие. Но самая его идея так еще была тогда нова в нашем отечестве, что Державин, как известно из частной переписки, восставал против сборника Жуковского, находя в исполнении покушение на права собственности. Красноречиво и со всею юридическою логикою отвечал ему А. И. Тургенев [5]. Сборник не был остановлен и начал с 1810 года являться в свет. Он называется: «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов». В последствии времени явилось множество таких сборников. Но так как у подражателей, лишенных дарования и знаний, самый лучший пример обращается в повод к предприятиям бесплодным и даже смешным, то и не удивительно, что размножение их охладило к ним общее внимание.

VIII

В июле 1812 года обнародован был высочайший манифест о составлении военной силы. Сердце поэта встрепенулось. Он в следующем же месяце поступил в московское ополчение в чине поручика. Постоянно находясь при дежурстве главнокомандующего армиями князя Кутузова-Смоленского, Жуковский уже в ноябре того же года, за отличие в сражениях, награжден был чином штабс-капитана и орденом св. Анны 2-й степени. Он сопровождал главную квартиру до Вильно, где занемог опасною горячкою и в состоянии беспамятства был там оставлен с другими больными. В декабре 1812 года ополчение было распущено, и он получил увольнение от московской военной силы. Изнуренный усталостью и еще невыздоровевший, он возвратился к своим в Муратово. Но этот короткий период его жизни внес в историю такое бессмертное дело, о котором никогда не забудет Россия. После отдачи Москвы неприятелю, перед сражением при Тарутине, Жуковский написал стихотворение: «Певец в стане русских воинов». Впечатление, произведенное им не только на войско, но и на всю Россию, неизобразимо. Это был воинственный восторг, обнявший сердца всех.

Каждый стих повторяем был как заветное слово. Подвиги, изображенные в стихотворении, имена, внесенные в эту летопись бессмертных, сияли чудным светом. Поэт умел избрать лучший момент из славных дел всякого героя и выразил его лучшим словом: нельзя забыть ни того, ни другого. Эпоха была беспримерная — и певец явился достойным ее. Вот что после сказал он сам о ней:

На лиру с гордостью подъемлет взор певец...
О дивный век, когда певец Царя — не льстец,
Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, мир, отечество, алтарь,
Все, все слилось в одно святое слово: Царь!

Может быть, патриотический энтузиазм никогда и нигде не доходил до такой силы и всеобщности, как у нас в Отечественную войну. В один год «Певца» вышло два издания. Итак, не удивительно, что сочувствие к энтузиазму поэта повсеместно выразилось в высшей степени. Императрица Мария Феодоровна, прочитав это стихотворение Жуковского, поднесенное государыне И. И. Дмитриевым, приказала просить автора, чтобы он доставил ее величеству экземпляр стихов, собственною рукою его переписанный, и приглашала его в Петербург. Не чувствуя себя еще в силах на поездку, он отправил требуемый экземпляр, прибавивши новое стихотворение, начинающееся словами:

Мой слабый дар Царица ободряет...

Только в 1815 году Жуковский наконец прибыл сюда. Немедленно удостоенный самого милостивого приема у государыни, он тут же получил назначение быть у нее чтецом. Павловск тогда сделался средоточием лучших писателей наших: Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский, Гнедич и Жуковский являлись на вечерних беседах августейшей покровительницы отечественных талантов.

IX

С этой поры все, окружавшее поэта, было для него ново: неизменными остались его вдохновение, любовь к поэзии, и чистое, природою для простоты взлелеянное сердце. Друзья сладостной сельской жизни его также покинули Муратово. К. А. Протасова переехала в Дерпт, куда А. Ф. Воейков назначен был профессором русской словесности в университете. Старшая дочь ее, Марья Андреев-

на, вышла замуж за профессора Мойера. Там она и скончалась в 1823 году. Это было существо неземное. Воспоминание о ней всю жизнь наполняло душу поэта чем-то небесным. Жуковский в Петербурге сперва жил у Д. Н. (графа) Блудова, которого дружба с детских лет не покидала его до кончины. А. А. Плещеев, овдовев, переехал с детьми сюда же. С ним и поэт устроил общую себе квартиру, возложив на него холостое хозяйство свое и потому в шутку называя его своей женою. Они поселились у Кашина моста за каналом в угловом доме. Сюда по субботам собирался на вечер к Жуковскому избранный кружок тогдашних писателей и любителей просвещения. Было что-то редкое в этом братстве и общении лучших талантов и лучших умов столицы. Разговор, естественно, склонялся на то, чем преимущественно занимались гости. Совершенствование произведений ума и вкуса столько же у всех было на сердце, как слава и благосостояние отечества. Писатели, уже пользовавшиеся общим уважением, и молодые люди, едва выступившие на свое поприще, но увенчанные надеждою, все с одинаковою откровенностью высказывали мысли свои, потому что равно любили искусство и искали только истины. Так называвшееся «Арзамасское» общество, в котором из-под шуточных форм юношеской причудливости много блеску, остроумия и свежести сообщилось русской литературе, видимо продолжало существование свое на вечерах Жуковского. Главнейшие подвижники идеи прекрасного и здесь были те же. Они только возмужали в суждениях и серьезно принялись за дело. Еще до отъезда Батюшкова в Италию тут же явился Пушкин с первыми песнями «Руслана и Людмилы». Каждую субботу приносил он новую песнь. Сколько предметов открывалось для тонких замечаний и дружеских, но тем не менее строгих суждений!

В течение 1816 года Жуковский привел к окончанию первое издание стихотворений своих, написанных в разное время. Они явились в двух томах и приняты были всеми с восхищением. В России никогда молодое поколение не увлекалось с такою пламенною любовью за образцом своим, как это ощутительно было в описываемую эпоху. Только и разговаривали о стихах Жуковского, только их и повторяли друг другу наизусть. Это можно сравнить разве с энтузиазмом к Гете в Германии. Когда министр народного просвещения и духовных дел, князь А. Н. Голицын, представил императору Александру Павловичу экземпляр этих стихотворений, государь выразил автору совер-

шенное свое удовольствие, пожаловавши ему брильянтовый перстень с вензелевым своим изображением в 4.000 руб. ежегодного пожизненного пансиона. Царские милости встретили в душе автора такой отзыв, который достоин известности. Он до сих пор тайно сохранялся в одном частном письме его из Дерпта. «Пансион, который дал мне Государь (говорит он другу, вызывавшему его оттуда в Москву), который я считаю наградою за добрую надежду, налагает на меня обязанность трудиться, дорожить временем и успокоить совесть свою, написав что-нибудь важное. Слава достойная есть для меня теперь то же, что благодарность. Чтобы работать порядком, надобно сидеть на месте; а чтобы написать что-нибудь важное, надобно собрать для этого материалы. У меня сделан план: он требует множества материалов исторических. Того, откуда я их почерпнуть должен, с собою взять не могу — а время между тем летит. Что, если оно улетит и умчит с собою возможность что-нибудь сделать? Я столько потерял времени, что теперь каждая минута кажется важною. Вся моя протекшая жизнь есть не иное что, как жертва мечтам — жалкая жертва! и боюсь, не потерял ли я уже возможности пользоваться настоящим. Мне нельзя перетащить с собою всех своих книг; а большая часть их будет мне нужна, если не для чтения, то для справок. Сверх того, я беру здесь лекцию, именно для моего плана весьма важную. Она продолжится от февраля до конца мая и должна облегчить мне большой труд. Одним словом, в нынешнем и будущем году я должен написать что-нибудь важное: без этого душа не будет на месте. Я не должен обмануть надежды царской».

X

Между тем, как Жуковский с такою строгостью судил себя и готовился к новому поэтическому труду с такою добросовестностью, судьбе угодно было послать неожиданный оборот кабинетным его занятиям. Ему было суждено соединить с живою поэзиею тихую педагогию. Он избран был для преподавания уроков русского языка государыне великой княгине, ныне императрице Александре Феодоровне. Ничего нет назидательнее, как созерцание и изучение жизни великого человека, особенно во время переходов его с одного поприща на другое, когда он должен не только показать новые силы ума, но и быстро усвоить новые способы занятий. В этих-то случаях Жуковский и пред-

ставляет собою образец, достойный подражания. С удивительным спокойствием и терпением он принялся за обрабатывание грамматики русского языка и особенно за исследование глаголов его, этой загадки, до сих пор вполне неразгаданной. Жуковский чувствовал, что надобно собственным взглядом и собственными соображениями переселить науку в душу свою, когда приходится в ее лабиринт вводить другое лицо. Чужая система, как бы хороша ни была она, не срастается органически с нашими суждениями. Слова, приготовленные для нас чужим умом, как-то неубедительны в устах наших. Им следует выработаться в нашей душе и звучать силою собственного убеждения нашего. Он ревностно обработал каждую часть русской грамматики и так облегчил спряжения, что ему самому весело было с любопытствующими рассматривать узоры этих иероглифов. Об одном нельзя не пожалеть: Жуковский в продолжение следующих годов жизни много составил руководств и пособий по разным наукам, а ничего не издал для общего употребления. Сперва удерживался он естественною скромностью, а наконец продолжительная разлука с друзьями и отечеством не допустили его до исполнения мысли, которую он лелеял и о которой беспрестанно говорил в своих письмах. «Чтобы обратиться к моим педагогическим занятиям (которые не без поэзии), писал он в последнее время, я желал бы составить полный курс домашнего, систематического учения, составить его так, чтобы он мог пригодиться и в других семействах, чтобы отцы и матери могли им пользоваться, не прибегая к помощи наемников. Но удастся ли это? Глаза служат плохо; работать долго стоя, как я привык прежде, уже не могу: ноги устают; сидя работать также долго не могу: кровь бежит в голову. И как нарочно, думая, что в 1848 году отправлюсь в Россию, я все свои педагогические работы отослал вместе с нужными книгами в Петербург. Надобно начинать снова; время не терпит. А когда буду на месте — как узнать? Еще не знаю, *где будет мое место!*» В другом письме об этом же предмете он говорит: «Я не намерен печатать ничего в прозе, кроме разве моих грамматических таблиц, моей живописной азбуки, моей живописной священной истории, моей мнемонической арифметики и моего исторического атласа древней истории, который постараюсь привести к окончанию до моего отъезда из Бадена». Еще замечательнее то красноречие, с которым защищал он свою педагогию, когда вызывали его от нее к поэзии. «Не горюйте (отвечает он в од-

ном письме), что я, отложив поэзию, принялся за детскую азбуку. В этом занятии глубокая жизнь. Первое воспитание, первые понятия детей принадлежат, как святейшее, не разделимое ни с кем сокровище, отцу и матери. Кому можем мы уступить эту прелесть первого знакомства с первыми проявлениями душевной и мысленной жизни нашего младенца? Что сильнее может утвердить союз сердец между родителями и детьми, как не этот *совокупный* вход, *одних обратно,* в детские их лета, воскресающие перед ними в младенчестве их детей, а *других вперед,* на первый, свежий, только начинающий расцветать луг их лучших лет, рука в руку с отцом и матерью, которые одни могут с ними играть на этом лугу, забывая свои зрелые или старые лета?» Далее он прибавляет: «Нет, мой милый! это педагогическое занятие не есть просто механическое преподавание азбуки и механический счет — это педагогическая поэма, в которую все входит и которой никто не может сочинить с таким единством, как сам отец, если только он имеет к тому призвание». Уже по этим отрывкам можно судить, как он был способен увлечься новым трудом, совсем на новом поприще, и сколько в глубокой душе его лежало умственных сокровищ!

XI

Как ни строго исполнял Жуковский свои обязанности в новой должности, поэтически деятельная мысль его изобрела средство слить в одно занятие поэзию и языкоучение. Августейшая слушательница уроков его помнила наизусть лучшие небольшие стихотворения из первоклассных немецких поэтов. Преподаватель русского языка, одаренный необыкновенным талантом воссозидать всякое произведение поэзии на языке отечественном, не изменяя не только идей и красот его, но сохраняя даже в каждом стихе число и порядок его слов, начал переводить эти перлы поэзии. Можно вообразить всю занимательность и прелесть преподавания, когда основанием урока служило чтение восхитительных стихов на двух языках; когда одни и те же мысли, рассказы, описания, картины незаметно печатлелись в уме, обогащая память не звуками без образов, а проникающими в душу словами, из которых при каждом по-русски оставалось все то, что так было неразлучно при нем же по-немецки. В этом счастливом настроении ума не трудно уже было дополнять его приобретения указаниями на таблицы склонений и спряжений. Можно поэтому сказать,

что вернее Жуковского никому не удавалось приводить в исполнение знаменитое Горациево правило: *приятное с полезным.* Переводы для особого назначения, вылившиеся из-под пера поэта, он хранил как что-то освященное и потому напечатал их в самом небольшом числе экземпляров. Они выходили тетрадками в 12-ю долю листа на прекрасной бумаге с белою оберткою, где стояла на двух языках надпись: «Для немногих». В продаже никогда их не было. Их получили от автора некоторые особы, дорогие для его сердца.

Вторая часть «Двенадцати спящих дев» кончена в 1817 году. Автор напечатал всю балладу отдельно, прибавив, кроме посвящения «Вадима» Д. Н. Блудову, стихи, которые написал перед своим «Фаустом» Гете, когда кончил «Елену». Жуковский воспользовался тем обстоятельством, что между началом и окончанием баллады его также очутился значительный промежуток времени, как и у Гете при сочинении знаменитой драмы. Конечно, никто не прочтет без умиления этих очаровательных строк по-русски. В них есть места пленительнее самого подлинника. Баллада же останется в литературе нашей самым живым, самым верным отголоском прекрасной души поэта, когда все лучшие двигатели вдохновения: молодость, любовь, чистота, набожность и сила совокупно в ней действовали.

Как писатель в прозе, Жуковский занимает в нашей литературе одно из самых первых мест. По своему призванию отдавшись вполне стихотворству, не много успел он обработать прозаических сочинений; но и они показали в нем законодателя прекрасного русского языка и светлого мыслителя. Пушкин, говоря о критических его сочинениях, признавал в нем лучшего по этой части писателя в России. Особенно драгоценны для нас, как образцы повествований, его переводы повестей, помещенные им в «Вестнике Европы». Никто живее его не умел чувствовать и вернее передавать красот местности, разнообразия характеров, оттенков народности и других принадлежностей, которыми талант возвышает над обыкновенными явлениями каждое свое создание. Итак, не удивительно, что переводы и сочинения Жуковского в прозе начали являться в отдельных изданиях. Первые напечатаны в 1816—1817 г., а вторые в 1818, в Москве. Здесь в Петербурге готовили между тем второе издание его «Стихотворений», которое тоже в 1818 году вышло в трех уже томах.

Успехи Жуковского в литературном мире привлекли

к нему внимание разных ученых обществ, которые, одно перед другим, спешили внести имя его в свои летописи, как имя члена своего. Так, например, в 1816 году это было в Дерптском университете, в 1818 в Российской академии, в 1829 в Санкт-Петербургском университете, и проч.

XII

Как ни приятною казалась жизнь поэта, посвященная прекрасным трудам, которые увенчиваемы были повсеместными успехами, однако же судьба умела приготовить ему еще лучшие удовольствия. Наступил 1821 год — и Жуковский, в числе особ, сопровождавших великого князя, ныне благополучно царствующего императора, и августейшую супругу его, отправился за границу. Не суетные развлечения питали душу поэта: прекрасная природа повеяла на него плодотворным вдохновением. Никогда поэтическая деятельность его не являлась столь производительною, как в продолжение этой поездки. Он успел в один год, не считая мелких стихотворений, подарить русской литературе три поэмы. Вот их заглавия: «Орлеанская дева» Шиллера, «Пери и Ангел» Мура и «Шильйонский узник» Байрона. Равные по своим поэтическим красотам, они представляют удивительное разнообразие по самому характеру поэтов и по содержанию стихотворений. Такое приобретение разветвило направление и нашей поэзии. Мы особенно почувствовали успехи в языке нашем и в искусстве с появлением «Орлеанской девы», соединяющей в себе все тоны поэзии и все очарование драмы, развитой свободно и так счастливо примиряющей историю с поэзиею. Великолепные празднества, приготовленные в Берлине в честь августейших гостей, равно вдохновляли поэта. «Лалла-Рук» Мура навела берлинский Двор на мысль устроить чудный маскарад в восточном вкусе. Представление героини поэмы удостоила принять на себя государыня великая княгиня. Стихи Жуковского, изображающие Лалла-Рук, восхитительны:

Мнил я быть в обетованной
  Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный,
  Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
  Праздник розы и весны,
И пришелицу встречали
  Из далекой стороны.

И блистая, и пленяя —
Словно ангел неземной, —
Непорочность молодая
Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
Отенял ее черты,
И застенчиво склоняла
Взор умильный с высоты.

Все — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной —
Все в ней было без искусства
Неописанной красой.

Но когда он описывает ее как олицетворение самой поэзии, какой-то обаятельный трепет чувствуется в сердце.

Так пролетела здесь, блистая
Востока пламенным венцом,
Богиня песней молодая
На паланкине золотом.

Как свежей утренней порою,
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты.

И нам с своей улыбкой ясной,
В своей веселости младой,
Она казалася прекрасной,
Всеобновляющей весной.

Сама гармония святая —
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

При ней все наши мысли — пенье!
И каждый звук ее речей,
Улыбка уст, лица движенье,
Дыханье, взгляд — все песня в ней.

Из одного места в письме Жуковского к другу* ближе и точнее можно узнать, какими удовольствиями пользовался он во время пребывания своего за границей. «Самая лучшая эпоха жизни моей после разлуки с вами (говорит он) есть 1821 год. Я постранствовал по Европе: провел веселые полгода в Берлине; потом видел часть Германии, прелестный Дрезден с его живописными окрестностями; обошел пешком Швейцарию; прошел через Сен-Готар в Италию; был в Милане; плавал по Lago Maggiore; любовался Боромейскими островами; через Симплон и Валлис прошел к подошве; видел великолепие и прелесть природы на берегах восхитительных швейцарских озер; плавал по Рейну; любовался его великолепным водопадом, его замками, его богатыми виноградниками — и все это оставило на душе то волнение, какое оставляет быстрый сон, исчезающий в минуту удовлетворения. Не описываю вам подробностей — может быть, вы будете иметь их печатные. Путешествие сделало меня и рисовщиком: я нарисовал au trait ** около 80 видов, которые сам выгравировал также au trait. Чтобы дать вам понятие о моем искусстве, посылаю мои гравюры павловских видов. Также будут сделаны и швейцарские; только при них будет описание».

XIII

По возвращении в Петербург Жуковский поселился ближе к Аничкину дворцу, сперва в Итальянской улице, где ныне Михайловская площадь, а потом на Невском, прямо против Дворца. Там и здесь собственные комнаты его были в квартире семейства А. Ф. Воейкова, который в 1820 году перешел на службу сюда, оставив дерптскую кафедру. В это время у Жуковского не было определенного дня, в который бы собирались к нему друзья его. Зато он каждый день видел многих из них, навещавших его. Свободные вечера проводимы были по большей части у Карамзина, где, как в центре умственной деятельности, соединялись тогда представители высшей образованности и вкуса. В первом году по прибытии из-за границы Жуковский отдельно издал поэму «Шильйонский узник», приготовляя уже к печатанию все стихотворения свои третьим изданием, которое и явилось 1824 года.

---

* К своей племяннице Анне Петровне Зонтаг (дочери Варвары Афанасьевны Юшковой).— *Я. Г.*

** Здесь — штрихами *(фр.)*.

Посреди вседневных трудов своих, педагогических и литературных, он еще принужден был в этот период жизни бороться с напором тягчайших сердечных испытаний. В 1823 году суждено ему было видеть друга своего, поэта Батюшкова, в болезненном расстройстве души. Жуковский был готов на все решиться, чтобы лично содействовать избавлению страждущего от ужасного его положения. Нельзя представить ничего трогательнее слов Жуковского, которые сохранились в одном его письме в Николаев во время пребывания Батюшкова в Симферополе. «Хочу поручить вашему нежному попечению друга (писал он), которому друг и вы заочно, ибо знаете его душу. Говорю о нашем поэте Батюшкове. Он теперь находится в Симферополе. Не смею назвать его болезни помешательством: этого слова не хочется ни произносить, ни писать. Но его болезнь похожа на помешательство. Он сделался дик, отчуждился от всех друзей; подозрение овладело его душою; он уверен, что его окружают какие-то тайные враги, хотят лишить его чести и очернить пред правительством. Теперь слышу, что еще новое к этой мысли присоединилось: желание смерти. Болезнь такого рода, что требует нежной, осторожной и терпеливой попечительности. Но он один в Симферополе; об нем заботится находящийся там доктор Мюльгаузен, и сам губернатор П.* знает о нем и хлопочет. Отсюда скоро поедет к нему родственник Ш.** Подумайте, не можете ли вы что-нибудь сделать? Ему нужны осторожные попечения. Болезнь нравственная — более, нежели физическая. Не можете ли вы съездить в Симферополь, когда будет там Ш.? На месте легче знаешь, что нужнее всего сделать. Увидите сами, и можете решиться, чем принести пользу гибнувшему. Напишите в Симферополь (по получении этого письма), хотя к самому П., чтоб он уведомил вас, тут ли Ш., и съездите туда сами, если можно. Надобно или вытащить Батюшкова из Крыма, или вверить его надежному попечению. Вероятно, что вы получите это письмо тогда уже, когда Ш., или кто иной из родных будут уже с ним. Вам стоит только прямо списаться с П. Прошу вас уведомить меня, на что вы решитесь».

Сильнейшее испытание тогда же потрясло душу нашего поэта. Старшая дочь К. А. Протасовой, М. А. Мойер, скончалась в Дерпте. Со времени переселения своего в Петер-

---

* Николай Иванович Перовский. — *Я. Г.*

** Павел Алексеевич Шилипов, который был женат на старшей сестре Батюшкова, Елисавете Николаевне. Он был назначен опекуном больного. — *Я. Г.*

бург Жуковский там видел как бы новое для себя Мишенское. Ежегодно ездил он туда на поэтический отдых среди родных, столь милых его сердцу. Умершая была между ними существом незаменимым. Кто знал всю цену души ее, тот верно применит к этому идеальному созданию восхитительные стихи Жуковского, как бы в предчувствии теперешнего события за семь лет им написанные:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?
Без страха верь; обмана сердцу нет;
Сбылося все; я в стороне свиданья,
Я знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.

Друг! на земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят;
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Невозможно описать, до какой степени растерзана была душа его скорбью, когда он возвратился сюда, проводивши драгоценный прах до последнего земного жилища. Только тот может ясно представить его состояние, кто знал трогательную привязанность его ко всему, доносившему до него сладостный отзыв далеко отодвинувшегося детства и милых о нем воспоминаний. Все письма его к родным наполнены умилительным лепетом этой младенческой до старости души, отовсюду порывавшейся к первым ее друзьям, к первому ее счастью. В 1824 году, после известия, что у А. П. Зонтаг родилась дочь, Жуковский писал так: «Какая-то Немезида преследует меня. Я наказан небом за мою непростительную лень писать письма. Я точно писал к вам два раза по получении известия о вашей крошке — но вы не получали моих писем. Поделом мне: но за что же вам огорчение? Ибо вам, верно, весело было бы слышать поздравительный голос своего брата и друга. Итак, хотя поздно, поздравляю вас с вашим милым товарищем. Дай Бог, чтобы она долго, долго жила на вашу радость; чтобы пережила вас, но только тогда, когда вы уже будете довольны жизнью и сами захотите в другую сторону. Когда-то увидимся мы в здешней стороне — право, и надежды нет! Ваш прекрасный Крым как будто далекая мечта для меня. Хотелось бы

заглянуть в очарованный край — далек! далек! Хотелось бы взглянуть на вас, на моего представителя прежних, лучших лет — но нам суждено стареться розно. Когда увидимся, то заметим друг на друге, что долго были в разлуке. Перемены нравственной во мне на найдете — тот же дитя, житель уединения. Но теперешняя жизнь остановила меня на одном месте; я не переменился и не подвинулся вперед, следовательно, остался назади — а все прежнее исчезло...»

XIV

Переход к новой, священной обязанности, к новым, важнейшим занятиям стройно и твердо на одном предмете сосредоточил все помыслы, все заботы высоко-прекрасной души поэта. Императору Николаю Павловичу, по вступлении на престол, благоугодно было избрать его в наставники при воспитании великого князя наследника. Может быть, после добродетельного Фенелона[6] ни одно лицо не приступало к исполнению этой должности с таким страхом и благоговением, как Жуковский. Его воображение, ум и сердце, измеряя великость предстоящего подвига, уже заранее обнимали все его части, разлагали все в подробности, совокупляли в целое — и не было для них другой цели, кроме блага, чести и достоинства. Со времени поступления в преподаватели русской словесности при великой княгине он причислен был по службе к министерству народного просвещения и в 1823 году произведен сперва в коллежские асессоры, а после в надворные советники. Ныне государь, в награду ревностной службы Жуковского, изволил пожаловать ему орден св. Владимира 3-й степени. Некоторым образом можно заглянуть в душу поэта нашего и усмотреть, что в ней происходило, когда прочитаем следующие его строки из письма к одному другу: «Ваше письмо точно было голос с того света, а тем светом я называю нашу молодость, наше бывалое, счастливое *вместе*. Как давно не говорили мы друг с другом! Как давно мы розно! Неужели мы стали друг для друга чужие? Не я этот вопрос делаю! Я не могу его сделать себе на ваш счет, ибо не естественно прийти ему в голову: сердце не пропустит — сердце, в котором всегда, всегда живо братское к вам чувство и благодарность за ваше нежное товарищество в лучшие годы жизни, и дружба, которая никогда не переставала быть чувством настоящим и не принадлежащим одному воспоминанию. Но мы не пишем друг к другу — вот настоящая разлука! Мы не знаем, что с нами делается. Все, что нас окружает, чуждо

для каждого из нас. Чувствую это несчастье — и никак не умею помочь ему. Со всеми *моими* у меня одно! Сколько раз принимался начинать переписку — и все понапрасну! Я от этой болезни неизлечим и чувствую с горем, как она мучительна и убийственна. Она клевещет на меня перед моими друзьями. Они полагают, что паралич, заключающийся в одних моих пальцах, которые почти разучились водить пером в последние дни, перешел в мою душу. Нет! душа еще жива, а письма не пишутся. Теперь почти сделалось для меня невозможным сохранить какую-нибудь точность в переписке. Моя настоящая должность берет все мое время. В голове одна мысль, в душе одно желание! Не думавши, не гадавши, я сделался наставником Наследника престола. Какая забота и ответственность (не ошибайтесь: наставником, а не воспитателем — за последнее никогда бы не позволил себе взяться)! Занятие, питательное для души! Цель для целой остальной жизни! Чувствую ее великость, и всеми мыслями стремлюсь к ней! До сих пор я доволен успехом; но круг действия беспрестанно будет расширяться! Занятий множество; надобно учить и учиться — и время все захвачено. Прощай навсегда, поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь. Вам объяснять этого нет нужды: мы с вами взросли на одних идеях. Итак, дайте мне *отпуск* на счет моего письменного молчания, и не наказывайте меня своим».

В деле первоначального воспитания и учения, обыкновенно еще сливающихся в одну задачу, весь успех зависит от уменья развивать равномерно телесные и душевные способности, ничего не покидая в бездействии и ни к чему не приступая преждевременно. Это, по-видимому, простое и для всякого ума ясное правило представляет в применении своем величайшие затруднения. В них-то вперен был тогда заботливым умом своим весь Жуковский. Во все часы дня никто иначе не находил его, как за предварительными работами и предначертаниями. Не доверяя легкомысленно одной опытности своей, своим только знаниям и живому постижению прекрасного своего ума, он читал все, что мог найти полезного по этой части, советовался с известнейшими в столице педагогами и совершенствовал план свой день ото дня лучше и прочнее. Августейшему питомцу совершилось тогда семь лет. Сколько можно было придумать для этого нежного возраста занятий, легких, но необходимых в полном кругу постепенного учения, все устроил преду-

смотрительный наставник. Он до того простер пламенную свою ревность в святом деле, что первые уроки каждого предмета передавал сам, желая на опыте убедиться, действительно ли они соответствуют его предположениям. Озабочиваясь между тем разделением этого труда между достойнейшими по каждой части лицами, без чего занятия не получили бы законной своей характеристики и сам он из наблюдателя превратился бы в сухого энциклопедиста, Жуковский с полным беспристрастием, с удивительным вниманием и осторожностью избрал людей, которые должны были действовать под его главным надзором.

XV

Великому делу начало было положено. Перед поэтом-педагогом вдали виднелись новые труды, слышались новые вопросы и обнимали душу его новые заботы. Он был изнурен физически и сознавал необходимость обширнейших приобретений по части педагогии. Чтобы восстановить слабое здоровье свое и тут же извлечь пользу для своей должности, в 1826 году он снова собрался за границу. Это был год, в который Россия лишилась Карамзина. Жуковский всегда питал к нему уважение, переходившее в чувство какого-то благоговения, потому что он совершенно введен был в святилище души историографа. Собравшись в свою поездку в апреле, поэт не предвидел, что уже в мае великая душа покинет землю. «Кто знал внутреннюю жизнь Карамзина (слова Жуковского), кто знал, как он всегда был непорочен в своих побуждениях, как в нем все живые, независимые от воли движения сердца были, по какому-то естественному сродству, согласны с правилами строгого разума; как твердый его разум всегда смягчен был нежнейшим чувством; какой он был (при всей высокой своей мудрости) простосердечный младенец, и как верховная мысль о Боге всем владычествовала в его жизни, управляя его желаниями и действиями, озаряя труды его гения, проникая житейские его радости и печали и соединяя все его бытие в одну гармонию, которая только с последним вздохом его умолкла для земли, дабы навеки продолжаться в мире ином; словом, кто имел счастье проникнуть в тайну души Карамзина,— для того зрелище смерти его было освящением всего, что есть прекрасного и высокого в жизни, и подтверждением всего, что вера обещает нам за гробом».

В октябре 1827 года Жуковский возвратился из-за границы в Петербург. «Я недаром (говорит он в одном пись-

ме) ездил за границу: воды мне помогли. Я воротился совсем не тот, каков поехал. Между тем видел много прекрасных сторон; жил целую зиму в Дрездене, который сам по себе и по прелестным окрестностям весьма приятен. Жил на Рейне и объездил берега Рейна, живописные и унизанные развалинами древних рыцарских замков. Заглянул и в Париж, который можно назвать бездною деятельности. Нахожу, что лечиться такою методою весьма весело — но дорого. Впредь, если надобно будет за болезнью сдвинуться с места, поеду к вам в Одессу. Как бы желал вас видеть и порадоваться вашей милою, семейною, счастливою жизнью! Итак, хоть одному из нашего прежнего круга удалось найти то, что ему надобно. Жребий этот выпал вам — и поделом! Вы его стоите!» Удовольствия поездки, о которых здесь упоминает Жуковский, он, видимо, схватил на лету. Все его внимание обращено было на изучение разных систем воспитания. Особенно проведенная им зима в Дрездене посвящена была этому занятию. Ни одного стихотворения он не написал ни в 1826, ни в 1827 году: так свято чтил он обязанности долга своего. Зато портфель его и библиотека приняли много сокровищ, привезенных из путешествия. В его отсутствие только явилось вторым изданием «Собрание сочинений и переводов его в прозе», напечатанных в 4-х томах в Петербурге.

Развивая общую деятельность сотрудников своих по начертанному им плану учения наследника, Жуковский в то же время озабочен был приготовлением отдельных соображений, по которым надлежало устроить преподавание наук великим княжнам Марии Николаевне и Ольге Николаевне. Высокая доверенность их императорских величеств возложила на него и эту лестную обязанность. Он получил для жительства своего комнаты в той части Зимнего дворца, где ныне с баснословным великолепием устроен Императорский музеум. Ежедневно, лишь только должны были начинаться уроки, наставник порфирородных детей являлся для присутствия при них — и, полный внимания, оживленный участием, за всем следовал неослабно. Ничего нельзя вообразить умилительнее картины, какую представляло это соединение, с одной стороны, людей в зрелом возрасте, стройно, ясно и назидательно излагающих важные истины, занимательные события или увлекательные описания, а с другой, жадное внимание отроческого возраста, ищущего всему причины и усиливающегося все усвоить своей естественной любознательности. Жуковский был неутомим в изыскании средств, которые бы, облегчая

приобретение, в то же время и укрепляли его в уме и памяти. Его жилище превратилось в мастерскую ученого художника, где по особенным планам готовились все пособия для классных комнат. Но ни одна наука так не занимала его, как «история», эта по преимуществу наука царей. Обработыванию ее пособий он посвятил наибольшую часть драгоценных изобретений своих. В неусыпных трудах его незаметно протекло полных пять лет со времени последнего его путешествия. Ежегодно производились испытания во всех пройденных предметах. Августейшие родители, с доверенными особами, приглашаемыми по уважению специальных сведений их в разных частях преподаваемых наук, каждый раз присутствовали на экзаменах. Успехи, к общему нашему счастью, находимы были соответствующими ожиданиям родителей. Благоволение монарха выражалось для всех ощутительно. Жуковский в течение этого периода достигнул чина действительного статского советника.

XVI

Воцаренная им гармония в педагогических занятиях и счастливое движение всех частей учения смягчили наконец суровые его заботы. Он начал пользоваться некоторыми свободными часами и ловить быстрые минуты вдохновения. В первый раз в это время оно слетело к нему для изображения картины, глубокою скорбью поразившей всю Россию. Это было трогательное успокоение от долгих подвигов благотворительности императрицы Марии Феодоровны. Жуковский, у гроба государыни, в ночь, накануне погребения тела ее, излил свои чувствования, как верный истолкователь того, чем трепетало сердце каждого русского. С какою всеоживляющею верностью описывает он появление нового ангела, который нам послан Провидением в замен отлетевшего!

Взор его был грустно-ясен,
Лик задумчиво-прекрасен;
Над главою молодой
Кудри легкие летали,
И короною сияли
Розы белые на ней;
Снега чистого белей
На плечах была одежда;
Он был светел как надежда,
Как покорность небу тих —

И на крылиях живых,
Как с приветственного брега
Голубь древнего ковчега
С веткой мира, он летел...

Много других стихотворений написано им в это же время. Любопытно обратить внимание на два из них. В каждом характеристически изобразилось все уважение поэта к гениальным произведениям. Еще в первой молодости он напечатал подражание Бюргеровой «Леноре». Теперь показалось ему, что добросовестнее с его стороны будет, если он эту прелестную балладу передаст во всей точности оригинала, удержав даже самую форму стихов ее — что и исполнил. Балладу Шиллера «Кубок» он начал переводить тоже в давнюю пору своего стихотворства. Но при самом начале он заметил тогда, что перевод его не может сравниться с подлинником. Это и было причиной, что он оставил свой труд неконченым. Почувствовав наконец убеждение, что ныне, после стольких опытов, достаточно сил его и искусства на достойное выполнение раннего предприятия, он приступил к делу и кончил его прекрасно.

Новая утрата в семейном кругу его, так заметно распадавшемся, последовала в феврале 1829 года. После кончины М. А. Мойер вся родственная любовь его обращена была на ее сестру, А. А. Воейкову. Существо поэтическое, оживлявшее попечениями нежнейшей дружбы должностные труды и заботы Жуковского, она по слабости здоровья принуждена была уехать из Петербурга, чтобы под благодатным солнцем Италии оживить исчезавшие свои силы. Суждено было иначе — и она, отправившись за границу, не увидела более ни милого отечества, ни милых друзей своих.

В 1831 году первое появление в Петербурге холеры было причиною, что высочайший Двор, по отбытии своем на осень из Петергофа в Царское Село, оставался здесь долее обыкновенного. Жуковский, нигде не ослабляя строгого исполнения прямой своей обязанности, случайно попал туда на новую для себя дорогу в поэзии. В это время из Москвы прибыл в Царское Село Пушкин и решился провести там осенние месяцы. Он только что женился. Ему отрадно было насладиться новым счастьем в тех местах, под теми липами и кленами, которые лелеяли его лицейскую молодость. Понятно, что не проходило дня, в который бы поэты не рассказывали друг другу о тех своих занятиях, о которых еще в древности говорили, что утро им особенно благосклонно. Пушкин в эту эпоху увлечен был русскими сказками. Он

тогда между прочим написал своего «Салтана и Гвидона». Жуковский с восхищением выслушивал игривые рифмы своего друга. Чтобы не отстать от него, он и сам принялся за этот род поэзии. Таким образом появились «Берендей», «Спящая Царевна» и «Война мышей с лягушками». В это же время написаны и вместе изданы «Три стихотворения на взятие Варшавы» Жуковского и Пушкина. Баллады свои и повести в стихах Жуковский напечатал в 1831 году отдельною книгою.

XVII

Продолжительные занятия, не прерываемые какими-либо развлечениями или переменою образа жизни, снова начали неблагоприятно действовать на здоровье Жуковского, вообще расположенного к недугам людей, не покидающих кабинета. Не только телесное ослабление отнимало у него силы к продолжению трудов — на самом характере его и на расположении духа видимо отражалось расстройство здоровья. Это побудило его в 1832 году предпринять третье путешествие за границу. Тем удобнее он мог на это решиться, что в сердце своем сознавал прочность, правильность и благоуспешность учения, уже развитого по его началам в образовании государя наследника. Жуковский в нынешний раз не был стеснен в своих мыслях и свободно мог как лечиться, так и заниматься поэзиею. Ему удалось прекрасно исполнить и то и другое. В собрании стихотворений его год нынешней поездки красуется на таких произведениях, которые внесли в нашу литературу удивительную прелесть. В особенности ничто не может сравниться с неподражаемою простотою «Романсов о Сиде», с этою неувядающей поэзиею народа, которого рыцарские доблести и христианские чувствования так сияют в европейской истории. Большую часть времени своего Жуковский провел тогда в Швейцарии. Он жил с семейством давнишнего друга своего, прусского полковника Рейтерна, не подозревая, что в толпе детей, окружающих уважаемого и любимого им отца, таится существо, которому через восемь лет Провидением суждено озарить лучшим счастьем последние годы жизни нашего поэта.

Письма Жуковского, в которых изображает он тогдашнюю жизнь свою, рисуя картины природы, чудно переносят в настроение души его и в созерцание действующих на нее предметов. «Теперь 4 января (стар. ст., 1833), — говорит он в одном письме, — день ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расти-

лается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны; не видишь движения, а только его чувствуешь: озеро дышит. Сквозь голубой пар подымаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут как яркие искры. На горах, между синевою лесов, блестят деревни, хижины, замки; с домов белыми змеями вьются полосы дыма. Иногда в тишине, между огромными горами, которых громады приводят невольно в трепет, вдруг раздается звон часового колокола с башни церковной: этот звон, как гармоника, промчавшись по воздуху, умолкает — и все опять удивительно тихо в солнечном свете; он ярко лежит на дороге, на которой там и здесь идет пешеход и за ним его тень. В разных местах слышатся звуки, не нарушающие общей тишины, но еще более оживляющие чувство спокойствия; там далекий лай собаки, там скрып огромного воза, там человеческий голос. Между тем в воздухе удивительная свежесть; есть какой-то запах не весенний, не осенний, а зимний; есть какое-то легкое, горное благоухание, которого не чувствуешь в равнинах. Вот вам картина одного утра на берегах моего озера. Каждый день сменяет ее другая. Но за этими горами Италия — и мне не видать Италии! Между тем живу спокойно, и делаю все, что от меня зависит, чтобы дойти до своей цели, до выздоровления. Живу так уединенно, что в течение пятидесяти дней был только раз в обществе. Вероятно, что такое пустынничество навело бы наконец на меня мрачность и тоску; но я не один. Со мною живет Рейтерн и все его семейство. Он усердно рисует с натуры *, которая здесь представляет богатую жатву его кисти, а я пишу стихи, читаю, или не делаю ничего. С пяти часов утра до четырех с половиною пополудни (время нашего общего обеда) я сижу у себя, или брожу один. Потом мы сходимся, вместе обедаем, и вечер проводим также вместе. В таком образе жизни много лекарственного. Но прогулки мои еще весьма скромны; еще нет сил взбираться на горы. Зато гуляю много по ровному прекрасному шоссе, всякий день и во всякую погоду. Теперь читаю две книги. Одна из них напечатана моими берлинскими знакомцами, Гумблотом и Дункером [7], довольно четко, на простой бумаге, и называется:

---

* Тогда же был сделан и прекрасный портрет Жуковского. Поэт стоит перед открытым окном; его сигара дымится, и он в задумчивости смотрит на возносящиеся перед ним вершины гор.— *П. П.*

Menzel's Geschichte unserer Zeit*; а другая самою природою на здешних огромных горах, великолепным изданием. Титула этой последней книги я еще не разобрал. Но и то и другое чтение приводит меня к одному и тому же результату». Он сравнивает перевороты мира физического с переворотами политического мира и с удивительною ясностью, с полною убедительностью выводит главные истины, свидетельствующие, до какой степени его философия дружна с христианством.

XVIII

Есть другое письмо Жуковского, писанное в одно время с приведенным и во многих местах касающееся тех же предметов, вызвавших те же выражения. Но так как он в нем разговаривает с другом своего детства (Анною Петровной Зонтаг), то здесь душа его высказывается живее, переходя свободно от картин к шуткам, а от шуток к делам семейным или к воспоминаниям о прошлом. Здесь он виден точно таким, как его помнят друзья его в своем обществе. «*29 января (10 февраля) 1833. Верне.* Вы, верно, думаете обо мне на берегу Черного моря в этот день, а я думаю об вас на берегу Женевского озера. Вероятно, и около вас то же, что вокруг меня, то есть весна (посылаю вам первую фиалку, сорванную нынче в поле). Ваш Эвксин величественнее моего Лемана, но, верно, не живописнее своими утесами; а таких деревень, какие здесь — у вас и в помине нет. Зато в вашу гавань влетают на парусах стопушечные корабли; шум торговли и разнообразие народов отличают вашу пристань; восточные костюмы напоминают вам о Тысяче одной ночи, и подчас вести о чуме приводят вас в беспокойство. Здесь все тише и однообразнее; нет такого величия в равнине озера, которого гранитные, высокие берега кажутся весьма близкими; лазурь его вод не столь блистательна; волны его не столь огромны, и рев его не так грозен во время бури; вместо кораблей летают по нем смиренные челноки, оставляя за собою струю, и над ними вьется рыболов. Но природа везде — природа, то есть везде очаровательна. Какими она красками разрисовывает озеро мое при захождении солнца, когда все цвета радуги сливают небо и воды в одну великолепную порфиру! Как ярко сияет, по утрам, снег удивительной чистоты на высоких темно-синих утесах! Как иногда прелестна тишина великолепных гор,

* История нашего времени Менцеля *(нем.)*

при ярком солнце, когда оно перешло уже за половину пути и начинает склоняться к закату, когда его свет так тихо, так *усыпленно* лежит на всех предметах! Идешь один по дороге; горы стоят над тобою под голубым безоблачным небом в удивительной торжественности; озеро как стекло, не движется, а дышит; дорога кажется багряною от солнечного света; по горам блестят деревья; каждый дом, и в большом расстоянии, виден; дым светло-голубою движущеюся лентой тянется по темной синеве утесов; каждая птица, летящая по воздуху, блестит; каждый звук явственно слышен; шаги пешехода, с коим идет его тень, скрып воза, лай собаки, свист голубиного полета, иногда звонкий бой деревенских часов... все это прелесть! Но я вам принялся описывать то, что у меня перед глазами, не сказав ни слова о себе. И не скажу ни слова, ибо все сказал в письме к сестре, которое вы получите вместе с вашим. Два раза петь одну песню скучно, а мне хотелось непременно что-нибудь прочирикать вам в день моего рожденья — итак, будьте довольны маленьким отрывком швейцарского ландшафта, который, сам не знаю как, сбежал с пера моего на бумагу. Дело в том, что нынче мне стукнуло 49 лет, и пошел пятидесятый год * — плохо! Я не состарился и, так сказать, не жил, а попал в старики. Жизнь моя была вообще так одинакова, так сама на себя похожа и так однообразна, что я еще не покидал молодости, а вот уж надобно сказать решительно «прости» этой молодости и быть стариком, не будучи старым. Нечего делать! Но мне некогда говорить о себе; поговорим об вас. Плетнев уведомляет меня, что вы прислали еще том своих повестей; между ними есть одна, которая много слез выманила из глаз его — одна, в которой наше прошлое описано пером вашим. Я просил его, чтоб он велел как можно мельче переписать для меня эту повесть и прислал бы в первом письме. Хочу, у подошвы швейцарских гор, посидеть на том низком холмике, на коем стоял наш Мишенский дом с своею смиренною церковью, на коем началась моя поэзия Греевой элегиею. А вам скажу одно: пишите как можно более! У вас в душе много богатства, в уме ясности и опытности. Вы имеете решительный дар писать и овладели русским языком. Я хочу для вас не авторской славы: хочу для вас сладости авторской жизни, а для читателей ваших истинной пользы. Как умная мать, которая знает свое ремесло, ибо выучена ему любящим сердцем,

* На этих-то словах основывался Плетнев, говоря, что Жуковский родился в 1784 году. (См. выше, стр. 65.) — *Я. Г.*

здравым умом и опытом, пишите о том, что знаете сами в науке воспитания: теперь повести, а со временем соберите в одну систему и правила, коим сами следовали. Передайте свою тайну другим матерям: поле, которое можете обработать, неограниченно и неистощимо. Для распространения и приведения в порядок мыслей своих загляните в лучшие книги (но весьма не многие) для воспитания и нравственной философии, и потом бросьте их — и пишите свое. Вы не обманетесь и не обманете других, ибо напишете свое, взятое из существенной жизни, и только обдуманное простым умом, не отуманенным предрассудками и умствованием. Этот совет посылаю вам вместо подарка в день рождения».

Год и три месяца пробыл Жуковский за границею. В Швейцарии же написал он первые три главы «Ундины», которой окончание отодвинуто было обстоятельствами до 1836 года. В начале сентября 1833 года прибыл он к своей должности и с новыми силами принялся за ежедневные труды.

XIX

Оставалось совершиться последнему, важнейшему периоду великого дела. Все части приведены были в такое положение, чтобы в 1837 году, свободно и в полноте, они достигли своего окончания. При божьей помощи ревностно шел путеводитель к своей цели с подкрепленными силами в душе. Поэзия была отложена. Только 1834 год, столь памятный торжеством присяги государя наследника, указал поэту на его лиру. Его умилительная песнь, оканчивающаяся прекрасным обращением к России, перешла в достояние народной памяти. «Многолетие Государю» и «Три народные песни» явились тогда же. В последние годы учения августейшего воспитанника Жуковский только предоставил право полного издания «Сочинений своих в стихах и прозе», которое было четвертое и явилось в восьми томах: из них семь напечатаны в 1835 году, а последний в 1837 году, все в Петербурге. Правда, было одно лето, которое удалось ему вполне посвятить поэзии. Это случилось в 1836 году. Он провел тогда часть летних месяцев близ Дерпта. Там-то взялся он за покинутую «Ундину». Вот как сам он рассказывает о судьбе ее. «Повинуясь воле, которую мне было особенно приятно исполнить, я рассказал русскими стихами «Ундину». В 1833 году, находясь в Швейцарии и живя уединенно на берегу Женевского озера (в деревеньке Вер-

не́ близ Монтрё), написал я первые три главы этой повести. По возвращении моем в Россию занятия другого рода надолго отвлекли меня от начатого поэтического труда — и только в нынешнем (1836) году я мог опять за него приняться. Последние главы «Ундины» написаны в сельском уединении близ Дерпта (в Элистфере), где я провел половину лета и мог по-прежнему посвятить досуг свой поэзии». Скромный намек поэта *на исполнение воли,* в чем заключалось его особенное удовольствие, сделается для внимательного читателя ясным, когда он сравнит посвятительные *перед* «Ундиною» стихи с другим его стихотворением, явившимся в 1819 году, под заглавием: «Праматерь Внуке»*.

При начале 1837 года Жуковский принял в сердце глубокую рану. Ему суждено было присутствовать при кончине Пушкина, которого последние минуты описал он в трогательно-красноречивом письме к отцу незабвенного поэта. Жуковский, наравне со всеми, оплакивал преждевременную утрату великого русского писателя — и в то же время сердце его разрывалось от другой скорби: в Пушкине он терял как бы сына своего. Еще в лицее Пушкин был для него предметом нежнейших попечений, не только по причине развивавшегося в молодом человеке таланта, но и по давнишним дружеским отношениям Жуковского к отцу его и дяде. Вышедши из лицея, Пушкин для Жуковского был приятнейшим, необходимым существом. Они, как первоклассные поэты, понимали друг друга вполне. Им весело было разделить друг с другом каждую мысль. Никто вернее не мог произнести приговора о новом плане, о счастливом стихе, как они вместе. «Как жаль, что нет для меня суда Пушкина (сказал Жуковский, читая разборы перевода своего «Одиссеи»)! В нем жило поэтическое откровение». За несколько лет перед нынешним событием Жуковский возобновил у себя литературные субботы, на которых некогда его друзья в первый раз приветствовали у него вступление на горизонт блестящего светила поэзии. Многие из тогдашних посетителей певца «Светланы» опять к нему явились; но еще многочисленнее было молодое поколение талантов. Они все радушно были принимаемы добрым хозяином. Им всем у него было равно весело и равно полезно. Живой, острый

* Эти слова ясно указывают, что в посвящении, напечатанном перед «Ундиною», Жуковский под младенцем, явившимся в «пустой колыбели», разумеет не царственного ученика своего (как обыкновенно думают и как полагают даже другие биографы поэта), а великую княжну Марию Николаевну. Ее же он имеет в виду, говоря в предисловии о воле, которую ему приятно было исполнить.—*Я. Г.*

и окрепший в мышлении ум Пушкина блистал в разговорах светлостью идей, быстротою соображений и верностью взгляда. Никто, конечно, не оценил его с большею истиною, как Жуковский в следующих немногих словах: «Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершилось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, иногда беспорядочной силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе зрелого мужества, столь же свежей, как и первые, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось чего-то родного от сердца? Слава нынешнего царствования утратила в нем своего поэта, который принадлежал бы ему, как Державин славе Екатеринина, а Карамзин славе Александрова».

XX

Зима 1837 года употреблена была Жуковским на совокупные работы с К. И. Арсеньевым по составлению «Путеуказателя» для путешествия государя наследника по России. Вот что было сказано в 1838 году в «Современнике» об этом труде: «В Путеуказателе изложены все важнейшие примечательности на пути Его Высочества. Каждый переезд, достопамятные на нем места, любопытное селение или город, даже частные лица, сделавшиеся известными по каким-нибудь полезным предприятиям, все уже в системе, предварительно мелькавшее воображению путешественника, ожидало его воззрения и новой мысли. «Путеуказатель» не только облегчал выбор предметов любопытства, но служил как бы нитью для собственных идей Его Высочества, на которой они в порядке и полноте нанизывались для будущих соображений». 2 мая из Царского Села государь цесаревич изволил с своею свитою отправиться в это путешествие, которое неиспытанною радостью должно было наполнить сердца всех русских. Две трети года посвящены изучению отечества, не в кабинете, а лицом к лицу со всяким замечательным предметом. Можно вообразить, сколько живых, сладостных, потрясающих душу ощущений протеснилось по сердцу поэта в продолжение всей поездки. Ему трогательная приготовлена была встреча в Белеве, где память о нем свято сохраняется и одним поколением передается другому. В «Современнике» того же 1838 года, где с подробностью изображено путешествие государя наследника по России,

отдельно представлено и о путешествии Жуковского с его высочеством. Там между прочим сказано: «Воображая человека с этим талантом, с этими знаниями и с этим направлением ума (что из творений его так знакомо все каждому), можно представить живо, как действовало на него путешествие! Ежели зрелище, столь разнообразное как Россия, и столь близкое к сердцу как отечество, для каждого из нас, в самых обыкновенных обстоятельствах, становится источником лучших, неизгладимых воспоминаний, назидательных уроков и часто благотворных помыслов, то в какой степени, при торжественном шествии августейшего первенца обожаемого нами Монарха, оно поражало чувства, восхищало душу и двигало сердце поэта!»

Жуковский из путешествия по России прибыл в Петербург 17 декабря 1837 года. Он рассказывал, что уже в Тосне, за 50 верст от столицы, увидел зарево, а в десяти верстах узнал, какое бедствие в городе... Нашедши в комнатах своих все в целости, так, что ничто даже с места не было тронуто, он с трогательным простодушием говорил: «Мне было как-то стыдно!»*

В 1839 году предстояло ему отправиться в другое путешествие, также в свите государя наследника, который намеревался предпринять обозрение Европы. Нет надобности пояснять, какие приготовления занимали тогда Жуковского. Сколько важнейших предметов, сколько исторических лиц заранее являлось ему — и он чувствовал необходимость все привести для себя в полную систему, в ясное сознание. Он ни в чем не способен был к труду легкому, а тем менее поверхностному. Ум его, глубоко проникающий во все явления жизни гражданской и нравственной, соединяя великие последствия с созерцанием чудной картины народов, какая ожидала их впереди. Самая местность, если только в ее характере было что-нибудь яркое и поражающее наблюдательность, вызывала его к исследованиям. В «Современнике» 1838 года помещены отрывки под названием «Очерки Швеции». Они до такой степени живописны, верны с природою края и проникнуты одушевлением художника, что нельзя довольно надивиться, как Жуковский мог забыть

---

* Пожар Зимнего дворца тогда же был описан Жуковским в статье, которая предназначалась для «Современника», но в то время не была разрешена к напечатанию. Незадолго перед празднованием столетнего юбилея Жуковского она была найдена мною в бумагах Плетнева и напечатана. (См. т. XXXII Сборника Отделения русского языка и словесности).— *Я. Г.*

их, не включив в собрание сочинений своих в прозе, изданных им в 1849 году. Эти отрывки заимствованы из длинного, истинно поэтического «Письма» его, которое из Стокгольма он прислал тогда великой княжне Марии Николаевне. По одному этому образчику можно судить, как он был полон каждого предмета, с которым готовился встретиться, и какое сочувствие разгоралось в его душе ко всему виденному.

XXI

Во время путешествия по Европе в 1838 году Жуковский в подражание Гальму написал драматическую поэму «Камоэнс». На заимствованном основании он воздвигнул собственное здание, в котором возвышенные его идеи сияют изумительным светом. То, что высказывается из глубокой души его о тщете земной славы, о чистоте поэтического призвания, ни с чем не может быть сравнено у других поэтов. Тогда же, бывши в Англии, он близ Виндзора посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его знаменитую элегию. Воспоминание о первом стихотворении, занимавшем нашего поэта в Мишенском, и вид трогательного места, освященного вдохновением Грея, так подействовали на его сердце, что он снова принялся за это стихотворение и в другой раз передал его нам, но уже во всей безыскусственной прелести стихов подлинника.

Надобно еще указать на один пропуск в упомянутом выше издании прозы Жуковского *. Он, впрочем, сам заметил его, и вот что сказал в одном своем письме, присланном сюда из Баден-Бадена в октябре 1850 года: «Странное дело сделалось; подивитесь моей памяти. Я на сих днях купил русскую грамматику, напечатанную в Лейпциге на немецком языке: половину этой книги составляет хрестоматия, выбор отрывков в стихах и прозе. Из моих творений немец взял только отрывок «Певца в стане русских воинов» (который теперь мне самому весьма мало нравится); а в прозе напечатал мое «Письмо о Бородинском празднике», о котором я вовсе забыл, и сам теперь не помню, к кому оно было написано и где напечатано. А что оно напе-

* Не могу умолчать и еще о двух пропусках, пришедших мне теперь на память. В «Современнике» 1840 года (т. XVIII) есть прекрасная характеристика «Стихотворений И. И. Козлова», составленная Жуковским, и в том же журнале 1844 года (т. XXXVI) «Письмо» его о кончине великой княгини Александры Николаевны, превышающее все, написанное им в прозе.— *П. П.*

чатано — в том убеждает меня его появление в немецкой грамматике. Если бы я знал об его существовании, то внес бы его в том «Прозы», ибо описание очень живо и тепло, и мне самому решительно напомнило о самом событии. Знаете ли вы об этом письме? Если знаете, скажите, где оно гнездится?» Здесь речь идет о стихотворении «Бородинская годовщина», перед которым в «Современнике» 1839 года Жуковский напечатал отрывок «Письма» своего тоже к великой княгине Марии Николаевне, после праздника в воспоминание двадцатипятилетия Бородинской битвы. Второе у него названо: «Молитвой нашей Бог смягчился». Оно излилось из его сердца по выздоровлении великой княжны Ольги Николаевны от тяжкой болезни. «Письмо» же и «Бородинская годовщина» действительно принадлежат к числу лучших произведений его таланта. Одно место из «Письма», вообще исполненного удивительной живости и величественных картин, по всем правилам должно войти в очерк жизни автора. «Вечер этого дня, — говорит он, — провел я в лагере. Там сказали мне, что накануне в армии многие повторяли моего «Певца в стане русских воинов», песню, современную Бородинской битве: признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца; но в этом чувстве не было авторского самолюбия. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни. Но меня вспомнили *заживо;* новое поколение повторило давнишнюю песню мою на гробе минувшего. Это еще более разогрело мое устаревшее воображение, в котором шевелился уже прежний огонек, пробужденный всем виденным мною в этот день. А живой разговор с К. Г.***, с которым я встретился в лагере и который своим поэтическим языком доказывал мне, что певцу русских воинов, в теперешнем случае, должно помянуть времена прошлые, дал сильный толчок моим мыслям. Возвратясь из лагеря, я в тот же вечер написал половину моей новой Бородинской песни, а на другой день, на переезде из Бородина в Москву, кончил ее; она была немедленно напечатана; экземпляры отосланы в лагерь, и эта песня прочитана была в армии на празднике Бородинского Помещика. И так привел Бог, по прошествии четверти века, на том же месте, где в молодости душа испытала высокое чувство, повторить то же, что в ней было тогда, но уже не в тех обстоятельствах. Чего, чего не случилось в этот промежуток времени между кровавым сражением бородинским и мирным величественным его праздником! С особенным чувством смотрел я в этот день на нашего молодого, цветущего Бородинского Помещика, кото-

рый на празднике русского войска был главным представителем поколения нового».

Стихи «Бородинской годовщины» можно уподобить самому торжественному «Requiem», погружающему душу в созерцательную меланхолию. Перед мысленным взором нашим в стройном шествии являются те незабвенные лица, те чудные события, которыми увековечена память 1812 года. Встреча с ними не приводит нас в радостный трепет как в «Певце», но вызывает из глубины души тихое благоговение и слезы благодарности.

И тебя мы пережили,
И тебя мы схоронили,
Ты, который трон и нас
Твердым царским словом спас,
Вождь вождей, царей диктатор,
Наш великий император,
Мира светлая звезда!
И твоя пришла чреда!

О година русской славы!
Как теснились к нам державы!
Царь наш с ними к чести шел.
Как спасительно он ввел
Рать Москвы к врагам в столицу!
Как незлобно он десницу
Протянул врагам своим!
Как гордился Русский им!

Вдруг... от всех честей далеко,
В бедном крае, одиноко
Перед плачущей женой,
Наш владыка, наш герой,
Гаснет царь благословенный —
И за гробом сокрушенно,
В погребальный слившись ход,
Вся Империя идет.

. . . .

Всходит дневное светило
Так же ясно, как всходило
В чудный день Бородина;
Рать в колонны собрана —
И сияет перед ратью
Крест небесной благодатью,

И под ним в виду колонн
В гробе спит Багратион.

Здесь он пал, Москву спасая —
И, далеко умирая,
Слышал весть: Москвы уж нет!
И опять он здесь, одет
В гробе дивною бронею,
Бородинскою землею —
И великий в гробе сон
Видит вождь Багратион.

. . . .
Память вечная, наш славный,
Наш смиренный, наш державный,
Наш спасительный герой!
Ты обет изрек святой;
Слово с трона роковое
Повторилось в дивном бое
На полях Бородина:
Им Россия спасена.

Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает в глубь земли:
Нашу Русь вы нам спасли.
В свой черед мы грудью станем;
В свой черед мы вас помянем,
Если Царь велит отдать
Жизнь за общую нам мать.

XXII

Кто не согласится, сообразив многие из обстоятельств жизни Жуковского, что в пути своем он шел по какому-то указанию руки незримой, но его не покидавшей? Сам он глубоко в душе своей сознавал это — и со всею преданностью, с исполненным благодарности сердцем приступал ко всему, к чему ни призывал его неслышимый, но понимаемый им тайный голос. Никогда, однако же, это святое убеждение так могущественно в нем не действовало, как в важнейшем событии жизни его, совершившемся в 1840 году. Ему исполнилось пятьдесят шесть лет. Государю своему как подданный, своему отечеству как гражданин, свету как поэт — он отслужил сорок лет верно, честно и славно. Высокое звание наставника наследника престола он слагал

с себя безмятежно, с чистою совестью, сопровождаемый признательностью монарха, нежною любовью августейшего питомца и справедливою благодарностью соотечественников. Вообразить нельзя ничего прекраснее этой доли! С одной стороны так. Но войдите в его душу, младенчески нежную, рожденную для тихого семейного счастья и пропустившую его в благородных порывах возвышенного труда и тревожного вдохновения. Будущее не представляло ли воображению его мертвого одиночества, приюта молчаливого и безответных занятий, без цели, без разделения, без радостей? Он стоял на рубеже: возврат к пройденному невозможен; впереди темная неизвестность. И что же? Последующие события жизни его доказали, что кажущиеся нам уклонения от желаемого его душою жребия были необходимыми средствами к достижению его. Необходимо было, чтобы он ни одного мгновения не утратил для других обязанностей, посвятивши всего себя единственной, важнейшей. Необходимо было, чтобы чистая поэзия сохранила в нем всю юность и весь жар сердца. Все это необходимо было, чтобы, увенчанный двойным венком лучших заслуг, явился он достойным всего энтузиазма возвышенной души. Таким-то путем наконец он приведен был к тому счастью, для которого был создан.

Императорский Двор в мае 1840 года, погруженный в глубокую скорбь кончиною добродетельнейшего из государей, Фридриха Вильгельма III, короля Прусского, находился в Берлине. Жуковский при каждой поездке за границу обыкновенно посещал друга своего Рейтерна, который в это время с семейством своим жил в Дюссельдорфе. Старшая дочь его, Елизавета, соединяла в себе все, что может воспламенить сердце и увлечь воображение поэта. Ум ее, характер, образованность и красота, в лучшем значении классическая, не остались, конечно, без внимания у поэта нашего, хотя привычка к детям, которые растут на наших глазах, часто заставляет нас считать их всю жизнь не выходящими из детства. Дочери Рейтерна исполнилось 19 лет. Ее отец, по чувству дружбы, никогда не произносил иначе имени Жуковского, как с энтузиазмом. Приезды поэта составляли эпохи радостей для всего семейства. Не говоря о славе, которую в Германии приобрело его имя и которую так лестно соединять с особой нашего круга, самая наружность Жуковского казалась привлекательною при выразительности всей его физиономии, при оживленности разговоров его, при этом таланте и уме, разрешающем труднейшие вопросы и явно предпочитающем наружному

блеску мирное счастье и семейные наслаждения. Одним словом: Провидение здесь указало разрешиться судьбе поэта и другого существа, избранного ему в товарищи на остаток его жизни. Жуковский собственными словами яснее представит это происшествие. 28 августа 1840 года, из Дюссельдорфа, он писал к А. П. Зонтаг: «Благословите вашего старого товарища с колыбели вашей. Счастье жизни наконец с ним встретилось, хотя поздно, но такое, какого он желал, о каком мечтал так часто и о котором перестал уже мечтать. Это счастье нашло его само. Он видел его мимоходом, пленялся им мимоходом, и не позволял себе ни искать его, ни желать его! А милостивый Бог дал ему это счастье без его искания. Помолитесь же, чтобы Он благоволил и сохранить ему. За год перед этим мы были вместе в Москве. Мне между вами было так приятно, как дома! Теперь я на чуже; но мне и теперь так же приятно, как было тогда, с тою только разницею, что вся моя личная жизнь помолодела и в душу мою влилось никогда не испытанное чувство двойной жизни, которая всему на свете дает настоящее значение и достоинство. Я теперь в Дюссельдорфе, подле моей невесты. Die Seele ist gestickt*. Это слово (которое нельзя ни на русский, ни на французский перевести) довольно верно выражает мое теперешнее положение. Кто моя невеста? как все это сбылось со мною? узна́ете из приложенного длинного письма**, написанного в Муратово. Я знаю, какой на него отголосок будет отвечать мне из вашего сердца, мой милый, верный друг! Может быть, со временем Бог сведет нас всех опять вместе. Об одном прошу Его с надеждою, со страхом и покорностью, чтобы Он сохранил мне жизнь: она мне стала мила неизъяснимо. Я верю своему счастью. Оно так просто и чисто — и то, что имею своею целью, так смиренно! Но признаться, часто из этого ясного, мирного света, который меня теперь окружает, выглядывает строгое лицо смерти, и невольно грусть обвивается вокруг сердца. «Liebe ist stark, wie der Tod» ***, написал мне друг на Евангелии перед моим отъездом в Дюссельдорф. «Как эти слова Liebe и Tod близки

* Душа переполнена (буквально: задохнулась) *(нем.)*.

** Если достойная рука примется когда-нибудь за составление полной биографии Жуковского, чего нельзя не желать для чести России, а тем более для общего назидания, то упоминаемое «Письмо» составит в книге лучшую ее часть: оно содержит занимательнейший рассказ поэта о приятнейших для него десяти годах его жизни.— *П. П.*— Письмо это напечатано в *Русской беседе* 1859 г., кн. III.— *Я. Г.*

*** Любовь сильна, как смерть *(нем.)*.

одно к другому! На земле нет счастья без любви, но его нет также и без смерти. И та и другая необходимы для того, чтобы оно было. Одной душа говорит: не покидай меня! Другой душа говорит: не уноси меня! Одна дает счастью его прелесть; другая дает ему его достоинство. Но мысль, что всему на земле должен быть конец, приводит в трепет. Есть, однако, против всех этих тревог лекарство — и самое простое. Оно заключается в молитве Господней. Кто может читать Отче наш так, как оно дано нам свыше, тому на земле ничто не страшно, и все доброе верно». Может быть, люди осуждали поэта; но он повиновался голосу, который слышался ему свыше. За свою покорность он получил награду, ни с чем на земле не сравнимую: одиннадцать лет он был счастливейшим семьянином и перед кончиною благословил дочь и сына на подвиги добра и христианского благомыслия.

XXIII

Счастье, улыбавшееся Жуковскому во взорах милой его невесты, повеяло на душу его тою поэзиею, которая, для всех веков, для всех народов, олицетворила идеал супруги в образе Дамаянти. Он с невыразимым наслаждением принялся за Рюккерта, чтобы с его помощью угадать подлинник и подобрать из русского языка равносильные выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна индейская повесть «О Нале и Дамаянти». Наше приобретение с появления этой поэмы — во всем смысле истинное сокровище. Это — открытие нового мира с новыми богатствами всех царств природы. Поэт вводит нас в страну Солнца и чудес, где люди, звери, растения, горы, реки и все видимое как бы утаены были от общих испытаний творения и живут под законами одной всемощной фантазии. Надобно было созидать все новое для повествования о новообретенном крае. Тут явился Жуковский истинным образователем языка, раздвинув область его во все стороны. Он посвятил этому труду приятнейших для сердца своего три года. Кто с полным вниманием вникнул в глубокий смысл стихов его «Просвещения», тот, конечно, понял значение важнейших эпох исторической жизни его, которой нить так поэтически он привязал к любимому труду своему.

До совершения свадьбы Жуковский из Дюссельдорфа отправился в Петербург. Сколько радости друзьям его доставило светлое его счастье! Но верное далекому прошлому

сердце поэта влекло его в родную Москву, где условились собраться тамошние его близкие. В январе 1841 года он уже был между ними. Это соединение представляло одну из тех картин жизни, которые никогда не забываются. Много протекло лет с тех пор, как Жуковский видел вокруг себя лица, столь ему милые. Но сколько у него судьба навек отняла из них, товарищей молодости его! Тогдашнее его посещение Москвы было для него последнее в жизни. Он не предчувствовал, что дальнейший путь ни разу не приведет его опять сюда, в объятия дружбы и нежной привязанности.

По возвращении в Петербург он занялся приготовлениями к отъезду за границу, где ожидала его невеста и тихая семейная жизнь, еще им не испытанная и тем более желаемая. Здесь ничто уже не могло удержать его. Он видел совершение всего, что должно было увенчать последние желания души его на прощании с покидаемой прежней жизнью и прежними ее заботами. Жуковский имел счастье присутствовать при бракосочетании наследника и сердцем его избранной невесты. Милости царские к наставнику порфирородного первенца превзошли ожидания всех. Государь соизволил, чтобы Жуковскому до смерти предоставлено было все, чем он пользовался по должности наставника. Ему позволено жить там, где он найдет для себя удобнее и приятнее. Особенная сумма назначена была на первое обзаведение хозяйства его. Он был произведен в тайные советники. Но самою неоцененною для себя наградою почитал Жуковский высочайшее повеление, чтобы он и в отсутствие свое всегда считался состоящим на службе при цесаревиче. По собственному выражению Жуковского, государь устроил его будущее как добрый, заботливый отец.

Еще в последние годы действительной службы он был пожалован кавалером орденов: св. Станислава и св. Анны 1-й степени и св. Владимира 2-й степени. К этим лестным знакам благоволения государя за ревностное исполнение должности скоро, во время путешествия Жуковского за границею в свите наследника, присоединены были знаки отличия со стороны иностранных государей, желавших выразить свое уважение к наставнику царского сына. Он был украшен орденами первой степени: в Швеции шведской Полярной Звезды, в Дании Данеброга, в Ганновере Гвельфов, в Австрии Железной Короны, в Виртемберге Фридриха, в Бадене Церингенского Льва, в Саксонии Саксонским за заслуги. В Веймаре он получил орден Белого

Сокола, а в Нидерландах Нидерландского Льва второй степени. От покойного короля Прусского Фридриха Вильгельма III Жуковскому, еще в 1829 году, пожалован был орден Красного Орла второй степени, а в 1838 ему прислана звезда того же ордена, вместо которой ныне царствующий король Прусский, при вступлении своем на престол, изволил пожаловать ему брильянтовую звезду, а в 1842 году орден Pour le mérite, за мирные заслуги.

Отъезд Жуковского из Петербурга в Дюссельдорф был назначен. 21 апреля 1841 года он писал: «Я еду через десять дней, то есть 30 апреля, или 1 мая. Надеюсь, что 21 мая в Штутгарте будет моя свадьба. В этот день вспомните обо мне. Число это уже вырезано на обручальных кольцах, которые прислала мне сестра и для которых все мои сложились».

XXIV

Новая жизнь началась в полном смысле поэтически. В Дюссельдорфе, почти за городом, в виду Рейна, наняты были два домика, разделенные садом. В одном жил Рейтерн с своею семьей. Он во всем значении слова художник. Живопись — жизнь его. В другом поселился Жуковский с женою, с поэзиею своею и всеми радостями счастливейшей жизни. Каждое существо этой поэтической колонии всей душою привязано было к исполнению долга, возлагаемого на нас религиею, обществом, семейством и призванием. К обеду и вечером сходились все вместе. Тихая веселость, покойная совесть и светлый ум чудно животворили маленькое их общество. 16 (28) февраля 1843 года Жуковский сам нарисовал картину нового своего счастья:

Я увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо по водам
Суда сияя плыли, и за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светился домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая,
С младенцем спящим на руках, стояла...
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью...
И ныне тихо без волненья льется
Поток моей уединенной жизни.
Смотря в лицо подруги, данной богом

На освященье сердца моего,
Смотря, как спит сном ангела на лоне
У матери младенец мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Не находя нигде; и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, *веруй в бога, веруй*
В меня.

Высочайшую прелесть этих стихов составляют не самые стихи и даже не мысли, в них изложенные, потому что у многих поэтов можно найти стихи еще лучше, а отличные мысли вызывает плодовитый ум иногда из души очень холодной. Нет: высочайшая прелесть этих стихов состоит в истине ощущений поэта. Он со всевозможным спокойствием сердца, вкушающего тихие семейные радости, высказывается безыскусственно, верно, с простотою младенца и с благоговением мудреца. Точно так, еще несколько прежде, писал он о своем новом счастии к другу детства своего и своей старости, Александру Ивановичу Тургеневу, который, прочитав его письмо, невольно воскликнул: «Какое письмо! Душа Жуковского тихо изливается в упоении и в сознании своего блаженства. Читая его, я понял по крайней мере половину моей любимой фразы: «Le bonheur est dans la vertu aime... et dans la science qui éclaire»*.

Жуковский, устроив таким образом тот желанный покой, о котором говорит в приведенных стихах, покой души и жизни, не ослабил своей умственной и поэтической деятельности, а возвел ее на новую степень совершенства. Мысль достигла в нем той зрелости, какую сообщает ей только долговременная и постоянная созерцательность, руководимое опытами изучение природы и человека, а более всего полное принятие в сердце христианских истин и откровения. Язык нашего поэта явился окончательно крепким, ясным, точным и освобожденным от всех искусственных украшений. Вкус его, сроднившийся с древними, особенно с Гомером, указывал ему на труды высокие и поучительные, на труды плодотворные для искусства и человечества. Приобретение совершенств, столь важных для великого таланта, не привело бы Жуковского к этому обилию

* Счастье в добродетели, которая любит... и в науке, которая просвещает *(фр.)*.

последствий, которыми ознаменовалась его деятельность в последние одиннадцать лет, к неимоверному обогащению русской литературы истинными сокровищами, если бы он не приютил себя и своей семьи в прекрасно мирном уголку маленького городка, освободившего его от неизбежных развлечений каждой столицы.

О перемене в поэтическом настроении своем Жуковский в 1843 году сообщил редактору «Современника» в письме, придавши этому известию шуточный тон, который в частных письмах его остался неизменным до последнего дня его жизни. «Другая перемена или новость (писал он) в моей жизни есть то, что я под старость принялся за болтовню и сказки, и присоседился к древнему рассказчику — Гомеру, и начал вслед за ним, на его лад, рассказывать своим соотечественникам «Одиссею». Будут ли они охотно слушать наши рассказы — не знаю; но мне весело лепетать по-русски за простодушным греком, подлаживаться под его светлую, патриархальную простоту и — видя в этом чисто поэтическом потоке чистое отражение первобытной природы — забывать те уродливые гримасы, которыми искажают ее лицо современные самозванцы-поэты. Шепну вам (но так, чтобы вы сами того не слыхали), что я совсем раззнакомился с рифмою. Знаю, что это вам будет неприятно; из некоторых замечаний ваших на Милькеева вижу, что вы любите гармонические формы и звучность рифмы — и я их люблю: но формы, без всякого украшения, более совместные с простотою, мне более по сердцу. Мой Гомер (как оно и быть должно) будет в гекзаметрах: другая форма для «Одиссеи» неприлична. Но я еще написал две повести, ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы, так чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей (Маттео Фальконе) для помещения в «Современнике». Желаю, чтобы попытка прозы в стихах не показалась вам прозаическими стихами».

XXV

Императорская Академия Наук в отчете Отделения русского языка и словесности за 1845 год (Жуковский утвержден действительным членом Отделения с основания его в 1841 году) подробно изложила мысли Жуковского о переводе Гомера, о повестях его для юношества и о собираемых им сказках. Так как эти сведения заимствованы из пи-

сем Жуковского к двум академикам, из которых один издавал «Современник», а другой «Москвитянин»[8], то для полноты очерка жизни поэта здесь приводятся подлинные слова его. «Перевод Гомера, говорит Жуковский, не может быть похож ни на какой другой. Во всяком другом поэте-художнике встречаешь беспрестанно с естественным его вдохновением и работу искусства. Какая отделка в Виргилии! Сколько целых страниц, где всякое слово живописно, поставлено на своем месте, и сколько отдельных стихов, поражающих своею особенною прелестью! В Гомере этого искусства нет: он младенец, постигнувший все небесное и земное, и лепечущий об этом на груди своей кормилицы-природы. Это тихая, светлая река без волн, чисто отражающая небо, берега и все, что на берегах живет и движется. Видишь одно верное отражение, а светлый кристалл, отражающий, как будто не существует. Переводя Гомера, не далеко уйдешь, если займешься фортуною каждого стиха отдельно; ибо у него нет отдельных стихов, а есть поток их, который надобно схватить весь во всей его полноте и светлости. Надобно сберечь всякое слово и всякий эпитет и в то же время все частное забыть для целого. И в выборе слов надобно соблюдать особенную осторожность: часто самое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно и негодно для Гомера. Все, имеющее вид новизны. затейливости нашего времени, все необыкновенное, здесь не у места. Надобно возвратиться к языку первобытному, потерявшему уже свою свежесть от того, что все его употребляли, заимствуя его у праотца поэзии. Надобно этот изношенный язык восстановить во всей его первобытной свежести и отказаться от всех нововведений, какими язык поэтический, удаляясь от простоты первобытной, по необходимости заменил эту младенческую простоту. Поэт нашего времени не может писать языком Гомера: будет кривлянье. Переводчик Гомера ничего не может занять у поэтов нашего времени в пользу божественного старика своего и его молоденькой музы. Относительно поэтического языка я попал в область общих мест, и из этих одряхших инвалидов поэзии, всеми уже пренебреженных, надлежит мне сделать живых, новорожденных младенцев. Но какое очарование в этой работе, в этом подслушивании рождающейся из пены морской Анадиомены, ибо она есть символ Гомеровой поэзии; в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным; в этой живописности без всякого излишества, в этой незатейливости выражения; в этой бол-

товне, часто излишней, но принадлежащей характеру безыскусственному, и в особенности в этой меланхолии, которая нечувствительно, без ведома поэта, кипящего и живущего с окружающим его миром, все проникает; ибо эта меланхолия не есть дело фантазии, создающей произвольно грустные, ни на чем не основанные сетования, а заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело жизнь пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли безжизненным призраком; и вера в бессмертие, посреди этого кипения жизни настоящей, не шептала своих великих, все оживляющих утешений».

«Мне хочется (продолжает поэт) сделать два издания «Одиссеи русской»: одно для всех читателей, другое для юности. По моему мнению, нет книги, которая была бы приличнее первому, свежему возрасту, как чтение, возбуждающее все способности души прелестью разнообразною. Только надобно дать в руки молодежи не сухую выписку в прозе из «Одиссеи», а самого живого рассказчика Гомера. Я думаю, что с моим переводом это будет сделать легко. Он прост и доступен всем возрастам и может быть во всякой учебной и даже детской. Надобно только сделать выпуски и поправки; их будет сделать легко — и число их будет весьма не велико. К этому очищенному Гомеру я намерен придать род Пролога: представить в одной картине все, что было до начала странствия Одиссеева. Эта картина обхватит весь первобытный, мифологический и героический мир Греков. Рассказ должен быть в прозе. Но все, что непосредственно составляет целое с «Одиссеею», то есть Троянская война, гнев Ахиллесов, судьба Ахилла и Приамова дома, все должно составить один сжатый рассказ гекзаметрами, рассказ, сшитый из разных отрывков «Илиады», трагиков и «Энеиды», и приведенный к одному знаменателю. В этот рассказ вошли бы, однако, некоторые песни «Илиады», вполне переведенные. Таким образом, «Одиссея для детей» была бы в одно время и живою историею древней Греции, и полною картиною ее мифологии, и самою образовательною детскою книгою».

О повестях для юношества Жуковский представил следующие свои соображения: «Собрание повестей для юношества (пока еще не существующих, кроме двух-трех) я намерен издать особо. Они будут писаны или ямбами без рифм, или моим сказочным гекзаметром, совершенно отличным от гекзаметра гомерического — и этот слог должен

составлять средину между стихами и прозой, то есть, не быв прозаическими стихами, быть, однако, столь же простым и ясным как проза, так чтобы рассказ, несмотря на затруднение метра, лился как простая, непринужденная речь».

Для образца русских народных сказок Жуковский доставил из-за границы для напечатания одну под названием «Сказка об Иване Царевиче и Сером Волке». В ней удалось ему на одну нить нанизать самые поэтические причуды нашей народной фантазии и оживить эти перлы единством события, завлекательного и характерного. «Мне хочется,— прибавляет автор, — собрать несколько сказок, больших и малых, народных, но не одних русских, чтобы после их выдать, посвятив взрослым детям. Я полагаю, что сказка для детей должна быть чисто сказкою, без всякой другой цели, кроме приятного, непорочного занятия фантазии. Надобно, чтобы в детской сказке (не для первого, а для второго возраста) все было нравственно чисто; чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурного, ненравственного впечатления после себя не оставляли — этого довольно. Сказка должна быть так же жива и возбудительна для души, как детские игры возбудительны для сил телесных. При воспитании сказка будет занятием чисто приятным и образовательным; и ее польза будет в ее привлекательности, а не в тех нравственных правилах, которые только остаются в памяти, редко доходят до сердца и могут сравниться с фальшивыми цветами, которые (если их дать преждевременно в руки) своею мертвою красотою делают нас не столь чувствительными к живой, благовонной свежести цветов естественных. Не знаю, впрочем, отвечают ли те сказки, которые мною составлены, тому идеалу детских сказок, которые я имею в мысли. Если не отвечают, то они все будут привлекательным чтением для детей взрослых, то есть для народа».

XXVI

Соединяя в одно целое мысли и предложения Жуковского о переводе «Одиссеи» и о других его занятиях, встречающиеся в разных письмах его, более и более убеждаешься, каким сокровищем явятся для потомства эти труды и эта жизнь человека с высшим умом, с неутомимою деятельностью и с бескорыстною любовью к искусству, когда их обратим в образец для жизни и трудов собственных! Всего

изумительнее быстрота в исполнении его предприятий, жажда к трудам новым, неистощимость в начертании планов, день ото дня разнообразнейших, будто бы дни и часы, быстрее улетающие в последние годы, сильнее и неотступнее потрясали всю систему плодотворной его деятельности. Еще было бы все это понятнее, если бы Жуковский, устроив быт свой, не знал наконец никаких тревог и думал только об ученых и поэтических своих занятиях. Напротив: на его долю, как и всем, много досталось тяжелых испытаний. За счастье, которым наделяет Небо супругов, даруя им детей, он принужден был отдать весь покой свой, тревожась о доставлении выздоровления матери младенцев. Он приведен был наконец в необходимость покинуть тихий Дюссельдорф и поселиться во Франкфурте-на-Майне, чтобы находиться ближе к лучшим врачам. Упорство болезни в такой мере противодействовало всем пособиям науки и нежнейшим супружеским попечениям, что более половины последних годов Жуковского отдано было опасениям, изысканиям новых средств и мучительному чувству безотвязной скорби. К этим домашним, внутренним тревогам в последствии времени присоединились внешние от политических событий. Невозможным оказалось пребывание и во Франкфурте, где безначалие и буйство утвердили свое средоточие. После трудных переездов, томительных для тихого семейства, Жуковский утвердился в Баден-Бадене. Посреди стольких смущений, от которых страдал он душевно и телесно, еще лежала на его сердце тоска по отчизне. Каждый год в мыслях приготовлял он себе радость свидания с друзьями и родиной; но недуги больной требовали отсрочки и пребывания в климате более умеренном. Эта борьба желаний с противодействием неотвратимых обстоятельств давно могла в слабом характере и в душе, готовой к унынию, истребить самое помышление об умственных и поэтических трудах, обыкновенно сопровождаемых только внутренним миром и ясностью мысли. Но чем сильнее тяготело над ним бремя испытаний, тем выше возносили душу его упование на господа и преданность в его волю.

В 1847 году Жуковский приготовил к изданию два тома своих стихотворений, назвав их в печати «Новыми». Кроме повестей и сказок, тут явилась поэма: «Рустем и Зораб» и первая половина «Одиссеи». Рюккерт во второй раз увлек его на Восток. Но немецкий переводчик был для него не более как путеуказатель. Жуковский, живо сочувствуя высоким красотам персидской поэмы, сохранил в труде своем ту удивительную простоту, те глубоко важные чер-

ты, тот металлический стих и ту раздирающую сердце силу характеров, которые так поражают нас в первобытной поэзии.

Едва успел он в конце 1848 года расположиться на постоянное жительство в Баден-Бадене, немедленно приступил ко второй половине «Одиссеи». Тогда же развернулось перед ним множество других планов. Невозможно без удивления читать тогдашних писем его*: какой-то внутренний двигатель колеблет его воображение и неодолимо влечет его в безграничную даль на новые подвиги. «Если буду здоров (писал он 20 декабря, стар. ст., 1848) и чего не случится в моей семье, я кончу Одиссею. Работа снова пошла живо. Она началась в ноябре, когда я совсем устроился в Бадене — и к половине декабря я уже перевел четыре песни (одна из них почти отпечатана). Если так пойдет, то в начале марта все может быть кончено. Помолите Бога за меня и за моих. По окончании Одиссеи примусь за прозу. Это будет совсем новое для меня поприще с особою целью. Если Бог даст несколько лет жизни, то могу ими добрым образом воспользоваться. С поэзиею пора проститься. Мы расстанемся, однако, без ссоры. Напоследях она мне послужила верою и правдою. Мне кажется, что моя Одиссея есть лучшее мое создание: ее оставляю на память обо мне отечеству. Я русский паук, прицепился к хвосту орла Гомера, взлетел с ним на его высокий утес — и там в недоступной трещине соткал для себя приютную паутину. Могу похвастать, что этот совестливый, долговременный и тяжелый труд совершен был с полным самоотвержением, чисто для одной прелести труда. Не с кем было поделиться своим поэтическим праздником. Один был у меня немой свидетель — гипсовый бюст Гомеров, величественно смотревший на меня с печи моего кабинета. Было, однако, для меня и раздолье, когда со мною жил Гоголь: он подливал в мой огонек свое свежее масло; и еще — когда я пожил в Эмсе с Хомяковым и с моим милым Тютчевым: тут я сам полакомился вместе с ними своим стряпаньем».

«Будущие прозаические занятия (продолжает в этом же письме Жуковский) мне улыбаются. Уже у меня готово на целый толстый том. Материалов довольно для будущего — и есть великий замысел, о котором поговорим, когда Бог велит свидеться. И еще для одного поэтического создания

---

* Необходимым нахожу привести здесь некоторые отрывки из его ко мне писем, написанных из Баден-Бадена в ту эпоху.— *П. П.*

есть план*. Оно было бы достойным заключением моей поэтической деятельности. Но не знаю, слажу ли с предприятием мысленным. Приходило в голову, и не раз, искушение приняться за «Илиаду», дабы оставить по себе полного собственного Гомера. Мысль была та, чтобы перевести все по теперешней методе с подстрочного немецкого перевода и потом взять бы из перевода Гнедичева все стихи, им лучше меня переведенные (в чем, разумеется, признаться публике). Таким образом два труда слились бы в один — но не по летам моим приниматься за такой долговременный труд, который овладел бы всею душою и отвлек бы ее от важнейшего — от сборов в другую дорогу. Я даже и начал было Пролог к «Одиссее» — сводную повесть о войне троянской. Стихов 200 гекзаметрами написано. В эту повесть вошло бы все лучшее, относящееся к войне троянской и к разным ее героям — все, заключающееся в «Илиаде», в «Энеиде» и в трагиках; но от этого труда я отказался. Со временем напишу этот Пролог в прозе к новому изданию «Одиссеи».

XXVII

11 октября, ст. ст., 1849 года (кончив уже печатание второй части «Одиссеи» и отправив ее сюда), Жуковский писал о ней: «Вы конечно сетуете на меня за мое долгое молчание; и я за него на себя сетую, тем более что все собирался написать к вам: все хотелось поговорить с вами о моей «Одиссее». Скажите мне слова два о второй части. Я переводил ее con amore**, и работа шла неимоверно быстро: менее, нежели во 100 дней, переведены были и даже отпечатаны все двенадцать песней. Поправка шла рядом с переводом: я поправлял в корректуре, что гораздо лучше и вернее, нежели в манускрипте, и почти всегда имел шесть корректур каждого листа (это было возможно по причине близости Бадена, где я жил, от Карлсру, где производилось печатание). И как будто свыше было определено, чтобы тишина в Бадене продолжалась до окончания труда моего. Последний лист был отпечатан и несколько корректур его было уже отправлено в Карлсру, как вдруг вспыхнул мя-

* Это относится к последней поэме его «Странствующий Жид». Он не успел кончить лучшего труда своего. Нельзя не заметить здесь, что поэзия составляла необходимое условие, или точнее сказать, дыхание жизни Жуковского. В начале этого письма он прощается с нею — и в то же время готовится писать новую поэму.— *П. П.*

** с любовью *(ит.)*.

теж, который принудил меня немедленно переехать с семьею в Страсбург. Туда явился и Рейф из Карлсру. Он также бежал от мятежа, но не забыл мне привесть последнюю корректуру, которая и подписана была в Страсбурге. Несмотря на бунт, все экземпляры были немедленно отправлены по Рейну в Мангейм, из Мангейма в Кёльн, а из Кёльна по железной дороге в Штетин — и я уже давно имею известие от Шлёцера, что все благополучно отправлено в Петербург. Но из Петербурга нет никаких вестей. И я прошу вас убедительно дать мне какое-нибудь известие. Мое бегство в Страсбург не позволило мне сделать эрраты. Некоторые места мною поправлены в самом тексте. Некоторые опечатки надлежало бы непременно заметить: но напечатанию всего этого положила препятствия вооруженная Баденская вольница. И если этот бунт принудил мою жену бросить начатое ею лечение, которое взяло было хороший ход, то он же принудил нас повидаться с Альпами — и мы спокойно прожили посреди их великолепия в тихом приюте Интерлакена, в виду чудной Снежной Девы, между двух прекрасных озер, Бриэнцкого и Тунского. Наше пребывание в Швейцарии продолжалось от 14 мая до 26 июля. Горный воздух был полезен жене — и она могла, по возвращении в Баден, снова начать прерванный курс лечения. Но уже ей нельзя было и думать о поездке в Россию с наступлением осени, тем более что одна часть лечения кончилась, другая должна теперь необходимо начаться и будет продолжаться до зимы. Необходимость этого лечения заставила меня съездить в Варшаву, дабы изложить пред Государем Императором мои жалкие обстоятельства. Его Величество удостоил принять меня несказанно милостиво и позволил мне остаться за границею столько времени, сколько потребуют обстоятельства. Теперь я опять на неопределенное время должен отложить свидание с отечеством и с вами, добрые мои друзья! Велит ли Бог мне вас увидеть? Думал ли я, покидая Россию для своей женитьбы, что не прежде возвращусь в нее, как через десять лет? И дозволит ли Бог возвратиться? Моя заграничная жизнь совсем не веселая, не веселая уже и потому, что непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки дома уничтожает в корне семейное счастье. Да и сам я не в порядке: швейцарский воздух мне был не в прок; там начали немного шалить и мои нервы; пропал мой всегдашний,

верный товарищ — сон, и сделалось у меня что-то похожее на одышку. Поездка в Варшаву меня поправила: сон возвратился, одышка не так сильна. Но есть какой-то беспорядок в кровообращении, от чего биение сердца и нервы продолжают пошаливать. Доктор изъясняет все это геморроем, и утверждает, что скоро все придет в порядок. Я и сам не нахожу в себе решительной болезни. Теперь передо мною целая зима. Надеюсь, что она здесь в Бадене, под покровом прусской армии, пройдет спокойно, хотя мы все живем здесь на волканическом грунте. Прошлая зима была для меня благоприятна: она была поэтически благотворна. Что произведет нынешняя? не ведаю, и еще ни на какую работу не решился, хотя перед глазами и много планов. С поэзией пора проститься. Надобно приниматься за прозу. У меня довольно написано философских отрывков: они могут составить толстый том — и еще многое хочется написать. На это может быть употреблена нынешняя зима, если только Бог даст здоровья. Я сообщу вам после то, что мне пишет о моей «Одиссее» Фарнгаген фон Энзе (теперь один из первых критиков в Германии). Он знает прекрасно и греческий и русский язык. Если он мне не льстит, то могу считать мою работу удачною».

Со времени появления в печати первого сочинения, написанного Жуковским еще в детстве, в 1849 году исполнилось ровно пятьдесят лет. Этим обстоятельством воспользовался князь П. А. Вяземский, чтобы в Петербурге отпраздновать юбилей авторской жизни отсутствующего друга. Днем празднества было избрано 29 января, день рождения Жуковского. Приглашены были в квартиру князя все друзья поэта, бывшие тогда в столице. Собрание осчастливлено было присутствием наследника, удостоившего принять участие в торжестве в честь своего наставника. Учредитель праздника написал на этот случай два стихотворения. Одно было прочитано, а для другого написана музыка — и его пропели. Все лучшие желания отсутствующему поэту выражались единодушно, непритворно и с общим восторгом, который собранию сообщил беспримерное одушевление. Чтобы порадовать сердце отдаленного друга, приготовили чистые листы, на которых присутствовавшие (дамы и мужчины, попарно) собственноручно написали имена свои. Их на другой же день отправили в Баден-Баден с описанием юбилея.

Государь, в изъявление благоволения своего к пятидесятилетним трудам Жуковского, изволил пожаловать поэту, в бытность его в Варшаве, орден Белого Орла при следующей грамоте: «В ознаменование особенного Нашего ува-

жения к трудам вашим на поприще отечественной литературы, с такою славою в течение пятидесяти лет подъемлемым, в изъявление душевной Нашей признательности за заслуги, Нашему Семейству вами оказанные, Всемилостивейше жалуем вас кавалером Императорского и Царского ордена Нашего Белого Орла».

XXVIII

После поэзии ничем с такою любовью и с таким увлечением не занимался Жуковский за границею, как воспитанием детей своих. Всю цену и важность этого предмета он полагал в надлежащем развитии души и ее способностей. Если бы господу угодно было продлить жизнь его, он посвятил бы все остальные годы свои педагогике в высшем ее значении. Письма его наполнены рассказами о тех средствах, какие он придумывал для начального обучения дочери, так как сын его, будучи моложе сестры, не мог еще принимать участия в уроках. Ничто ближе и вернее не покажет нам этого во всех отношениях несравненного человека, как собственные его рассказы, и потому весь период жизни его вне отечества только и может быть удовлетворительно представлен в выписках из сообщенных им самим сведений. 15 февраля (стар. ст.) 1850 года он говорит: «Я теперь имею на руках большую работу. Если бы вы невидимою тенью посетили меня в моем кабинете — за чем бы вы меня застали? За азбукою и четырьмя правилами арифметики; за приведением в порядок букв, складов, за составлением живописной азбуки, за облегчением первых уроков счета, за составлением полного систематического курса домашнего учения, который систематически должен обнять все те предметы, которые дети могут и должны изучить дома, от самих родителей. С Нового года я начал учить дочь. Занятие сухое: русские буквы и склады, писать по-русски, считать. Но по той методе, которую я себе составил, мое милое дитя учится не только прилежно, но и весело. К этим двум предметам присоединены библейские повести: мать их рассказывает, а я потом их повторяю. Мы употребляем простой язык Святого Писания, доступный младенцу так же, как и мудрецу; рассказываем одни факты без всякого нравственного применения — это применение придет само по себе, если только чистая роса святых фактов падет свежо на восприимчивое детское сердце. Вера христианская исходит из смиренного принятия откровенных фактов, а не из умственного убеждения. С чтением

и счетом (которые не будут сухим, механическим, а самодеятельным занятием) перейду к моему систематическому курсу. Не буду учить ни географии, ни естественной истории, ни математике, ни грамматике, ни слогу — все это составит одну цель постоянного умственного развития: дитя будет не получать, а брать своею собственною силою».

«И над этим-то курсом я теперь работаю, что меня чрезвычайно занимает. Я уже на опыте над моею дочкою изведал, что метода моя хороша. Правда, она умный ребенок, и с нею легко; но это легко с умным ребенком происходит также и от того, что при наставлении заставляешь действовать ум и чувство, которые бы заупрямились (и в умном ребенке сильнее, нежели в другом), если бы оставить их в покое. Павла я не допускаю еще к занятию, и это тем для него полезнее, что он ни минуты не бывает без занятия. Надобно подслушать, что они с утра до вечера болтают, какие вдвоем выдумывают игры и какое важное участие принимают в их жизни их куклы! Павел весь я — и лицом, и свойствами, и характером. Дай Бог жизни, чтобы привести его к началу прямой дороги; идти же по ней придется ему без меня».

В этом же письме, где излилось столько родительской нежности и тонкой педагогической наблюдательности, поэт Жуковский не мог не обратиться к новым подробностям о переводе второй части «Одиссеи». Чем больше он передает их нам, тем ощутительнее становится мера его таланта. «Вы называете мой перевод второй части Одиссеи подвигом исполинским (прибавляет он): это особенно в том отношении правда, что моя работа была постоянная и без всякого внешнего подкрепления. Первые двенадцать песней переведены во Франкфурте. Там (как я уже писал вам) жил в моем доме Гоголь. Я читал ему мой перевод. Он читал его мне и судил о нем как поэт. Потом я читал его вместе с Хомяковым, наконец с Тютчевым. Все это было истинным поэтическим наслаждением, не пиром самолюбия, а просто лакомством за трапезою Гомера. Ничего этого я не имел, переводя вторую часть «Одиссеи» в Бадене. Никто бы лучше моей жены не оценил труда моего и не дал мне совета — у нее и душа и чутье поэтическое: но я еще не выучил ее по-русски, и ни с кем из русских, мною встреченных в Бадене, не приходило мне и в мысли познакомить моего лавроносного старца Гомера. Я был вполне одинок... У меня такая беспамятность, что я почти ни слова не помню из «Одиссеи». Знал только наизусть одну

первую песнь; но теперь думаю, что и ее не буду уметь прочитать без книги. Я могу читать мой перевод как чужой. Это было со мною и во время моей работы. Окончив песнь, я отсылал ее в типографию, и когда приносили ко мне корректуру, я читал ее, как нечто вовсе для меня новое — и это было почти так со всякою корректурою. От этого и ошибки ярче бросались в глаза. Вот и теперь, перечитав ваши письма и полакомившись не вашими похвалами, а вашею поэтическою симпатиею, мне захотелось развернуть вторую часть «Одиссеи», и я прочитал песни стрельбы из лука и убийства женихов, как нечто не только не мною писанное, но и как нечто, никогда мною не читанное. И мне стало грустно, что эта прелесть труда для меня миновалась. Нет сомнения, что во всяком создании поэтическом самое сладостное для поэта есть самый акт создания и что *продолжение* работы усладительнее самого ее *совершения»*.

XXIX

Как ни бодро защищался неутомимою своею деятельностью наш поэт от приближавшихся к нему недугов старости — год от году становилось заметнее ослабление сил его телесных. Но мощный дух не ослабевал в нем до его кончины. На припадки болезней Жуковский смотрел обыкновенно с равнодушием и даже подшучивал над собою. Рассказывая о какой-нибудь новой уступке организма своего действию болезни, он принимает вид человека, счастливо приготовившегося к удачному отпору, после которого надеется выйти из беды. В июне 1850 года Жуковский послал сюда собрание новых сочинений своих в прозе, решившись прибыть с семьею в Россию в конце осени. Между тем состояние здоровья не позволило совершиться предположениям его. «Вы заставляете (пишет он 20 октября стар. ст. того же года) меня поститься. С тех пор, как я писал к вам с Рейфом и послал свои манускрипты — от вас ни слова. Уж не сердитесь ли вы на меня за то, что я опять обманул ваше ожидание и еще на зиму остался в Бадене? Смягчите свой гнев: я поступил весьма благоразумно, что не поехал. Жене это сделает большое добро. Ей надобно и зимою продолжать свое лечение. Я начинаю надеяться, что она наконец отдохнет от своего многолетнего страдания. Хорошо вам звать меня, и судить и осуждать меня в отдалении, не зная, что со мною делается. Бывают несказанно тяжелые минуты, и бывают часто. Я на них не ропщу: это минуты поучительные и образовательные. Но

в шестьдесят лет труднее учиться, нежели в молодые лета, хотя и яснее знаешь, что наша жизнь нам только на то и дана, чтобы учиться, учиться доброю волею, даже без надежды выучиться, а только для того, чтобы угодить Учителю, творя Его волю».

«Хорошая сторона необходимости остаться здесь, впрочем, для меня весьма неприятная (ибо мне надоела кочевая жизнь на чуже), есть та, что я, если Бог позволит, надеюсь хорошо воспользоваться баденским уединением — и вы, опять повторяю, погладите меня по головке при нашем свидании: привезу и стихов и прозы. Теперь моя эпистолярная деятельность должна прекратиться. У меня работы по горло, и мне беспрестанно говорит тайный голос: спеши! Не то, чтобы это был голос смерти; нет: но глаза слабеют, и слух тупеет. Что, если мне назначено, не кончив начатого, ослепнуть и оглохнуть? И так надобно не терять времени, а между тем и приготовить себя к этой томительной жизни. Не скажу, чтобы она меня ужасала. Весьма вероятно, что ее и не будет. Воля Божия. Но надобно быть готовым. Я уже выдумал себе машину для писания в случае слепоты. Надобно придумать отвод и от глухоты. Между тем постараюсь воспользоваться, сколько можно, собою, пока я еще цел. Для этого надобно только строго экономить временем».

В продолжение этих лет Жуковский успел кончить пятое (последнее при жизни его) издание полного собрания «Сочинений своих в стихах и прозе», напечатанное в Карлсру, и отправил его в Петербург, куда окончательно приготовился переехать и сам с семейством. Все было уложено. Это происходило в первой половине июля 1851 года. Но за два дня перед тем, который он назначил для отъезда в Россию, подагрическая материя бросилась в его глаз. Чтобы сохранить другой, ему завязали оба глаза, и началось продолжительное лечение. Тогда-то он начал пользоваться своею машинкою, и с этого времени писал свои письма не чернилами, а карандашом и крупными буквами, в которых почти нельзя узнать его прежнего почерка. 25 августа стар. ст. 1851 года он писал между прочим: «За шесть недель перед этим я должен был выехать из Бадена — вдруг напал на глаз ревматизм, и я еще по сию пору не знаю, когда выеду. Пишу к вам с закрытыми глазами, пользуясь мною выдуманной на слепоту машинкой. Отвечайте мне поскорее: письмо ваше или застанет меня в Бадене, или его перешлют мне в Дрезден». Нетерпеливое желание возвратиться в отечество уничтожало в мыслях его самую

опасность болезни, которою он страдал. Заметно, что он считал свой припадок кратковременным и легким. Наконец, 13 сентября (стар. ст.) того же года, в письме, еще собственноручном и по-прежнему карандашом начертанном, он начал говорить как выведенный из своего неведения. «Вот уже более восьми недель, как сижу взаперти, в темноте, и не могу ни читать, ни писать, ни пользоваться воздухом. Все прекрасные дни лета мною потеряны — и наконец решилось дело тем, что мне об отъезде в Россию теперь и думать нельзя. Уже осень. Холод мне вреден. Солнечного света еще не могу терпеть; а после белизна русского снега и совсем доконала бы глаз. Эта беда случилась со мною дня за два до назначенного мною выезда. Я вижу в ней, однако, указание Провидения. Она особенно может послужить к добру для моей жены, которая весьма еще далеко от исцеления. Несмотря на это, я бы поехал непременно. Моя болезнь обратила отъезд в совершенную невозможность. И жена моя уже воспользовалась моим затворничеством, чтобы в продолжение четырех недель прекраснейшей погоды брать ванны в текучей воде, чего бы ей нельзя было сделать, если бы мы поехали. И зима будет ей, вероятно, полезна в отношении ее лечения. Для меня же перспектива не веселая: мои работы будут жестоко хромать от невозможности употреблять глаза; ибо моя болезнь может продолжаться еще недели. Постараюсь взять против этого меры: я человек изобретательный! Вот, например, я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты. Эта машинка пригодилась мне полуслепому. Могу писать с закрытыми глазами. Правда, написанное мне трудно самому читать. В этом мне помогает мой камердинер. И странное дело! Почти через два дня после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия, и я принялся за поэму, которой первые стихи мною были написаны назад тому десять лет, которой идея лежала с тех пор в душе не развитая и которой создание я отлагал до возвращения на родину, до спокойного времени оседлой семейной жизни. Я полагал, что не могу приступить к делу, не приготовив многого чтением. Вдруг дело само собою началось: все льется извнутри. Обстоятельства свели около меня людей, которые читают мне то, что нужно, и чего сам читать не могу, именно в то время, когда оно мне нужно для хода вперед. Что напишу с закрытыми глазами, то мне читает вслух мой камердинер и поправляет по моему указанию. В связи же читать не могу без него. Таким образом леплю поэтическую мозаику, и сам еще не знаю, каково то, что до

сих пор слеплено ощупью — кажется, однако, живо и тепло. Содержания не стану рассказывать: дай Бог кончить! Думаю, что уже около половины (до 800 стихов) кончено. Если *напишется так,* как *думается,* то это будет моя лучшая лебединая песнь*. Потом, если Бог позволит кончить ее, примусь за другое дело — за «Илиаду». У меня уже есть точно такой немецкий перевод, с какого я перевел «Одиссею»: и я уже и из «Илиады» перевел две песни. Но во всю прошедшую зиму и весну я не принимался за эту работу: я был занят составлением моего педагогического курса — который, в своем роде, будет замечательное создание — и наработал пропасть; но все еще только одно начало. Нынешнею зимою этой работой заняться не могу: глаза не позволят. Надобно много читать, и особенно много рисовать, что для больных глаз убийственно. Для «Илиады» же найду немецкого лектора. Он будет мне читать стих за стихом. Я буду переводить и писать с закрытыми глазами, а мой камердинер будет мне читать перевод, поправлять его и переписывать. И дело пойдет как по маслу**.

---

* В Журнале Министерства Народн. Просвещ. 1852 года, № 1, в «Литературных прибавлениях» напечатан подробный рассказ священника Иоанна Базарова о «Последних днях жизни Жуковского». Там есть изложение и неконченой поэмы, о которой говорит здесь поэт. Я уже упоминал выше, что она называется «Странствующий Жид».— *П. П.*

** Представляет ли история другое лицо, в котором бы, при столь грустных обстоятельствах, сохранилось столько душевной тишины, непоколебимой веры в благость Провидения, сосредоточенности и распорядительности в уме, ровной и беспрерывной деятельности, поэтической теплоты и трогательной сердечной веселости? Приведенное «Письмо», одно, останется памятником, которого прочнее и красноречивее едва ли что придумать можно для бессмертия поэта. Следующая приписка к нему вполне довершает характеристику Жуковского. Я старался каждое 1-е и 15-е число месяца сообщать ему что-нибудь из того, о чем любил он узнавать. Теперь он прибавляет: «Прошу вас не сложить с себя ветхого человека, а напротив, возвратиться к ветхому человеку, то есть к тому, который во время оно обещал писать ко мне два раза в месяц, и несколько времени был верен этому обещанию, не требуя моих ответов. Ваши письма теперь мне нужнее стали. Мое положение требует помощи. Можно прийти в уныние. Что, если бы не сохранил мне милосердный Бог возможности заниматься? Итак, пишите, пишите!» Если бы все, бывшие в переписке с поэтом нашим, согласились соединить в одну книгу те письма его, которые ознаменованы, как литературные произведения, занимательностью и совершенствами общими — это, без сомнения, послужило бы столько же к сохранению чистой памяти Жуковского, сколько и к прекрасному обогащению русской литературы, не говоря уже о пользе общей. — *П. П.*

XXX

Выздоровление не приходило. Но Жуковский не переставал заниматься, как мог, и еще все думал о переезде в Россию. Его участие в событиях, касавшихся отечества и друзей его, по-видимому, возрастало по мере его приближения к смерти. Даже с любовью входил он в рассмотрение новых явлений литературы нашей, если они казались ему достойными внимания. Это беспримерное сохранение в гармонии душевных сил придает последним письмам его высокую цену. Но он в скором времени принужден был покинуть и карандаш свой и свою машинку, которыми до сих пор пользовался для переписки: она продолжалась не его рукою, а только с его слов, им диктованных. Первое из этих писем касается Екатерины Андреевны, жены Карамзина, особы, бывшей для Жуковского, как и для всех знавших ее, существом высшего достоинства. «Благодарю вас всем сердцем, — говорит он в письме 24 октября (стар. ст.) 1851 года, — за два письма ваших. Я бы отвечал немедленно на первое, которое глубоко поразило меня известием о нашей общей утрате; но я был в это время увлечен пошлою прозою переборки на другую квартиру. Не буду об этом ничего говорить теперь: завтра буду писать к самим Карамзиным; а вас только благодарю за то, что вы своим письмом мне дали так живо присутствовать на этом пиршестве погребения. Нет ничего торжественнее и умилительнее этих проводов на тот свет души, умилившей здешний свет своею чистою жизнью. Каков новый удар для бедного Вяземского! Надо благодарить Бога, что это случилось после его отъезда. В Петербурге удар этот слишком бы сильно отозвался в его сердце. Он теперь в Париже. Я еще оттуда не имею прямого о нем известия, но слышу, что ему вообще лучше. А вы держитесь постоянно вашего благого намерения писать ко мне каждое 1-е и 15-е число месяца. Уведомляйте меня о том, что у вас и с вами делается. Это будет отрадно мне слепому. Мой глаз совсем не выздоравливает. Вероятно, что это пошло на целую зиму».

Едва прошло две недели, как Жуковский в новом письме предается новым предположениям касательно занятий своих и переезда в отечество: так владела им сила духа. 7 ноября (стар. ст.) 1851 он писал: «За месяц или за полтора перед этим был у меня ваш приятель Коссович. Он мне очень понравился. Я сообщил ему мое желание иметь образованного классически русского, который бы мог со

мною заняться составлением домашнего предварительного курса учения по моей методе, отчасти вам известной. Коссович назвал мне Бартенева, кандидата Московского университета. Не знаете ли вы и не можете ль осведомиться о сем Бартеневе? Иль не знаете ль кого из воспитанников Педагогического института, способного, классически образованного и достаточно восприимчивого, чтобы постигнуть мою мысль, которой исполнение могло бы сделаться полезным не одним моим детям, но и отечеству в семейственном воспитании? От княгини Вяземской я получил письмо из Парижа. Вяземский мрачен, но к счастью дело не так дурно, как я воображал. Вяземскому не сидится на месте. Он бы хотел покинуть Париж и переехать ко мне в Баден. Но этому и я противлюсь: Баден пусть и скучен, а я полуслепой не буду ему полезен — и гроб его дочери, здесь погребенной, не поможет мне развеселить его. Я зову его в Баден на апрель месяц*; сам же слепой, или зрячий, с первою возможностью в мае отправлюсь в Россию».

В письме Жуковского, присланном ровно через двадцать дней после предыдущего, есть мысли, которые должны быть сохранены для потомства, как завет мудреца. «В продолжение моей десятилетней заграничной жизни я узнал по опыту, что можно любить поэзию, не заботясь ни о какой известности, ни даже о участии тех, чье одобрение дорого. Они имеют большую прелесть; но сладость поэтического создания сама себе награда. Благодарю вас за доставление стихов Майкова. Я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант. Я не читал его других произведений. Слышу, что он еще молод. Следовательно, перед ним может лежать еще долгий путь. Дай Бог ему приобресть взгляд на жизнь с высокой точки, то есть быть тем поэтом, о котором я говорю в моем письме к Гоголю, и избежать того эпикуреизма, который заразил поэтов и осквернил поэзию нашего времени. Глаза мои все еще в том же положении. Об Вяземском не могу ничего сказать вам нового».

Чем ближе наступало время, в которое суждено было нашему поэту вдруг окончить все, так неизменно и так сладко занимавшее его целую жизнь, тем заметнее обращались мысли его к судьбе русской литературы и тем

---

* Странное обстоятельство. Он за полгода назначает другу срок прибытия к себе — а этот апрель был сроком его земной жизни: Жуковский скончался 12 апреля (стар. ст.) 1852 года.— *П. П.*

чаще вспоминал он в письмах о литераторах русских. Всегда оживлялась душа его непритворною радостью при появлении нового таланта в отечестве: так он чужд был самой тени опасения совместничества, а тем менее чувства, похожего на зависть. В новых успехах искусства он видел распространение общей пользы, благотворное влияние на нравы и ступени к славе отечества. Никто искреннее его не любил Карамзина, Крылова, Батюшкова, Пушкина и Гоголя. В последние месяцы жизни своей он так заботился о распространении верных, чистых начал в литературе, как будто защищал только что начатое им поприще, как будто жизнью своею и своими творениями не успел еще утвердить незыблемой истины. В письме 7 декабря (стар. ст.) 1851 года он между прочим пишет: «Не знаете ли чего о Гоголе? Он для меня пропал. Я бы давно к нему писал, но не знаю, куда к нему писать. Говорят, что он кончил вторую часть «Мертвых Душ» и что это чудесно хорошо. Если будет напечатано, пришлите немедленно. Скажите от меня Майкову, что он с своим прекрасным талантом может начать разряд новых русских поэтов, служащих высшей правде, а не материальной чувственности. Пускай он возьмет себе за образец Шекспира, Данте, а из древних Гомера и Софокла. Пускай напитается историею и знанием природы, и более всего знанием Руси, той Руси, которую нам создала ее история, Руси богатой будущим, не той Руси, которую выдумывают нам поклонники безумных доктрин нашего времени, но Руси самодержавной, Руси христианской — и пускай, скопив это сокровище знаний, это сокровище материалов для поэзии, пускай проникнет свою душу святынею христианства, без которой наши знания не имеют цели, и всякая поэзия не иное что, как жалкое сибаритство — русалка, убийственно щекочущая душу. Таково мое *завещание* молодому поэту. Если он с презрением оттолкнет от себя тенденции, оскверняющие поэзию и вообще литературу нашего времени, то он с своим талантом совершит вполне назначение поэта. Но довольно. Чтобы заплатить вам чем-нибудь за ваши хлопоты, посылаю вам новые мои стихи, биографию Лебедя, которого я знавал во время оно в Царском Селе. Об нем я вспомнил, увидя в Бадене великую княгиню Марию Николаевну, которая была для меня явлением Руси на чужой стороне. Мне хотелось просто написать картину Лебедя в стихах, дабы моя дочка их выучила наизусть; но вышел не простой Лебедь. Посылаю его вам. Может быть, в его стихотворной биографии вы найдете ту же

старческую хилость ее автора, какою страдал описанный им Лебедь. Во всяком случае прошу принять благосклонно эту лепту вдовицы».

XXXI

Следующее письмо представляет две чрезвычайно замечательные черты. Одна из них должна быть сохранена, как лучшее свидетельство самой бескорыстной любви Жуковского к поэзии, любви, которая очистила душу его от всякого самолюбия и заставила его признавать пользу в такой критике, на которую мог бы он по всем правам не обращать и внимания — обстоятельство, поучительное для молодого поколения литераторов. Эта черта одна может объяснить многое в блестящих успехах, в которых, конечно, нельзя отказать литературе нашей предшествовавшего периода. Другая черта послужит дополнением к характеристике Гоголя. Этот необыкновенный писатель и неразгаданный человек, изумивший современников неистощимостью тончайшего анализа в произведениях своих, иногда до такой степени был на себя не похож, что трудно приложить к одному и тому же лицу эти две крайности. Здесь разумеются многие из его писем, когда он не определял в них для себя исключительной темы. Тут он явился как бы лишенным не только своего таланта, но и самого обыкновенного уменья быть занимательным. Над таким-то его письмом Жуковский по всегдашней веселости в младенческой душе своей здесь шутит так грациозно. Письмо Жуковского писано 23 января (стар. ст.) 1852. «Вы просите от меня уведомлений о поступках моего глаза. Мне нельзя им похвалиться: он все продолжает парализировать мою жизнь. Вот уже семь месяцев, как я не могу ни читать, ни писать и ничем порядочно заниматься. У нас не было холодной зимы, но зато постоянная скверная, сырая погода, которая действует гораздо хуже холода на подагру и ревматизм, обхватившие бедный, давно ослепший глаз мой. И поэзия от этого позачахла. Благодарю вас за критику на моего Лебедя; я сам не был доволен теми стихами, которые вы забраковали, и поправил их — хорошо или дурно, не знаю. Посылаю вам Лебедя с *прибавкою* *. От Вяземского получил еще письмо, груст-

* Так выразился он о книжке стихотворений своих, напечатанных им незадолго до кончины, под заглавием: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским». Это было издание во вкусе того, как некогда печатались книж-

ное. Гоголь наконец по двухлетнем молчании написал ко мне — и я из его письма узнал с восхищением, что он живет в Москве, на Никитском бульваре, в доме Талызина. Я начинаю думать, что я всех моих друзей и приятелей обидел, подарив им по экземпляру моих сочинений: почти ни один мне не откликнулся... Но вас прошу продолжать писать ко мне».

Последнее письмо Жуковского в этой переписке помечено в Бадене 5 марта (стар. ст.) 1852 года. Оно все посвящено скорби его о кончине Гоголя. Два писателя, летами столь разделенные и так дружно соединенные гениальностью душ, почти в одно время покинули землю. Долго России ждать полной замены этих утрат. «Какою вестью (говорит Жуковский) вы меня оглушили! и как она для меня была неожиданна! Весьма недавно я получил еще письмо от Гоголя, и сбирался ему отвечать, и хотел дать ему отчет в моей теперешней стихотворной работе, то есть хотел поговорить с ним подробно о моем «Жиде», которого содержание ему было известно, который пришелся бы ему особенно по сердцу — и занимаясь которым, я особенно думал о Гоголе... И вот уже его нет! Я жалею о нем несказанно собственно для себя: я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни, и чувствую свое сиротство в этом отношении. Теперь мой литературный мир состоит из четырех лиц, из двух мужского пола и из двух женского: к первой половине принадлежите вы и Вяземский, к последней две старушки — Елагина и Зонтаг. Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! Я жалею об нем еще для его начатых и неконченых работ: для нашей литературы он потеря незаменяемая. Но жалеть ли о нем для него? Его болезненная жизнь была и нравственно мучима. Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начал свои «Мертвые Души», которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно. Его авторство, по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединялась с резкостью иронии, было в противоре-

---

ки «Для Немногих», и заключало на шестнадцати страничках только шесть стихотворений, которых заключением служило: «Боже, Царя храни!» Тут же напечатан и его «Царскосельский Лебедь».— *П. П.*

чии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собою. По крайней мере так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые вы мне сообщаете. Гоголь, долгие часы стоящий на коленах пред образами, отказывающийся от пищи и кротко говорящий тем, которые о нем заботились: оставьте меня; мне хорошо — как это трогательно! Нет, тут я не вижу суеверия: это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило его страждущую душу в последние минуты? я не знаю. Но он молился, чтобы успокоить себя. И конечно ему было в эти минуты хорошо, как он сам говорил — и путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. *Оставьте меня; мне хорошо!* Так; никому нельзя осуждать по себе того, что другому хорошо по его свойству. И эта долгая молитва на коленах есть нечто вселяющее глубокое благоговение. Так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Теперь конечно душа его нашла все, чего искала. Перейдем теперь к земному. Надобно нам, его друзьям, позаботиться об издании его сочинений, об издании полном, красивом, по подписке в пользу его семейства (у него, кажется, живы мать и две сестры). Если публиковать теперь подписку, то она может быть богатая. Позаботьтесь об этом. Если бы я был в России, то бы дело разом скипело».

XXXII

Постоянно памятуя и исполняя все, соблюдаемое православными христианами, Жуковский еще в феврале 1852 года пригласил из Стутгарта священника нашего Иоанна Базарова, чтобы он прибыл в Баден-Баден на шестой неделе Великого поста для приобщения его с детьми святых таин. Болезненное состояние глаза не позволяло ему самому оставить место жительства его. Перед наступлением означенного срока он уведомил своего духовного отца, что некоторые обстоятельства вынуждают его переменить распоряжение и отложить исполнение христианского долга до Фоминой недели. Об этой внезапной перемене первого распоряжения прекрасно выразился отец Иоанн: «Добрый старец не знал того, что это второе распоряжение было свыше от премудрой воли Божией, предназначавшей ему вкусить эту последнюю радость земной веры христианина за два дня перед переходом его в вечную жизнь, где он

должен был *истее причаститися в невечернем дни Царствия Христова»*.

Развитие и ход болезни Жуковского, по рассказу очевидца, следовали таким образом: 1 апреля (стар. ст.) 1852 года, во вторник на Святой неделе вечером, он занемог и лег в постель ранее обыкновенного, а именно в 9 часов. В среду он только к вечеру оставил постель. Как обыкновенно, все его домашние собралися в его кабинет и провели вместе несколько часов. Жуковский принимал живое участие в разговорах и сам многое рассказывал про старинное свое житье-бытье. В четверг тоже. В пятницу болезнь усилилась и обнаружилась яснее. Доктора назвали ее подагрическою лихорадкою (ein Gichtfieber). Подагра, от которой у Жуковского в последнее время так жестоко страдали глаза, бросилась вовнутрь. В пятницу и субботу он не покидал постели и был чрезвычайно беспокоен. Казалось, он страдал более нравственно, нежели телесно. В воскресенье больной вышел на полчаса — это было в последний раз! Лихорадка усилилась; ночи были мучительны; сон совершенно пропал. Силы явно исчезали, тем более, что больной почти без умолку разговаривал с теми, которые окружали его постель: предметом же его разговоров были жена и дети.

Отец духовный прибыл в понедельник на Фоминой неделе, 7 апреля (стар. ст.), и нашел Жуковского в постели больным. Его предуведомили, что больной еще желает отложить исполнение христианского долга, чтобы совершить его с детьми в праздник апостолов Петра и Павла, в день именин сына своего. В 11-м часу утра, во вторник, отец Иоанн вошел в спальню Жуковского, который, жалуясь на расстройство мыслей, объявил о необходимости отсрочки св. причастия. Но когда духовник изъяснил ему различие в обстоятельствах человека здорового, приходящего к Иисусу Христу для принятия св. причастия, и человека больного, к которому господь приходит сам и требует только отворить ему двери сердца; тогда, в слезах, произнес Жуковский: «Так приведите мне его, этого святого гостя». На следующий день, в среду, после исповеди и причащения с детьми, больной видимо сделался покойнее и, подозвав ближе к себе дочь и сына, сквозь слезы сказал им с умилением: «Дети мои, дети! Вот бог был с нами! Он сам пришел к нам. Он в нас теперь. Радуйтесь, мои милые!» И в четверг было ему легче прежнего. В этот день три раза, перед отъездом отца духовного, он разговаривал с ним. Каждое слово его выражало глубокое сознание того, чтó

с ним происходит. «Вчера и сегодня (сказал он при первом прощании) мне легко на душе. Это блаженство — принять в себя бога, сделаться членом богосемейства... Мысль радостная, блаженная. Но не станем ею восхищаться. Это не игрушка! Она должна оставаться, как сокровище, в нас. Вы на пути (проговорил больной при втором прощании): какое счастье идти куда захочешь, ехать куда надо! Не умеешь ценить этого счастья, когда оно есть; понимаешь его только тогда, когда нет его». В третий раз при прощании он пожал руку и сказал: «Прощайте... Бог знает, увидимся ли еще. Ах, как часто и я отходил так от одра друзей моих, и уже больше их не видал...» В пятницу утром, чувствуя, что силы покидают его, он с нежностью, но и с большим усилием благословил жену и детей своих. Вечером, смотря на свою дочь, он еще мог произнести: «Ковчег готов — и вот летят мои два голубя: то вера и терпение». В ночь на субботу, в час и тридцать семь минут, неровное и тяжелое дыхание больного внезапно прекратилось: чистая душа его отлетела в одну из тех обителей, которых в дому отца нашего на небесах уготовано много.

Погребение усопшего происходило в понедельник, 14 апреля, в шесть часов пополудни. Кроме русского священника за гробом шел римско-католический декан города Бадена, желая всенародно выразить то чувство уважения, которое вселил в сердца чужеземцев наш бессмертный поэт добродетельною своею жизнью. Тело его поставлено было в склепе на загородном баденском кладбище. По желанию вдовы Жуковского, которой более всех известно, как пламенно любил свое отечество певец 12-го года, его тело перевезено было в Петербург. Здесь, в Александро-Невской лавре, в присутствии наследника и великой княгини Марии Николаевны, при многочисленном стечении почитателей и друзей поэта, 29 июля отпета была над ним панихида. Слезы августейших особ, оплакивавших утрату наставника их и друга, смешались со слезами поклонников незабвенного поэта на его гробе, который, наравне с друзьями его, нес и царственный первенец из церкви до самой могилы, где Жуковский покоится ныне подле Карамзина.

ОТЗЫВ О ДРАМАХ «ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА» И «ГРОЗА»

Из числа драматических сочинений, представленных на четвертый Уваровский конкурс, два произведения обратили на себя особенное внимание комиссии: одно называется

«Горькая судьбина», другое «Гроза». Первое основано на той истине, что сознание поруганной чести вызывает из души человека все ее силы к защите естественных прав, без различия гражданских сословий. Во втором развита мысль, что семейный деспотизм оканчивается самыми гибельными последствиями.

Никто, без сомнения, ничего не найдет ложного ни в той, ни в другой мысли. Поэтому основание обоих сочинений равно говорит в пользу того и другого автора. Еще замечательнее то соображение, что каждый из сочинителей остановился на мысли, вполне достойной драматического исследования по особенной важности ее в гражданском обществе. Развитие столь высоких истин, не ясно сознаваемых жизнью и часто пренебрегаемых людьми по увлечению страстей или по невежеству, есть одна из прямых заслуг гражданственности.

Драма, которой основа тверда и несомненна, требует еще многого, чтобы явиться во всем своем совершенстве. Подобно тому, как самое лучшее зерно не представляет растения, драма, можно сказать, не началась, пока из ее главной мысли не возникли в воображении автора главные положения действующих лиц, сообразно их характерам. Так называемое творчество, в драматической поэзии, первоначально обозначается в разветвлении основной мысли поэта, переходящем к другим соображениям, из которых возникает как бы действительная жизнь. В этом процессе созидания обнаруживается степень драматического таланта. Верно совершить этот путь можно только при помощи строгого анализа истинных свойств души, сердца и характера избранных лиц. В действительной жизни все истекает из одного источника, то есть из духовной природы нашей. В искусстве, которое воссоздает природу, нельзя художнику прибегать к произволу или к вымыслу, противоречащему истине. Но так как поэт останавливается на избранном моменте жизни, то он вправе сосредоточить на нем разрозненные силы характера или страсти, находя их в действительных свойствах изображаемого лица.

Внешняя обстановка психических явлений сообщает произведениям поэзии неотъемлемое значение. Отсутствие истины или употребление ложных красок обессиливает или безобразит лучшую мысль, лучшее движение сердца, лучший порыв страсти. Напротив того, живость и верность красок придают особенное очарование всякому предмету и действию. Местные краски природы, народные черты нравов и обычаев, резкая особенность языка и костюмов —

словом, художническое сочетание бесчисленных принадлежностей жизни внешней с ее духовною стороной служит необходимым и прекрасным довершением всякого создания поэзии. Но ни в одном ее роде это украшение так не действительно, как в драме, которая предназначается преимущественно для воссоздания жизни со всеми ее принадлежностями явлений внешних и внутренних. Здесь часто обаяние зрения торжествует над прочими красотами создания.

Внимательно следуя за автором «Горькой судьбины» в драматическом развитии избранной им истины, нельзя не убедиться, что он глубоко проникнул в состав жизни, которою решился вызвать общее сочувствие к главной своей мысли. Правильное решение дела касательно оскорбленной чести, предмета, столь же щекотливого, как и утонченного, он не побоялся перенести в область простонародия, которого не только понятия, но и язык на каждом шагу должны были затруднять писателя. Он умел так счастливо рассчитать все шаги действующих лиц, такую внести верность в представление их жизни и так прекрасно уклониться от часто вымышляемых, охлаждающих зрителя пособий для возбуждения эффектов, что все драматическое в его создании приходит само собою, как неизбежное следствие той жизни, которую он понял и разложил. Самое высшее достоинство сочинения его заключается в удивительной простоте движения драмы. Но это не простота безжизненности или отсутствия потрясений. Напротив, с каждым поступлением вперед, с каждою переменою положения лиц вам становится все страшнее и тягостнее от предчувствия неотвратимых следствий той роковой нити, за которую все открыто перед вами держатся. По выражению самого автора, тут действительно есть что-то вроде неотвратимой «Судьбы», которая так многозначительна была у древних.

Замечательно, что из главных действующих лиц ни одно не внушает вам чувства, сколько-нибудь отталкивающего от него. Сколько ни различны они между собою, каждое вызывает сочувствие к положению своему. Но как основа создания представляет их сближение невозможным, то и положение зрителя становится более и более драматическим. Присутствие неотвратимого бедствия, за которое не можешь кого-нибудь покарать и облегчить себя местью, ложится на душу как разбитая собственная твоя жизнь. Это высшая степень успеха в изящном искусстве.

Отношения двух противоположных сословий нисколько не затрудняют автора: он изображает их верно и с такою

точностью, что драма сохраняет все единство занимательности своей и своего характера. Каждое лицо находит в собственном сердце столько логических, человеческих побуждений в защиту действий своих, что без затруднения оправдываешь их жизнь и примиряешься с ее понятными заблуждениями. Нет задуманных намеков на побочные обстоятельства политические или сословные: автор дорожит одним общечеловеческим, глубоко изучивши тайны сердца, страстей и выведенных им характеров. От искусных, завлекательных театральных соображений часто увенчиваются полным успехом самые посредственные произведения драматической поэзии. Но этот успех и проходит скоро. Удачный вымысел, как всякое внешнее украшение, по мере повторения пьесы, теряет цену. Но явления, прямо и поразительно выведенные из действительности, чем многостороннее постигаются, тем выше оцениваются. Такая будущность ожидает и всякую сцену «Горькой судьбины».

Многим у нас она может с первого раза показаться слишком низведенною с театрального возвышения. Мы не привыкли к анализу ощущений простого народа, приняв непочатую искусством жизнь его за что-то лишенное страстей и внутренней борьбы. Это произошло от безмерной отдаленности, на которой гражданская жизнь и умственное образование поставили у нас два крайние сословия. В какой мере этот взгляд ошибочен, нет надобности распространяться в изъяснении. Довольно согласиться в том, что, при всем различии проявления духовной деятельности, в сущности своей она одна и та же, исходя из одного и того же источника. Тем труднее было автору «Горькой судьбины» бороться в задуманной им драме с препятствиями новыми и почти никем не тронутыми. Жизнь русской крестьянской семьи; отношения членов ее между собою; связывающие, отталкивающие, примиряющие и возмущающие их ощущения и страсти; участие во всех изменениях жизни сельского их общества; привычки, нравы, характеры отшатнувшейся от хорошего общества власти; разноголосица нестройного суда; наконец, преобладание голоса веры и совести над всеми увлечениями земных побуждений — все это вошло в рассматриваемое нами сочинение и потребовало от автора создания плана, столь же отчетливого, как и незаметного, явлений естественных, но быстро подвигающих ход сочинения, красок местности и времени, особенного языка, который у нас принимает свои термины, свои обороты, свои украшения не только в каждом сословии, но и в каждой местности. Автор с изумительным знанием обдумал все до

одной черты в составе картины, столь новой по содержанию и столь трудной по исполнению. Она так органически обработана, что нет возможности не испортить целого, отнявши какую-нибудь часть для отдельного рассмотрения.

Предмет, наиболее подлежащий спору, есть язык, каким написано сочинение. Он без малейшего изменения перенесен из уст простонародия в сферу литературы. Столь смелую новизну довольно найдется причин и защищать и обвинять. Главный, общий и, можно прибавить, единственный закон, который соблюдать обязаны все писатели, требует, чтобы язык, во всех своих видоизменениях, оставался правильным. Этот закон легко исполнить, когда речь автора, чего бы она ни касалась и о каком бы лице ведена ни была, идет от него самого. Если же все речи, автором придумываемые, передаются нам заступающими его место лицами, от которых мы не слыхивали правильных, так называемых литературных оборотов и выражений, то вышеприведенный закон явится в исполнении как бы нарушением самого себя. Не может быть спора только о законе мысли, т. е. о законе логики; а все, что временно узаконено в грамматике и что, как беспрерывно видим в истории всех языков, не избегнет изменения, о том еще позволительно спорить, позволительно сомневаться и даже оставаться при своем мнении. Тут начинается область соображения, выбора, вкуса. Таким образом, никто не усомнится, что об языке «Горькой судьбины» надобно ожидать разных и, может быть, совершенно противоположных мнений. Согласить эти мнения никакой не предвидится возможности: драма написана простонародным языком, господствующим не повсеместно в России, а в одной области, где автору удалось изучить его в совершенстве. Но если бы и открылось, что эта местная правильность простонародия несколько нарушена автором, он все же останется творцом драмы, удивительной по сценическим совершенствам.

«Горькая судьбина» принадлежит перу г. Писемского, сочинителя многих повестей и рассказов, давно пользующихся у нас всеобщим сочувствием и уважением.

«Гроза» — драма г. Островского. Автор преимущественно посвятил свой талант драматическому роду поэзии. Он особенно замечателен так называемыми типическими лицами. Изучив быт русского купеческого сословия, он постоянно выводит из него на сцену характеры, разнообразя свои сочинения богатством красок жизни и самыми верными чертами домашнего быта.

В новой своей драме он расширил сферу для деятельности таланта своего. Не семья одна с обычными видоизменениями лиц и характеров их составляет предмет изучения поэта: ему захотелось воспользоваться, в некотором отношении, общественною жизнью маленького русского городка, прекрасным его местоположением на берегу Волги, особенностями полусельских и полугородских обычаев наших, столкновениями еще заметно господствующего невежества и уже, хотя случайно, проглядывающей образованности. На таком основании, которое, во-первых, крепко, потому что автор всегда описывает только то, что он действительно изучил, а во-вторых, которое богато простором, раздвинувшись на всю пестроту местной жизни, — на таком основании г. Островский постановил пятиактную драму. Главный интерес сосредоточен на существе, по характеру, по воображению и по сердцу самом поэтическом. Богатая купчиха, вдова, женщина грубая и самовластная, тяготеет над своим семейством, как нестерпимое ярмо. Под деспотическою властью свекрови изнывает, ниоткуда не видя ни утешения, ни защиты, молодая женщина, которой муж, на безвыходном своем загоне и ничтожестве, только и услаждается, исподтишка предаваясь пьянству, а сестра его, лукавая со всеми, никого не любит и всех обманывает. Над жертвою несчастного брака воображение автора умело совокупить черты привлекательные и трогательные, из которых в сущности своей ни одна не отходит от русского типа молоденькой несчастливицы в ее убийственном положении. В домашнем быту она детски покорна безжалостной свекрови своей, хотя и чувствует всю несправедливость грубого ее с нею обхождения. В муже своем она не смеет презирать даже пороков его, покоряясь судьбе своей, как предназначению свыше. Сестру его она и не подозревает ни в каком дурном умысле, чувствуя, что и над нею лежит тяжесть их общей притеснительницы.

Но в те мгновения, когда мысль ее возвращается к жизни прошлой, к невинным забавам ее детства, к тому счастью, которым ее окружала мать, и ко всем предметам, занимавшим ее до замужества, эта самая женщина представляется в другом образе, оживленная, полная прелести ощущений чистых, не фантастических, но последовательно сопровождающих простую, мирную жизнь счастливой девушки в благочестивом и безбедном доме добрых родителей, сохраняющих прародительские нравы. Обо всем этом она рассказывает так:

«Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на клю-

чик, умоюсь, принесу с собою водицы, и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все, и странницы—у нас полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом; а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!»

Под влиянием столь прекрасных впечатлений душа, в сфере самой простой жизни, незаметно становится открытою поэтическим, высшим внушениям и даже бессознательно чувствует потребность в слиянии с другою душой, родственной с нею по ощущениям и желаниям. На этом законе естественной симпатии одинаково мыслящих и одинаково чувствующих существ основана завязка драмы, оканчивающейся самовольною смертью жертвы роковой любви. В драматической ее истории все идет постепенно и понятно. В изложении переходов ее сердца от одного чувства к другому ничего нет ни ошибочно придуманного, ни через меру усиленного. Вы с истинным участием входите в положение ее; чувствуете, что в ее отношениях к мужу и прочим лицам семейства ничего нет неправильного, ничего вызывающего укоризну. Наконец самое заблуждение ее, в котором она дошла до возмутительного проступка, так связано с неотвратимыми обстоятельствами ее семейного положения, что оно вызывает одно невольное сожаление — и тут-то высказывается полный успех драматического дарования автора.

Прочие типические лица сочинения в полном свете представляют общественную жизнь городка, в котором совершается драма. У сочинителя столько в запасе характеров, их странностей и поучительных для наблюдателя черт, что сцены постоянно интересны и любопытны; драматическое движение нигде не ослабевает, а между тем общественные отношения и естественный ход жизни никаким искусственным усилием не нарушены и не ослаблены. Самый язык действующих лиц нигде не вызывает сомнения на счет верности своей и не подлежит никакому спору относительно оборотов речи и выбора выражений.

Основываясь на несомненных достоинствах той и другой драмы со стороны воспроизведения в них жизни, полной глубокого анализа души человеческой, и со стороны характеров, вызванных к деятельности, столь неослабной и вме-

сте назидательной, принимая в соображение независимость и силу дарования сочинителей, их влияние на успехи искусства, преимущественно образующего общество, я нахожу вполне справедливым наградить гг. Писемского и Островского тою премиею, какою, на основании положения о драматических наградах графа Уварова, увенчивается каждое отлично-хорошее драматическое сочинение.

Стихотворения



ГРОБНИЦА ДЕРЖАВИНА

Элегия

> В сем прахе не умолкнет пенье
> Душой бессмертной полных струн...
> И будет пламень, в нем горевший, согревать
> Жар славы, благости и смелых помышлений
> В сердцах грядущих поколений!
>
> *Жуковский*

Молчит угрюмый бор, одетый ночи мглой,
И дремлет брег над Волховской пучиной;
Последний отзыв волн, уснувших под скалой,
Умолк в бегу за дальнею равниной;
Туманы разлились по злачным берегам
И зыблются прозрачной пеленою;
Бледна, задумчива, по синим небесам
Луна течет над гладкою рекою;
На скатах дальних гор, в окрестности немой,
Как призраки, являются селенья,
И Новгород, как гроб обширный, предо мной
Лежит, простерт в тиши уединенья;
И мнится, здесь, меж тем, как маки сыплет сон
Над древнею полночных стран столицей,
С губительной косой стоит незримый Крон,
Грозя своей всемощною десницей.
Везде разбросаны, неумолимый бог,
Побед твоих ужасные трофеи:
Обломки мраморны покрыл зеленый мох,
И гордые упали мавзолеи;
Полуразрушенный, и под твоим ярмом
Как скованный чугунными цепями,
Великий Новгород, склонившись в прах челом,
Уж не взмахнет орлиными крылами.
Иду... и ряд могил в траве передо мной
Широкою простерся полосою.
Сюда, надменные счастливцы под луной!
Спешите здесь, полуночной порою,

Прочесть свою судьбу! Под мрамором в пыли
Истлевшие давно здесь полубоги
Вам возвестят, куда идут сыны земли
И розами с украшенной дороги.
Страна забвения! И под моей ногой,
Как меж гробниц уединен блуждаю,
Быть может, здесь лежит протекших лет герой
И я в сей миг героя попираю;
И не шумит над ним, взносясь до облаков,
Тот гордый лавр, которого листами
Убранное чело наперсника богов,
Как солнце, светлыми цвело лучами!
Но что за тени там, чуть зримые в дали,
На свежую могилу низлетают
И урну с двух сторон, как стражи, облегли
И, мнится, слух на голос преклоняют?
Кто таинственная посланница небес,
Поникшая венчанною главою,
Порфиру опустив с рамен, потоки слез
Струит в ночи над гробовой доскою?
И кто сопутник ей, повергший меч, и щит,
И шлем к подножию безмолвной урны,
Простерши древнюю геройску длань, скорбит,
Подъемля взор на небеса лазурны?

И кто в могиле ты: блюститель прав, герой,
Народов ли и стран завоеватель,
Служитель алтарей иль, избранный судьбой
Для блага царств, мудрец-законодатель?

Безмолвие... В гробах и на гробах все спит!
Лишь тайное в глазах моих виденье,
Лишь преклоненный слух как бы душе гласит:
С зарей и ты услышишь песнопенье!

Но вот проснулся день: восточных облаков
Пушистые края озолотились;
Бегут туманы с гор, полей и берегов,
За ними Сириус и ночь сокрылись.
Безмолвны тени ждут — безмолвен тлеет прах;
Но первое лишь веянье зефира,

Струяся по полям, взыграло на листах...
Воскреснула невидимая лира:
То льется по лугам, как песня соловья
Весеннего, ее очарованье;

То ропчет, как ручья прозрачного струя
Или ветвей древесных трепетанье;

То вьется, будто вихрь, несется по лесам
И рассыпается на долы градом;
Гремит, как бурный гром, гремящий по горам,
Или ревет, как Суна, водопадом.
И радость вкруг меня, как солнца луч златой,
Воскресла на гробах, и легки тени,
Вняв гласу сладкому, с весельем предо мной
Сокрылися в своей небесной сени.
И тайна с глаз моих снимает свой покров:
Здесь он лежит... Колена преклоняю
Пред урною твоей, любимец, друг богов,
С благоговением твой прах лобзаю!
О счастливый Певец счастливейших времен!
Придут, придут сюда из отдаленья
Грядущих чада лет и чуждых нам племен
Блуждать, как я, и слушать песнопенья —
И дряхлый Новгород тобою не умрет...
В развалинах отечества Вадима
Еще придут искать твоей гробницы след,
Как в Риме прах Певца Ерусалима.

ГОЛОС ПРИРОДЫ

В стране угрюмой и пустой, —
Где только дикой красотой
Природа поражает взоры;
Где в грозной прелести своей
Растут из бездн морских зыбей
И носятся в волнах льдяные горы;
Где обнаженные стоят кругом леса
И солнце хладное сияет,
Где ночь на полгода скрывает
Под мрачную завесу небеса, —
Там юноша, сын дикой сей Природы,
Склонивши взор с гранитных скал
На льды, на пенистые воды,
Мечтою темною искал
За синей, за таинственною далью
Счастливых берегов:
И все сливалося с его печалью,
Беседуя без слов,
И скалы, мнилось, в край неведомый смотрели,
Куда мечты его летели...

Покинув кущи рыбарей,
Приют своих первоначальных дней,
С душою, полной упованья,
На голос тайного призванья,
Он в край незнаемый пошел.
Куда же рок его привел?
О сердца верные обеты!
О светлый на природу взор!
Сей юноша, пришлец из Холмогор,
Прославил век Елизаветы!

СИРОТА

Из дальней стороны пришла в дельфийский храм
С младенцем-сыном мать и, в прах перед кумиром
Повергшись, воззвала: «Внемли моим мольбам,
Латоны сын! Отверженные миром,
Чего осуждены в грядущем ждать
Притекшие в твой храм и сирота и мать?»
И пролилась в ее слезах безмолвных вера;
И с трепетом она ответа бога ждет,
Что на земли им тайный рок пошлет. —
Утешься (был ей глас): ты мать Омера!

К МОЕЙ РОДИНЕ

Элегия

O quid solutis est beatius curis,
Cum mens onus reponit, ac peregrino
Labore fessi venimus Larem ad nostram
Desideratoque acquiescimus lecto!
Catullus, Ad Sirmionem *.

Забуду ль в песнях я тебя, родимый край,
О колыбель младенчества златая,
Немой моей мечты прибежище и рай,
Страна безвестная, но мне драгая;
Тебя, пустынное село в глухих лесах,
Где, с жизнию обнявшись молодою,
Я в первый раз смотрел, что светит в небесах,
Что веет так над зыбкою водою?
Забуду ль на холме твой новый божий храм,
Усердьем поселян сооруженный,
С благоговением где по воскресным дням
Я песни божеству певал священны;
Могилы вкруг него, обросшие травой,
Неровными лежащие рядами,
Куда ребенком я ходил искать весной
Могилу ту, меж серыми крестами,
Где мой лежит отец... младенца своего,
Меня лишь на заре моей лобзавший;
Где, с тайным трепетом, я призывал его
И милой тени ждал, ее не знавши?
Забуду ль вас, о мирные луга,
Прикрытые со всех сторон елями,
И обращенные под нивы берега,
И вас, поля, усеянны камнями;
Вас, низки хижины, к потоку с двух холмов,
Лицом к лицу, неправильно сходящи,
И зыбкий, ветхий мост, и клади меж брегов,
И темный лес, кругом села шумящий?
Забуду ли тебя, о *Теблежский* ручей,
Катящийся в брегах своих пологих
И призывающий к себе струей своей
В жары стада вдруг с двух полей отлогих,

---

* Как сладостно, тревоги и труды сбросив,
Заботы позабывши, отдохнуть телом,
Усталым от скитаний, и к родным ларам
Вернуться и в постели задремать милой!
Катулл, К Сирмию (лат., пер. А. И. Пиотровского).

Где чащи ольховы, по бархатным лугам
Прохладные свои раскинув тени,
Дают убежище от зною пастухам
И нежат их на лоне сладкой лени?
Когда, когда опять увидишь ты меня
На берегу своем, ручей родимый?
Когда журчание твое услышу я
И на пологие взгляну долины?
И буду ли когда еще внимать весной,
Как вдоль тебя, работу начиная,
В лугах скликаются косцы между собой,
Знакомую им песню запевая?
Увижу ли опять, как лето озлатит
Твои поля, двукратно удобренны;
Как нивы жнец кривым серпом опустошит,
На полосе по целым дням согбенный?
По-прежнему бы там, веселый домовод,
Я в осень ждал с посеву урожая,
Иль, с заступом в руках, копал свой огород,
Малину в нем, смородину сажая;
А в зимни вечера я слушал бы ловцов,
Как днем, гоняяся на лыжах легких
С борзыми по снегам, в глуши лесов,
Они стада травили зайцев робких!
Настанет ли пора опять в свой низкий дом
Под кров соломенный мне возвратиться,
Сквозь тусклое стекло смотреть на лес кругом
И с прежними друзьями веселиться?
Я вас приветствую, о милые мои,
Протекших ранних лет друзья драгие!
Любите ввек свои приволжские краи,
Благословенные и нам родные!
Природа нежит вас, как мать своих детей:
Цветите, как в долинах ароматных
Цветут у вас цветы; живите средь полей
Наследственных и хижин благодатных!
За рубежом родным утех для сердца нет!
И обольстясь, как я, приманкой счастья,
Вы тщетно стали бы, перебегая свет,
Искать себе приюту от ненастья!
Пускай всегда челнок ваш в пристани стоит
И пенные под ним не ропщут волны!
Смотрите с берега, как зыбь в морях кипит,
Боязни чуждые и счастья полны!
Когда же мой челнок к родимым берегам,

Когда опять попутный ветр пригонит
И снова странник ваш на грудь своим друзьям
Усталую от дум главу преклонит?
Примите, милые, далекие друзья,
Сердечные мои воспоминанья!
По гроб душою к вам стремиться буду я
И ваши тайно все делить желанья.
А ты, сокрытое село в своих лесах!
Тебе, певец, подъемля к небу руки,
Тебе, горячею мольбой, всех молит благ
И в дань шлет тихие сердечны звуки.
Пустыня милая, прелестная своим
Невозмущаемым уединеньем!
С какой я радостью б, по просекам глухим,
Влетел в тебя! С каким бы восхищеньем,
Заботы бросив все на берегах Невы,
Домашним образам я поклонился
И, запершись в тиши от шуму и молвы,
На ложе сладостном опять забылся!
С каким веселием опять бы я в тебе,
Навеки разорвав оковы света,
Свободою дышал и, вслед своей судьбе,
Пошел, закрыв глаза... как в прежни лета!

СОВЕСТЬ

На берег светлых невских вод,
В тиши, за рубежом столицы,
Где шумно не бежит народ,
Не скачут с громом колесницы,
Забытый светом домосед!
Зачем, уединенный житель,
Ты променял веселый свет
На скучную свою обитель?

С утра до ночи каждый день
Одно в глазах перед тобою.
Одна березовая сень
Твоим убежищем от зною;
Кудрявых лип недлинный ряд,
Кое-где розы и лилеи,
Да с ягодами пять-шесть гряд —
Вот все в быту твоем затеи!

И ты так любишь свой приют!
Лишь встанешь раннею порою,
Идешь, куда глаза ведут,
Как странник, с верною клюкою.
Где был вчера, опять глядишь;
Где много раз бывал и прежде,
Опять с весельем там сидишь
И видишь в новой все одежде.

Когда с музыкой роговой
Иль с песнями гребцов удалых
Летят широкою Невой
Суда с гурьбами запоздалых
В большом пиру весельчаков;
Ты не летишь им в след мечтами,
Не слышит вздохов твой покров
К судьбе с горячими мольбами.

На круглый твой, бывало, двор
Съезжаются со всей столицы,
И кони мчат во весь опор
Вдоль звонких улиц колесницы.
Бывало, в темну ночь у врат,
У крылец, у дверей, по всходу

Открытых всем твоих палат
Горят огни и тьма народу.

А там, в роскошных теремах,
И шум, и нега, и утехи;
Часы мелькают на крылах,
И бой их заглушают смехи;
И вот трещит от брашен стол;
Вино в покалах закипело;
Живи, будь счастлив, хлебосол,—
Друзей желанье загремело.

Бывало, утренней порой,
И маленький и знатный барин,
И думный дьяк и дьяк простой,
Князек ли наш, мурза ль Татарин,
То с челобитьем за себя,
То за родню, то для совета,
Увидеть все хотят тебя
И шаркают у кабинета.

Давно ль стыдливый господин,
В звездах по роду, не по службе,
С тобой беседуя один,
Твердил, бывало, все о дружбе?
Давно ль к тебе, под вечерок,
Придворный, ласковый и гибкой,
Спешил заехать на часок
И руку жал тебе с улыбкой?

Давно ль фортуна вкруг тебя
Вертелась и к тебе ласкалась?
Но вдруг, счастливца разлюбя,
Отворотилась, застеснялась —
И ты все видел как во снѐ!
Друзья редели понемногу;
Ты, в незнакомой тишине,
Все ждал их, глядя на дорогу —

Напрасно! Все немудрено,
Что ни случилося с тобою:
Зовут изменницей давно
Фортуну с ветреной толпою
Забав, веселий и утех;
Давно философы сказали,

Что дружба бегает от всех,
Кто в страхе, в горе иль в печали.

Одно мне трудно изъяснить:
Скажи, мудрец уединенный,
Когда один ты начал жить,
Оставлен всеми и забвенный;
Когда умолк и лести глас
И славы голос справедливой,
И тихо жертвенник погас
Преданности красноречивой;

Когда от радости своей
Краснея, зависть улыбнулась;
Когда и клевета за ней
От сна невольного очнулась;
Когда дыханием оне
Вокруг тебя заразу лили —
Какие силы в тишине
Тебя невидимо хранили?

Скажи, какой с тобою друг
От ветреных друзей остался?
Чем от жестоких сердца мук
Еще ты втайне врачевался?
Кто свел тебя на этот брег
И к жизни привязал пустынной?
С кем коротаешь тихий век
На лоне праздности невинной?

О собеседник наш немой,
Красноречивый утешитель,
Друг постоянный и прямой;
В страданиях души целитель,
О совесть, ты, одна лишь ты
Утраты сердцу возвращаешь,
И степь в роскошные цветы
Рукой волшебной одеваешь!

Пускай фортуна, слава, свет
Поклонников твоих забудут
Иль бросят их в пучину бед —
Они тобой счастливы будут.

Им слышится везде твой глас
И веет тайным наслажденьем:
Придет ли их последний час,
Ты все им сладким утешеньем.

К ДЕЛЬВИГУ

Дельвиг, где ты учился языку богов?
Жадно ловит мой слух твои песни,
К лире, полной восторга, склоняясь,
И сердце кипит.

Где твой гений приветной улыбкой тебя
Встретил в первом с тобою свиданьи?
Как манил за собой он любимца
На светлый Олимп?

Там тебя обрекли на служенье себе
Вечно юные девы Камены;
Там священные тайны поэту
Открыли они.

Только небо высокие истины шлет,
Душу жаром святым наполняет,
Будит голос и движет устами
Пророков своих.

Тщетно чернь отрясает туман с своих глаз:
Вечно темной стезей она бродит,
Низкой доле судьбой обреченна;
Ей мир без красы.

Чуждо сердце восторгов высоких святых,
Если небо ему не отверзлось
Иль с улыбкой ключа не вручило
К загадкам своим.

В низких мыслях погубит с бесславием век,
Целый век свой отверженный небом,
Не отделится здесь от земного,
Без жизни умрет.

НОВОСТЬ НА ОЛИМПЕ

Недавно на Олимп Меркурий быстроногий
С земли принес Красавицы портрет.
«Признаемся: такой и на Олимпе нет!» —
Взглянув, в один сказали голос боги.
С досадой на лице и с завистью в глазах
Венера на черты ее смотрела;
Увидевши портрет в Амуровых руках,
И Душенька... невольно покраснела:
А Музы скромные, любуяся Красой,
С улыбкою глядели друг на друга,
И тихим шепотом твердили меж собой:
«Откроем — вот Русланова супруга!»

К Ф. Н. ГЛИНКЕ

Не дни, не годы жизнь прямая!
Кто оживляется душой,
Как роза на лугу весной;
Кто, сладость бытия вкушая,
Восторгами души цветет —
Тот жизнью полною живет.

Когда в полете быстром время
Младые годы унесет;
Когда и чувств и жизни семя
Похолодеет и умрет;
Когда послышится призванье
К премене одряхлевших дней
На новое существованье —
Что совершает средь степей
Полдневных стран краса и диво?
Смирив полет свой горделивый
В равнинах светлой высоты,
Погибельный костер слагает,
И Феникс — чудо красоты —
В огне свирепом утопает...
Но что ж? Вкусивши смерть на миг,
Неизъяснимое созданье,
В прекраснейшем существованье,
Из пепла, на крылах златых
Возносится к странам эфира —
И, в новой красоте своей,
Как солнце в прелести лучей,
Течет по синей тверди мира.

Зачем, мой друг, зачем Судьбы
Сего нам не дали удела?
Зачем, средь тягостной борьбы
К земле прикованного тела
С парящей к небесам душой,
Призвав веселую надежду,
Не можем смелою рукой
Костер воздвигнуть роковой
И сжечь на нем свою одежду?
О, в новом образе своем,
К восторгам давним воскресая,
Опять бы сладостным огнем
Зажглася жизнь моя младая!

Пускай мне время возвратит
Друзей, родных, давно отживших,
Иль память в сердце истребит
О радостях, навек погибших;
Пускай перенесет меня
На берег тихого ручья,
Где первые цвели мне розы;
Пускай увижу хоть на миг
Домашних образов я лик
И там пролью в восторге слезы...
Так, Глинка, пусть его полет
Мне отдал бы опять былое
И чувство оживил немое;
Я пел бы радость юных лет
И легкокрылое веселье;
Я б звуки грусти позабыл —
И жизнь на милом новоселье
В забавах прежних проводил!

Но что ж? Ужель я вечный житель
Постылой сердцу стороны?
Ужель в желанную обитель,
В приют счастливой тишины,
Без тягостной своей одежды,
Повергнув все земное в прах,
Не вознесусь я на крылах?
Душа полна живой надежды:
Придет, придет моя пора —
Как Феникс улечу с костра!

УДЕЛ ПОЭЗИИ

Как месяц молодой на спящую природу
Лучи серебряные льет;
Как ранний соловей веселье и свободу
В дубраве сумрачной поет;
Как светлый ключ в степи, никем не посещенной,
Прохладною струею бьет —
Так вдохновенный жрец Поэзии священной
Свой голос громкий подает:
Он пламенную песнь над хладною землею
В восторге чистом заведет;
Промчится глас его, исполненный душою,
И невнимаемый умрет...

БАТЮШКОВ ИЗ РИМА

Элегия

Напрасно — ветреный поэт —
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые досуги!
Напрасно из страны отцов
Летел мечтой крылатой
В отчизну пламенных певцов
Петрарки и Торквато!
Напрасно по лугам брожу
Авзонии прелестной,
И в сердце радости бужу,
Смотря на свод небесный!
Ах! неба чуждого красы
Для странника не милы;
Не веселы забав часы,
И радости унылы!
Я слышу нежный звук речей
И милые приветы;
Я вижу голубых очей
Знакомые обеты:
Напрасно нега и любовь
Сулят мне упоенья —
Хладеет пламенная кровь
И вянут наслажденья.
Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы;
Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы.
Порой, на Тибр склонивши взор,
Иль встретив Капитолий,
Я слышу дружеский укор,
Стыжусь забвенной доли...
Забьется сердце для войны,
Для прежней славной жизни —
И я из дальней стороны
Лечу в края отчизны!
Когда я возвращуся к вам,
Отечески Пенаты,
И снова жрец ваш, фимиам
Зажгу средь низкой хаты?
Храните меч забвенный мой

С цевницей одинокой!
Я весь дышу еще войной
И жизнею высокой.
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Он видит чуждые поля
И бродит без привета.
Как петь ему в стране чужой?
Узрит поля родные —
И тронет в радости немой
Он струны золотые.

ЖУКОВСКИЙ ИЗ БЕРЛИНА

Свершились думы прежних лет
И давние желанья:
Уже приветствовал поэт
Края очарованья,
Певцов возвышенных страну,
Тевтонские дубравы,
Поля, где Клейст свою весну,
Питомец Муз и славы,
Счастливой кистью рисовал.
Простясь с страной родною,
На берег чуждый я вступал
С знакомою мечтою.
Полей необозримый вид,
Потоков водопады —
Все здесь для сердца говорит
И обольщает взгляды.
Смотрю ли на лазурь небес,
На льющияся воды,
Вхожу ль в дубовый древний лес
Под вековые своды —
Мне тайный слышится привет
Поэтов, мной любимых;
Мне видится их свежий след
В окрестностях, мной зримых...
Душа горит огнем живым
Святого вдохновенья,
И я спешу к струнам своим
В восторге наслажденья.
Но первый звук страны родной
Опять меня уносит
В поля отчизны дорогой,
И сердце снова просит
Веселья юношеских дней,
Поры уединенной,
Вас, незабвенных мне друзей
Под кровлей незабвенной!
И скоро ли увижу я,
Чужбины посетитель,
Тебя, бесценная семья,
И тихую обитель,
Где я так счастлив с Музой был,
Где дружбы верной гений
И хлад тоски со мной делил,

И пламень наслаждений.
Быть может, странствия предел
Мой рок еще отдвинул;
Быть может, тайно он велел,
Чтоб я друзей покинул
На долгий срок: но сердце вас
Нигде не позабудет —
И невнимаемый мой глас
Везде просить вас будет

К РУКОПИСИ Б<АРАТЫНСКО>ГО СТИХОВ

Быть может, милый друг, разгневанные боги
Внезапно уведут меня с земной дороги,
И свеет легкий ветр следы моих шагов;
Быть может, ни один из юношеских снов
Не сбудется со мной; и в тайном отдаленье,
Как жертву, ждет меня холодное забвенье.
Пусть свиток сей хранит руки моей черты,
И сбудется со мной хоть часть моей мечты!
С благоговением потомок просвещенный
Рассматривать начнет твой свиток драгоценный
И (любопытствуя, по чуждому перу)
Прочтет мои стихи — и весь я не умру!

К ГНЕДИЧУ

Служитель Муз и древнего Омера,
Судья и друг поэтов молодых!
К твоим словам в отважном сердце их
Есть тайная, особенная вера.
Она к тебе зовет меня, поэт!
О Гнедич, дай спасительный совет:
Как жить тому, кто любит Аполлона?
Завиден мне счастливый жребий твой:
С какою ты спокойною душой
На высоте опасной Геликона!
Прекрасного поклонник сам и жрец,
Пред божеством своим в мольбе смиренной,
Ты свет забыл и суд его пременный,
Ты пренебрег минутный в нем венец
И отдал труд и жизнь свою потомству.
А я, слепец, все ощупью брожу
И, рабствуя, страстям моим служу:
То, похвалой плененный, вероломству
Младенчески, как дружбе, отдаюсь
И милые делю с ним сердца тайны;
То, получив в труде успех случайный,
С отважностью за славою стремлюсь
И падаю, другой Икар, в пучину;
То, изменив бессмертия мечте,
Ищу любви в бездушной красоте
И в Грации записываю Фрину.
Зачем скрывать? В поэзии моей
Останется лишь повесть заблуждений,
Постыдная уму игра страстей,
А не огонь небесных вдохновений.

Бессилен я владеть своей душой
И с Музою согласно жить одной:
Мне нравится то гул трубы военной,
То сладкий глас свирели пастухов,
То лиры звук, в тиши уединенной
Ласкающий стыдливую любовь.
Решусь с утра Омерова Ахилла
Весь день следить в живых твоих стихах;
Но вдруг Омер забыт: в моих мечтах
Герой Руслан и резвая Людмила.
Так поутру на пурпурный восток,
Где царь светил является прекрасный,

Порой дитя глядит с улыбкой ясной.
От золота лучей горит поток,
Окрестный лес и дальних гор вершины;
В его глазах чудесные картины;
Но долго ли займет его сей вид?
Невольник чувств, уж он давно бежит
За мотыльком, над ближними цветами
Мелькающим блестящими крылами.

И Музы мстят неверностию мне
За резвые мои в любви измены.
Как часто глас невидимой Сирены
Мне слышится в безмолвной тишине!
Склоняю слух к пленительному звуку
И в радости накладываю руку,
Чтоб голос струн с ее мне пеньем слить:
Коварная мгновенно умолкает;
Восторга звук на лире умирает,
И я готов бездушную разбить.
О сладкое, святое вдохновенье,
Огонь души и сердца упоенье!
Я чувствовал, я помню этот жар,
Как Муза мне с улыбкой мысль внушала —
Передо мной теперь одни начала,
Погибнувший небесной девы дар.

Поверишь ли: я часто в грусти тайной
Завидую тому, кто, чуждый Муз,
С беспечностью одной хранит союз
И век не знал беседы их случайной.
Когда младой художник посетит
Развалины разрушенного града,
Он плачет там: он горестного взгляда
В страдании души не отвратит
От славных сих разбросанных обломков,
Где в каждой он возвышенной черте
Находит дань небесной красоте
Или урок, священный для потомков —
Так я в немом унынии сижу
Над мыслию, счастливо мне внушенной
И в пламенном стихе изображенной;
Прикованный, я на нее гляжу,
Как на кусок разбитого кумира:
Отброшена безжизненная лира;

Не уловить исчезнувшей мечты
И не видать мне полной красоты!

Доступный друг веселью и страданью!
Я все свое принес к тебе на суд,
Все, что сулил мне благотворный труд,
Что я вверял немому упованью;
Я разделил все радости с тобой
И муки все в моей суровой доле:
Скажи, еще ль бороться мне с судьбой
Иль позабыть обманов сладких поле?
Быть может, я вступил средь детских лет
На поприще поэзии ошибкой:
Как друг, скажи мне с тихою улыбкой:
«Сними с себя венок, ты не поэт!»

К БАРАТЫНСКОМУ

Что ласки ветреного счастья
И прелесть всех его даров?
Очарованье легких снов
И наслажденье без участья.
Есть для души запас другой,
Ее вернейшее стяжанье:
Богатство чувств, восторг живой
И необъятное желанье
Со всей природой говорить.
Пускай, по прихоти фортуны,
В пустынной тьме я буду жить —
Я буду двигать сердца струны
И вопрошать безмолвный лес;
Там облегчат мое страданье
И легких листьев трепетанье,
И свет чуть видимых небес.

Вот счастье наше, Баратынский!
Против тебя воюет рок —
Что в сей войне свершить он мог
Своею силой исполинской?
Назло ему как счастлив ты
Своей возвышенной душою!
В стране ужасной пустоты,
Где только длинною грядою
Скалы гранитные стоят,
Где только мрачные шумят
На камнях выросшие ели
И где свистящие метели
Не умолкают круглый год, —
Ты пел живое наслажденье,
Души восторг и упоенье;
Тебе незыблемый оплот
Против несчастий сердце было;
Ты всю отраду видел в нем,
И в гордом трепете своем
Оно тебе не изменило.

Пой, милый друг! Достоин будь
Души прекрасного стяжанья!
К тебе летят друзей желанья;
Лишь их и Муз не позабудь;
И в тишине уединенья,

При сладком звуке струн своих,
Мечтай с веселием о них
И не страшись реки забвенья!
Когда прекрасных дней твоих
Прервется нить рукою Парки,
На тихий гроб твой их рука
Положит свежих два венка
Анакреона и Петрарки.

К ВОЕЙКОВУ

Стихов желаешь ты, любезнейший поэт!
Ты лучших жизни благ у труженика просишь —
И отнимая их, последнее уносишь,
Чем радуется он, чем неприметный след
На жизненном пути цветами усыпает,
Чем он бесценные утраты возвращает
И призракам надежд дарует бытие.
Довольно тщетных жертв обманчивым желаньям,
Довольно слабостей бесплодным ожиданьям!
Пора с тобою жить — и тайное *свое*,
Ниспосланное в дар от горнего собора
Бессмертных Муз, хранить для избранных друзей,
Для неподкупного их правды приговора
И роздых вкусу дать убийственных судей,
Законодателей священного искусства,
Где все постиг их ум, измерил, оценил
И только невзначай в труде своем забыл
Порывы подстеречь восторженного чувства!
На зрелище ума посредник легких дум
Поэта робкого и зрителей отважных,
Готов ты передать на суд врагов присяжных,
Что в праздные часы внушил нестрогий ум.
Что пользы для меня? Я встречусь там с бедою —
И, может быть, навек рассорюся с тобою:
Зачем ты дни мои беспечные смутил
И дикое души веселье погубил?
Готов признаться я: беседуя с Каменой,
Спокойствия ищу, вознаграждаю дни,
Когда бесплодно мной утрачены они;
Поэзия мне жизнь — последнею заменой
Насильно взятого холодною судьбой.
Зачем же повергать на суд неумолимых,
Что тайно вверил мне смягченный жребий мой
В замену радостей, ничем невозвратимых?

Так — мысль любимая, как милые черты,
Изображенные покорною рукою,
Приявши образ свой в стихах передо мною,
Со мной беседует, влечет мои мечты...
О нет, не в силах я взыскательное мненье
Поставить судией моих сокрытых благ!
Пускай разносится в неслышимых стенах
Невозмущенное свирели песнопенье!

Как чиж, испуганный свистящею стрелой,
Из лука пущенной в орла под небесами,
Поспешно кроется меж легкими листами
И в робости таит незвонкий голос свой;
Так я безмолвствую в моем уединеньи,
Врагов Карамзина увидя в ополченьи.

К МУЗЕ

Много дней мимотекущих
С любопытством я встречал;
Долго сердцем в днях грядущих
Небывалого я ждал.

Годы легкие кружили
Колесом их предо мной:
С быстротой они всходили
И скрывались чередой.

Что всходило — было прежде
И по-прежнему текло,
Не ласкалося к надежде
И за край знакомый шло.

И протекшее с грядущим
(Не делила их и тень!)
Видел я в мимотекущем
Как один туманный день.

Половины дней не стало;
Новый путь передо мной;
Солнце жизни просияло, —
Мир явился мне иной.

Красотой плененный света,
Оживаю будто вновь:
К вам, утраченные лета,
В сердце жалость и любовь!

Возвратил бы вас обратно;
Порознь обнял бы опять!
О, как сердцу бы приятно
Вам теперь себя отдать!

Кто ж, души моей хранитель,
Победивший тяжкий рок,
И веселья пробудитель,
В радость жизнь мою облек?

Муза! ты мой путь презренный
С гордостью не обошла

И судьбе моей забвенной
Руку верную дала.

Будь до гроба мой вожатый!
Оживи мои мечты
И на горькие утраты
Брось последние цветы!

К А. С. ПУШКИНУ

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И, может быть, взыскательный урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.

Притворство прочь: на поприще моем
Я не свершил достойное поэта.
Но мысль моя божественным огнем
В минуты дум не раз была согрета.
В набросанных с небрежностью стихах
Ты не ищи любимых мной созданий:
Они живут в несказанных мечтах;
Я их храню в толпе моих желаний.
Не вырвешь вдруг из сердца вон забот,
Снедающих бездейственные годы;
Не упредишь судьбы могущей ход
И до поры не обоймешь свободы:
На мне лежит властительная цепь
Суровых нужд, желаний безнадежных;
Я прохожу уныло жизни степь
И радуюсь средь радостей ничтожных.
Так вырастет случайно дикий цвет
Под сумраком бессолнечной дубровы
И, теплотой отрадной не согрет,
Не распустясь, свой лист роняет новый.

Минет ли срок изнеможенья сил?
Минет ли срок забот моих унылых?
С каким бы я веселием вступил
На путь трудов, для сердца вечно милых!
Всю жизнь мою я им бы отдал в дар:
Я обнял бы мелькнувшие мне тени,
Их оживил, в них пролил бы свой жар,
И кончил дни средь чистых наслаждений.

Но жизни цепь (ты хладно скажешь мне)
Презрительна для гордого поэта:
Он духом царь в забвенной стороне,
Он сердцем муж в младенческие лета.

Я б думал так; но пренеси меня
В тот край, где все живет одушевленьем,
Где мыслию, исполненной огня,
Все делятся, как лучшим наслажденьем,
Где верный вкус торжественно взял власть
Над мнением невежества и лести,
Где перед ним молчит слепая страсть
И дар один идет дорогой чести!
Там рубище и хижина певца
Бесценнее вельможеского злата:
Там из оков для славного венца
Зовут во храм гонимого Торквата.
Но здесь, как здесь бороться с жизнью нам
И пламенно предаться страсти милой,
Где хлад в сердцах к пленительным мечтам
И дар убит невежеством и силой!
Ужасно зреть, когда сражен судьбой
Любимец Муз и, вместо состраданья,
Коварный смех встречает пред собой,
Торжественный упрек и поруганья.

Еще бы я в душе бесчувствен был
К ничтожному невежества презренью,
Когда б вполне с друзьями муз делил
И жребий мой и жажду к песнопенью.
Но я вотще стремлюся к ним душой,
Напрасно жду сердечного участья:
Вдали от них поставлен я судьбой
И волею враждебного мне счастья.
Меж тем, как вслед за днем проходит день,
Мой труд на них следов не налагает,
И медленно с ступени на ступень
В бессилии мой дар переступает.
Невольник дум, невольник гордых Муз,
И страстию объятый неразлучной,
Я б утомил взыскательный их вкус
Беседою доверчивости скучной.
К кому придти от жизни отдохнуть,
Оправиться среди дороги зыбкой,
Без робости вокруг себя взглянуть
И передать с надежною улыбкой
Простую песнь, первоначальный звук
Младой души, согретый первым чувством,
И по струнам движенье робких рук,
Не правимых доверчивым искусством?

Кому сказать: «Искусства в общий круг,
Как братьев, нас навек соединили;
Друг с другом мы и труд свой и досуг,
И жребий наш с любовию делили;
Их счастием я счастлив был равно;
В моей тоске я видел их унылых;
Мне в славе их участие дано;
Я буду жить бессмертием мне милых»?
Напрасно жду. С любовию моей
К поэзии, в душе с тоской глубокой,
Быть может, я под бурей грозных дней
Склонюсь к земле, как тополь одинокий.

ПИР

Что заграждает предо мною
Просторный путь широких стогн?
Откуда позднею порою
В глаза мне блещет яркий огнь?
Зачем здесь шумные возницы
В ряды сдвигают колесницы?

Не храм ли вижу божества,
Где совершаются моленья
Во дни святого торжества
Среди полунощного бденья,
И верой движимый народ
Со всех сторон к нему течет?

Но я внимаю с изумленьем
Музыки сладострастной звон,
И всех неистовым круженьем
По храмине колеблет он;
Лишь тени сонмов оживленных
Мелькают в окнах освещенных.

Смягчи, мудрец, суровый взгляд!
Приди на срочное веселье!
Здесь труд заботный средь отрад
Легчит невинное безделье:
Оно рассеет мрачность дум
И оживит холодный ум.

Зачем томиться одиноко
В углу угрюмой тишины?
Нам блага мудрости высокой
Для наслаждения даны:
Веселья миг уловим краткий!
Потешим жизнь забавой сладкой!

Я в сонме радостных гостей:
Все утопает в наслажденьи;
Сияет роскошь средь огней;
Еще в томительном круженьи
По знакам бдительной чреды
Живые движутся ряды.

Беспечно тучная лишь дремлет
На пурпурном диване лень;

Ее хранительно объемлет
Спущенных занавесов тень,
Да, шепот изредка скрывая,
Вдали сидит чета младая.

Протяжнее музыки звук;
Нежнее страстные напевы,
И расступился шумный круг;
И, гибкий стан прелестной девы
Обивши юноша рукой,
Как Фавн повлек ее с собой.

Давно приличие сорвало
С ее пленительной груди
Защиту девства, покрывало:
Глазам преграды нет. Гляди,
Как дерзкий взор его сверкает —
В нем страсть виновная пылает.

Прикосновенье жарких рук,
Давно встревоженные чувства,
Весельем упоенный круг,
Очарование искусства
И для объятий вольный миг —
Все разжигает страсти в них.

В ее глазах любви приметы
Страсть беспокойная прочла,
И сокровенные ответы
Рука нескромная дала,
И робкий стыд в лице прекрасной
Сменен улыбкой сладострастной.

Нет, нет! Да будет проклят тот,
Как враг семейственного счастья,
Кто вздумал первый от забот
Покоить негой сладострастья;
Кто скромный с девства снял покров
И разлучил с стыдом любовь!

Зачем разврат мешать в забавы,
Покой невинности губить?
Зачем порочные уставы
С упорной набожностью чтить,
И языком правдивой чести
Не объявить бесстыдству мести?

Пора страстей придет сама;
Пускай же скромность вяжет страсти!
Довольно жертв на счет ума
Мы принесли порока власти:
Ужели в слабости своей
Все посвятим утехи ей?

Смотри: уж полдни наступают,
А соблазнительные сны
Людмилу страстную ласкают
Еще на ложе тишины;
Ей на уста кладет виденье
Горячих уст напечатленье.

Но вот разрушена мечта
Приходом матери заботной;
На голос ласки красота
Дает ответы неохотно,
И, одр покинувши, она
Хранит на сердце образ сна.

Ей мрачен терем одинокий,
Уединенный труд тяжел,
И в тишине ее глубокой
Тоска, желания посол:
Она томится ожиданьем
И грусть делит с одним мечтаньем.

Отравлены младые дни:
Утехи с юностью простились;
Мученья тайные одни
Под кровлей мирной водворились,
И слышимы в ночной тиши
Лишь вздохи, жалобы души.

А ты, беспечная Мальвина,
Играй в кругу своих подруг!
Тебе неведома кручина
И боль сокрытых в сердце мук.
Живи для счастья в тихой доле
И расцветай как роза в поле!

Тебя посредственность дарит
В родном дому утехой скромной:
Она красу твою хранит

От дерзких глаз и страсти томной:
Тебе любовь не даст венца
Без нежной радости отца.

Родства и дружбы круг смиренный,
Приют некупленных утех!
Как я люблю твой пир священный,
Твой скромный шум, твой скромный смех!
В тебе мое отдохновенье:
Ты для души уединенье.

К ВЯЗЕМСКОМУ

Любезный Вяземский, затейливый остряк,
Упрямой глупости писцов жестокий враг,
Презревший робкое ласкателей потворство!
Давно твоих стихов аттическую соль
И Музы пламенной благое ратоборство
Я искренно люблю. Но признаюсь (позволь
Знакомцу новому сказать чистосердечно!),
Мне нравится не все в тебе, наш Буало!
Поборник истины, ты с гневом гонишь зло —
А все порок один клеймишь бесчеловечно.
Скажи, поэт: за что вооружился ты
Против писателей дурных своей сатирой?
За что лишь им грозишь ты мстительною лирой
И разгоняешь их прелестные мечты?
Несчастные слепцы, отверженные Фебом,
Виновны ли они пред неприступным небом?
Пусть песни их ничей не услаждают слух;
Но жизнею горит их деятельный дух.
Ужель в твоих глазах невинная утеха
Как преступление заслуживает месть?
Она сама себе бесчестие иль честь,
Награда славная или источник смеха.
Кто слабости изъят, когда он человек?
Пусть долг свой платит всяк природе целый век
Такою малостью; пускай всю жизнь не знает
Иных пороков он, и безобидный враль,
Проснувшись для стихов, над ними засыпает:
Я не виню его, хоть мне его и жаль.

Другое, Вяземский, обширнейшее поле
Для Музы выбери! Она пройдет его
Со славой для ума и вкуса твоего;
Она доставит нам прямых уроков боле.
Взгляни на сонмище презрительных невежд,
Постыдной леностью бесчестно усыпленных!
Порода их зовет средь подвигов почтенных
Хранить свой давний блеск: от них ли ждать надежд?
Другие подвиги услужливая скука
Выдумывает им: веселою гурьбой
Они против зверей летят на славный бой,
И зайцев побеждать знакома им наука.
По долгу своему защитники полей
И хижин поселян, они для насыщенья

Безумных прихотей беспечности своей
Разносят по полям следы опустошенья.
Напрасно земледел, согбенный над сохой,
Бродил вдоль полосы протекшею весной
И пòтом орошал наследственное поле,
Богатство милое в его несчастной доле;
В невинной радости напрасно слезы лил,
Любуясь издали волнующейся нивой;
Они промчалися — как лютый вихрь сгубил
Созревшие плоды руки трудолюбивой.

Всмотрися, Вяземский, в героев молодых,
Отважно рвущихся на поприще Беллоны!
Чего отечество потребует от них?
Одной ли дерзости и крепкой обороны?
Созрела ль их душа? Напитан ли их ум
Высоким знанием и мужества и чести?
Их сердце нежное, среди прекрасных дум,
Училось ли смягчать порывы низкой мести?
О, сколько подвигов бессмертных и святых
Готовит поприще блистательное их!
Но что ж увидишь ты в толпе сих Леонидов,
Защитников граждан, отечества опор?
Куда направлен их нетерпеливый взор?
Где радостный конец их горделивых видов?
Они свершили все, им нечего желать,
Они достигнули своей далекой меты,
Когда блестящие надели эполеты.
Счастлив еще иной, когда успел сыскать
Иль друга нежного, иль тихие забавы!
Зачем притворствовать? Не часто ль видим мы
Героев будущих, воспитанников славы,
Внезапно гибнущих, как будто от чумы,
От поединков сих, постыдного убийства?
Где Ювеналов бич и мщение витийства?
Вооружися им! Злодейства не щади,
Когда уже оно с открытой головою!
Разбойника в позор казнят на площади, —
А как того назвать, кто хладною рукою
В преступном мщении возносит буйно меч,
Чтобы другого жизнь насильственно пресечь?
Зачем тебе молчать, наследник Ювенала?
Вступись в свои права и заклейми порок!
Пускай для черни он и силен и высок:
Тебе ль робеть его губительного жала?

Ужель не видишь ты, как гибельная лесть,
Забыв обет царю, унизив долг и честь,
Пронырствами идет на высшие ступени
И мыслит попирать незыблемый закон?

Судья в расправе чужд и отдыха и лени,
И правду грозную таить не любит он;
Тот не поэт, кто ждет от Муз одной забавы;
Для добродетели пиши, пиши для славы!
Пусть смелый голос твой злодеев устрашит —
И лаврами тебя отечество почтит.

К МЕЧТАМ

Младые призраки, друзья моей души,
О вы, пленительные думы!
Не льстите больше мне! Хочу в своей глуши
Без вас окончить век угрюмый.

Непрочен ваш союз. Ваш голос сладок мне;
Но вы коварные сирены:
Вы обольщаете в неверной тишине
Для страшной в будущем измены.

Чем к жизни приковать тебя, игривый рой,
Твой голос к жаждущему слуху?
С кем век остался ты, как в юности златой,
Утехой страждущему духу?

Мечты, кто счастлив был и после не рыдал,
С презрением отвержен вами?
И кто в отчаяньи судеб не укорял,
Бродя один под небесами?

Давно ль товарищ ваш, пленен волшебным сном,
Вам посвящал свои утехи?
Он видел только вас, и над его челом
Носились радости и смехи.

Он струн, исполненных священного огня,
Для вас рукою прикасался,
И гул их сладостный, веселием звеня,
Как эхо гор передавался.

Казалось, жизнь его, беспечности полна,
В утехах легких пронесется,
Как по лугу весной сребристая волна
Между цветами Флоры льется.

Увы, исчезло все! Уж светлое чело
Печалью мрачной обложилось.
Еще в весне его веселье отцвело
И сердце с радостью простилось.

Я вижу: бродит он задумчив и угрюм,
Ни с кем не делится слезами.
Вас нет, изменницы: он полон мрачных дум,
Молчит и дик между друзьями.

СУДЬБА

Неизбежимый рок следит повсюду нас:
Ему обречены мы все, во всякой доле,
И он, нежданный, к нам идет в свой страшный час.

Сидит ли мощный царь беспечно на престоле,
Иль мчится по морю с заботою пловец,
Иль жадно славы ждет на ратном воин поле, —

Равно им близок всем погибельный конец —
И жертвы, избранной властительной судьбою,
Ни злато не спасет, ни храбрость, ни венец!

Напрасно, окружен ласкателей толпою,
Поверит счастию увенчанный Помпей
Иль Цезарь, взявший власть победною рукою:

Им преждевременной погибели своей
На миг не отвратить. Как страж, во тьме сокрытый,
Она внезапно их постигнет средь честей.

Блажен, чей полон дух незыблемой защиты
Противу гневного явления судьбы!
Блажен, кто чист душой! Он, счастьем позабытый,

Среди томительной с напастями борьбы,
Как прежде, правый путь, им избранный, свершает
И смерть приветствует без слез и без мольбы.

Так из семьи друзей в темницу поспешает
Божественный Сократ, с спокойствием в лице;
Так мученик святой за веру умирает,
Лобзая тяжкий крест, в страдальческом венце!

ЖИЗНЬ

Я дань принес поре мечты.
Пора обманов сердцу милых,
Как обольстила сладко ты
Толпу желаний легкокрылых!

Мечту сменил огонь любви,
Младого сердца упоенья.
Как жизнь украсили они
И оживили наслажденья!

Мелькнула слава предо мной —
И новый мир душа узрела;
Рвалась удел возвысить свой,
И гордо к подвигам летела.

И все в душе моей прошло,
Как детства первые забавы:
Чредою время унесло
Обман мечты, любви и славы.

Мне мудрый опыт указал
Покой надежный без волненья;
Но что ж? я счастье только знал,
Пока был чужд успокоенья.

РОДИНА

Есть любимый сердцу край;
Память с ним не разлучится:
Бездны моря преплывай —
Он везде невольно снится.

Помнишь хижин скромный ряд,
С холма к берегу идущий,
Где стоит знакомый сад
И журчит ручей бегущий.

Видишь: гнется до зыбей
Распустившаяся ива,
И цветет среди полей
Зеленеющая нива.

На лугах, в тени кустов,
Стадо вольное играет;
Мнится, ветер с тех лугов
Запах милый навевает.

Лиц приветливых черты,
Слуху сладостные речи
Узнаешь в забвеньи ты
Без привета и без встречи.

Возвращаешь давних дней
Неоплаканную радость,
И опять объемлешь с ней
Обольстительницу-младость.

Долго ль мне в мечте одной
Зреть тебя, страна родная,
И бесплодной жить тоской,
К небу руки простирая?

Хоть бы раз глаза возвесть
Дал мне рок на кров домашний
И с родными рядом сесть
За некупленные брашны!

К И. И. КОЗЛОВУ

Невольники своих страстей,
Отдавшись прихотям желаний,
Не видим мы спокойных дней
Средь наслаждений и страданий.

Когда попутный ветер нам
На море жизни в парус дует,
Мы быстро мчимся по водам,
Нас нетерпение волнует.

Застигла ль буря на пути —
Наш ропот к небесам восходит;
Бессильны мы беды нести;
Везде дух немощи нас водит.

Вся жизнь смущение надежд:
Мы то страшимся, то желаем,
И ни на миг усталых вежд
Во сне беспечном не смыкаем.

Но где ж душа, покоя страж,
Залог любви обетованной
И проводник незримый наш
В пути до пристани желанной?

Увы, ее невнятен глас!
Мы внемлем голосу измены:
И обаяли чувства нас,
Как баснословные сирены.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Три звездочки на небе есть;
С них не могу и глаз я свесть:
Идут все рядом и сияют
И утром вместе погасают.
Быть может, в стороне иной,
Как солнца свет, и их сиянье
То льется по небу зарей,
То нежит землю теплотой
И шлет дубравам одеянье.

Но для души моей оне
Все говорят о старине.
И мне три звездочки сияли
И сердце сладко согревали:
То дружба, слава и любовь.
Я помню их очарованье —
Но не кипит, как прежде, кровь,
И не согреет сердца вновь
Их благодатное сиянье.

ИЗМЕНА

Улетает, улетает
Легкокрылая мечта;
Изменяет, изменяет
И весна и красота.

Что спешите? поиграйте!
Оживите сердце вновь!
Улыбнитесь и отдайте
Первых лет моих любовь!

Все напрасно: ни желанья,
Ни надежды не сбылись!
Не услышали призванья:
Полетели, унеслись.

Так осеннею порою
С увядающих полей
Поднимается грядою
Стадо вольных журавлей.

РАЗЛУКА

Я знал ее: как первый луч,
Блеснувший утром из-за туч,
Она явилась предо мною.
Мы были сердцем и душою
Для благ взаимных сведены
И друг для друга созданы.
Покорны первому участью
И первому доверив счастью,
В невинной простоте своей,
Не знали тайных мы сетей
И несмыкавшегося ока
Вкруг нас бродившего порока —
Счастливым всех любить легко!
Но мы прошли недалеко
Путем невинных наслаждений.
Явился к нам враждебный гений;
Он образ дружества носил
И нас внезапно разлучил.
Увы, не возвратить, что было
Так сердцу дорого и мило!
Теперь навек я розно с ней.
Но вся она в душе моей:
Мой слух словам ее внимает,
С ней сердце чувства разделяет.
Так путник утренней порой
Глядит за птичкой над собой:
Она поет и выше вьется,
Скрывается; но раздается
Ее отрадной песни звон,
И жадно ей внимает он.

К ТОВАРИЩАМ

Когда веселою толпой
Влетает ваш блестящий рой
В ее отрадную обитель
И ваш играет резвый ум —
Безмолвный, непременный зритель,
Исполненный тяжелых дум,
Поникнув томными очами,
Я остаюсь при ней меж вами.
Она, печальна ль, весела ль,
Отрадой сердце наполняет;
Ее пленительна печаль,
Ее веселье умиляет.
Как с нею радость вам милей
И ближе к сердцу наслажденье;
Мое страдание при ней
Свое находит утешенье.
Как облака, сходясь к луне,
Внезапно вид меняя мрачный,
Сияют, как туман прозрачный;
Так думы черные во мгле
При ней осветятся невольно —
И сердце жизнею довольно.

А. Н. С<ЕМЕНО>ВОЙ

Покой души, забавы, ожиданья,
Счастливые привычки юных лет,
Все радости, чем нам прекрасен свет
При шепоте игривого мечтанья,
От нас судьба берет без состраданья,
И время их свевает легкий след,
Как хладный ветр уносит поздний цвет,
Когда пора настанет увяданья.

Одно душа заботливо хранит,
Как тайный дар любви первоначальной:
От ранних лет до старости печальной
Друг первый с ней. Его улыбка, вид,
Движенья, взор — все с нею говорит,
Все к ней летит, как звук музыки дальной.

ПОСЛАНИЕ К Ж<УКОВСКОМУ>

Внушитель помыслов прекрасных и высоких,
О ты, чей дивный дар пленяет ум и вкус,
Наперсник счастливый не баснословных муз,
Но истины святой и тайн ее глубоких!
К тебе я наконец в сомненьи прихожу.
Давно я с грустию на жребий наш гляжу, —
Но сил недостает решительным ответом
Всю правду высказать перед неправым светом.

В младенческие дни, когда ни взор, ни слух
За тесный наш предел с заботой не стремятся,
Когда нам резвые забавы только снятся
И пламени страстей не знает кроткий дух,
Зачем уроками возвышенных деяний
С душой роднить толпу чарующих мечтаний?
Смотри на юношу, как жадно ловит он
Движенье, взгляд иль звук, где чувство промелькнуло!
Счастливец молодой, он видит милый сон:
Еще его надежд ничто не обмануло.
Душа напоена и тем, что свято есть,
Что за предел земной все мысли увлекает,
И тем, что изрекла в законах вечных честь,
И тем, что нежный вкус, что строгий ум питает;
Свобода, слава, долг на поприще зовут;
И выбран жизни путь: пришла пора желаний;
Там дружба и любовь в объятия нас ждут
С богатством пылких чувств, сих милых нам стяжаний.
Мечты прелестные, чистейший огнь души,
Не исходите вы из стен, где освящали
Утехи кроткие и кроткие печали!
Останьтеся навек в неведомой тиши!
На жизненном пиру, в веселых сонмах света,
Не ждите вы себе ни места, ни привета!
Бездушные рабы смешных уму забав
Не знают нужды в вас: они свой сан презрели
И, посмеянием все лучшее поправ,
Идут своим путем без мыслей и без цели.

Какое чувство там удастся разделить,
Где встретится с тобой иль шут, или невежда,
Где жребий твой решит поклон или одежда
И где позволено лишь глупость говорить?

Отрадно ли душе, желаньем увлеченной
Возвышенной любви и милых сердцу уз,
Любовию сгорать к красавице надменной,
Для коей твой наряд есть разум твой и вкус?
Я с горем оценил сей пышный цвет природы,
Сих похитительниц веселья, сна, свободы.
Их сладость голоса, искусство ног и рук;
Наружностью одной глаза они пленяют:
Так вазы чистые пред зеркалом сияют —
Но загляни, что в них — огарок иль паук.

Один несчастный был: он, гладом изнуренный,
В ужасной нищете добыча мрачных дум,
Не призренный никем и дружбою забвенный,
Судьбы не победил и свой утратил ум.
Но в памяти его осталося желанье
От глада лютого себя предохранять:
Он камни счел за хлеб и стал их сберегать;
И с благодарностью он брал их в подаянье,
Когда без умысла игривою толпой
С сим даром вкруг него детей сбирался рой.
И что же наконец? Он, бременем томимый,
Упал, и подавлен был ношею любимой.
Вот страшный жребий наш! Ослеплены мечтой,
Мы с наслаждением спешим в свой век младой
Обогатить себя высоким и прекрасным;
Но, может быть, как он, с сокровищем опасным,
Погибель только мы найдем в пути своем
И преждевременно для счастья с ним умрем:
Оно к земным бедам свои беды прибавит,
Рассудок омрачит и сердце в нас раздавит.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я мрачен, дик, людей бегу.
Хотел бы иногда их видеть;
Но я не должен, не могу:
Боюсь друзей возненавидеть.

Не смею никого обнять,
На чьей-нибудь забыться груди;
Мне тяжело воспоминать,
Мне страшно думать: это люди.

ИДЕАЛ

Благославляю сень дубров,
Мою деревню, сад и поле;
Не беден я, живу на воле;
Не знаю тягостных трудов;
Есть полка книг, гряда цветов,
Пишу стихи: чего ж мне боле?

С. М. С-ой

Была пора: ты в безмятежной сени
Как лилия душистая цвела,
И твоего веселого чела
Не омрачал задумчивости гений.

Пора надежд и новых наслаждений
Невидимо под сень твою пришла
И в новый край невольно увлекла
Тебя от игр и снов невинной лени.

Но ясный взор и голос твой, и вид,
Все первых лет хранит очарованье,
Как светлое о прошлом вспоминанье,

Когда с душой оно заговорит
И в нас опять внезапно пробудит
Минувших благ уснувшее желанье.

КНЯЖНЕ С. Р-ль

Так в привиденьи идеала
Ему представилася ты:
И кисть поэта срисовала
Твои воздушные черты.

Его потухнувшие очи
Печальною покрыты мглой;
Но и во мраке тяжкой ночи
Он видел ясно образ твой.

Еще он видит, что прекрасно,
Как мы на темных небесах
Осенней ночью месяц ясный
Видаем в тонких облаках.

ВОСПОМИНАНИЕ

Как ветер полевой опавшими листами
Играет на лугах по прихоти своей,
Так водит нас судьба вдоль жизненных путей.
В невольном странствии не ведаем мы сами —
Куда лежит наш путь и что вдали нас ждет!

Минутные друзья под кровом безмятежным,
Мы все нашли, что жизнь прекрасного дает,
И круг разрознен наш, где счастьем ненадежным
На миг повеселить судьба хотела нас!
В дорогу новую и с новым ожиданьем
Какой от прошлого нам взять с собой запас?
Пускай, беседуя с немым воспоминаньем,
Мы тайно сохраним хоть призрак прошлых дней,
И наши радости, чуть слышимо провея,
Мелькнут нам в воздухе опять толпой своей —
Так путник часто пьет на бархате полей
Воздушный аромат, где отцвела лилея.

СТАНСЫ К Д<ЕЛЬВИГУ>

Дельвиг! Как бы с нашей ленью
Хорошо в деревне жить;
Под наследственною сенью
Липец прадедовский пить;

Беззаботно в полдень знойный
Отдыхать в саду густом;
Выдти под вечер спокойный
Перед сладким долгим сном;

Ждать поутру на постеле,
Не зайдет ли Муза к нам;
Позабыть все дни в неделе
Называть по именам;

И с любовью не ревнивой,
Без чинов и без хлопот,
Как в Сатурнов век счастливый,
Провожать за годом год!

САДОВНИК

Как на небе светло, когда остатки бури
Пролетный свеет ветр с увлаженной лазури!
Как тихо на душе, когда, собой полна,
От суетных страстей избавится она!
Не почестей обман, не зависти печали
Под старость мудреца к предместью приковали,
Где с наслаждением и славу и мечты
Сменил он на свои деревья и цветы:
Презрев ничтожество заботливости праздной,
Он пользу полюбил и труд однообразный.
Одна молитва к вам, благие небеса:
Пошлите мне в удел сенистые леса!
В пустынном уголке создав себе обитель,
И в хлад, и в дождь, и в зной дерев моих хранитель,
Смягчая вкус плодов прививкой нежных лоз
И тучной насыпью лелея купы роз,
На Невских ли брегах или родимой Волги,
Я век бы проводил и счастливый и долгий.

МОРЕ

Воспоминание, один друг верный мне,
Разнообразит дни в печальной стороне.
Бесцветной пеленой покрылись неба своды
И мертвы красоты окованной природы,
А взор мой, в этот миг, пленяясь и горя,
Объемлет с жадностью привольные моря,
А слух мой ловит гул и плеск волны мятежной,
Музыку вечную обители прибрежной.

К ТЕРПЕНИЮ

Меня приял надежный кров,
Пришельца из страны далекой:
Участье, дружба и любовь
Смягчили жребий мой жестокий.

Доверчиво вкушаю сон,
Мой отдых по трудах тяжелых:
Лишь радость мне пророчит он
В своих сказаниях веселых.

Как на родном брегу пловец
Позабывает ужас моря;
Так, встретив я в пути конец,
Протекша и не помню горя.

К тебе признательный мой глас,
Терпение — руководитель!
Меня в пути ты ни на час
Не покидал, мой охранитель!

Со мной везде от ранних лет,
И в сиротстве и в отчужденье;
Как верный друг средь тяжких бед,
Ты для меня был услажденье.

С тобою труд не страшен был;
Душа бессрочно не упала,
И в изнуреньи гордых сил
Над жребием торжествовала.

Когда меня жестокий суд
Теснил неправым приговором,
Ты скорбь ценил и мне приют
Указывал спокойным взором.

Вотще разрушить мой покой
Рвалась неистовая сила;
Я был храним твоей рукой:
Моих врагов она смирила.

И в чувстве гордости моей,
Дыша непобедимой волей,

Постыдных не взял я цепей,
Приуготованных мне долей.

На жертвенник склонившись твой,
Под кровом безмятежной сени,
Без страха с новою судьбой
Готов я встретиться, мой гений!

БЕЗВЕСТНОСТЬ

За днем сбывая день в неведомом углу,
Люблю моей судьбы хранительную мглу.
Заброшенная жизнь, по воле Провиденья,
Оплотом стала мне от бурного волненья.
Не праздно погубя беспечность и досуг,
Я вымерял уму законный действий круг,
Он тесен и закрыт, но в нем без искушенья
Кладу любимые мои напечатленья.
Лампада темная в безмолвии ночей
Так изливает свет чуть видимых лучей,
Но в недре тишины покойно догорает
И темный свой предел до утра освещает.

ЖЕРТВА СУДЬБЫ

В обитель мрачную супруга Прозерпины,
С толпой в Аидов дом вступающих теней,
Неведомый слепец предстал перед судей
Загадку разрешить земной своей судьбины.
— Кто ты, Япетов сын? — спросил его Минос.
«Премудрый судия, — ответствовал несчастный, —
Что я скажу на твой таинственный вопрос?
Мне жизнь превиделась как Фурий дар ужасный.
Изгнанник без вины, младенцем я страдал;
Моей поверженный рукой, погиб родитель,
И, странника, меня венец с престолом ждал,
Чтобы убийца-сын был сын-кровосмеситель;
Ужасный для себя, ужасный для людей,
Спаситель родины, отверженник природы,
В невинной слепоте и жертва и злодей,
Я страшным именем своим смущал народы;
В недужной старости дряхлевшего слепца,
Сорвав с меня венец, любимые мной чада
Бесславью предали несчастного отца
И выгнали меня из отческого града». —
Довольно: ты Эдип (Минос ему в ответ).
Итак, узнай же здесь свой жребий сокровенный:
Непроницаемый вовек богов совет
Послал тебя в урок властителям вселенной.
На гордой высоте престолов золотых
Они бессильные рабы верховной воли;
Блистающий венец чела не скроет их
От взоров мстительных неизбежимой доли:
Один Сатурнов сын, властительный Зевес,
До ада низит их иль высит до небес.

АНАКРЕОН

Полно вам меня томить,
Проповедники сухие!
Что за прибыль погубить
Без веселья дни младые?
Нет на сердце веры к вам
И пророческим обетам:
Сердце верит не словам,
Не затверженным советам.
Веселее мне идти
По цветущему пути
За философом теосским.
Он не потчевал гостей
В светлой храмине своей
Ни водой, ни ложем жестким.
Он с улыбкой их встречал
И гостям своим в отраду
Выжимал из винограду
Сок в живительный покал.
Бога Вакха там хвалили
И богиню красоты;
Пили весело, любили
И от трапезы спешили
Под Морфеевы цветы.
Так наставник мой ленивый
От поры цветущих роз
До серебряных волос
Проводил свой век счастливый!
Он до смерти пел и пил;
Но Эрот его хранил —
И, с улыбкою коварной
Наливая сок янтарный,
Он бессмертье в чашу лил.

Дельвиг мой и мой Евгений!
Для чего ж не жить и нам
Под законом Муз и лени?
Поскорее по рукам!
Миг цветут цветы веселья;
Не увидим, как придем
К общей двери новоселья:
Поживем, пока живем!

К ГНЕДИЧУ И БАРАТЫНСКОМУ

Есть край за Пулковской горою,
Куда встревоженная лень
Спешит от солнечного зною
Под вековую рощей тень.

Там бесконечными рядами
Сенистых лип сады цветут;
Под их склоненными ветвями
Прохлады сладостный приют.

Там дремлют зеркальные воды
В тени недвижимых древес,
И в лоне их яснеют своды
Преобратившихся небес.

Туда, о Гнедич и Евгений,
Ваш путь желаемый готов;
И царскосельские вам сени
Дадут гостеприимный кров,

А мне в удел одно терпенье, —
Таков судьбы моей закон.
Но что ж, и мне есть утешенье:
Труды, и Музы, и Барон.

ВАЛЬТЕР СКОТТ

Во глубине души великого Поэта
Нетленье обрели давнопротекши лета.
Над их святынею в благоговеньи дум
Животворительный его провеял ум:
Они воскреснули. Но храм, где чудо зрели,
Покровы черные (символы слез) одели:
В созданье преселив животворящий дух,
Восторженный поэт довременно потух.

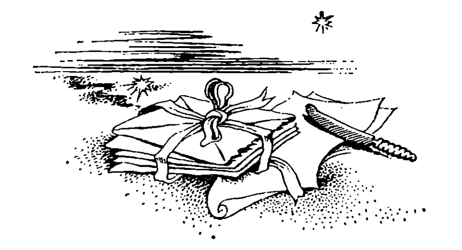
К А. Н. МАЙКОВУ

Не нам тебя благословлять...
Жанна д'Арк. Жуковский.

Ты — Авель. Стих твой ароматный,
От сердца возносясь, встает
Как дым от жертвы благодатный
И мирно к небесам идет.

Молюсь, да благодать святая
Тебя обымет и хранит,
Да Каин, злобою пылая,
Тебе их жертвы не узрит.

Письма



1. А. С. ПУШКИНУ

22 генваря 1825 г. СПб.

Как быть, милый Пушкин! Твое письмо пришло поздно. Первый лист «Онегина» весь уже отпечатан, числом 2400 экзем [1]. Следственно, поправок сделать нельзя. Не оставить ли их до второго издания? В этом скоро будет настоять нужда. Ты, верно, уже получил мое письмо с деньгами 500 р. По этому суди, что работа у нас не дремлет, когда дело идет о твоих стихах. Все жаждут. «Онегин» твой будет карманным зеркалом петербургской молодежи. Какая прелесть! Латынь мила до уморы. Ножки восхитительны. Ночь на Неве с ума нейдет у меня. Если ты в этой главе без всякого почти действия так летишь и скачешь, то я не умею вообразить, что выйдет после. Но «Разговор с книгопродавцем» верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем какая свобода в ходе! Увидим, раскусят ли это наши классики? Они до слез уморительны. Прочитай во 2-м № «Сына Отечества» брань на мое «Письмо о русских поэтах» [2]. Бранятся за Баратынского, как будто он в своей раме не совершенство, какого только можно желать. Бранятся за Жуковского, как будто не с него начался у нас чистый поэтический язык. Бранятся за Державина, как будто нельзя быть высочайшим поэтом, не попадая в золотой век. А Гомер-то? Но сделай милость, держи при критике и мое письмо. Они меня криво толкуют. Они хотят уверить, что я поместил тебя в число плаксивых элегиков, когда я упомянул, что игривость твоя не мешает тебе в то же время быть исполненным самою трогательною чувствительностию. Они думают сделать тебе честь, сказавши, что у тебя один поэтический ум, а нежных и глубоких движений сердца ты не разумеешь. Они разочли, что великому поэту смешно быть чувствительным. Им кажется, что Шаликов [3] чувствителен. Вот судьи на-

ши! Радуйтесь, чернь рукоплещет. Но полно о глупостях.

Козлова завтра увижу и прочитаю твое письмо. Он твоим словом больше дорожит, нежели всеми громкими похвалами. Его «Байрон» (мне давно казалось) по частям лучше, нежели в целости. Историю никак не уломаешь в лирическую пиесу. Рылеев это прежде него доказал своими Думами. Какие мерзости с Дельвигом делают эти молодцы за «Северные Цветы». У них на Парнасе толкучий рынок. Все для денег.

О себе прошу тебя. Если ты доброжелательствуешь мне: говори прямее. Шутка конечно мила; но дело нужнее. После твоих побранок мне легче исправляться. О стихах я уж не спрашиваю. Но что проза? Главное: есть ли слог? Без него, по моему мнению, нет и прозы. Истина мыслей рано или поздно приходит, а слога не возьмешь ни из грамматики, ни в книгах не начитаешь. Тебе со стороны легче видеть все ясно. Толков ты не слышишь. Одно осталось тебе: диктаторствуй над литературными плебеянами, да и только!

Я жду от тебя ответа нетерпеливо. Пиши обо всем, что ты думаешь начать или с новыми, или с прежними изданиями. Если хочешь денег, то распоряжайся скорее. Когда выйдет Онегин, я надеюсь скопить для будущих изданий значительную сумму, не отнимая у твоих прихотей необходимого.

2. А. С. ПУШКИНУ

7 февраля 1825 г. СПб.

Мне Дельвиг часто повторяет пословицу русскую: если трое скажут тебе: ты пьян, то ложись спать. После твоего письма о моем несчастном «Письме к графине»[1] пришлось мне лечь спать. Его облаяли в «Сыне Отечества»; Баратынский им недоволен, ты тоже. Я тебе очень благодарен, милый Пушкин, за все твои замечания. Теперь я буду верить всему, что ты ни скажешь мне. Этого только и добивался я от тебя. Повторю свое:

Твой гордый гнев
Утешнее хвалы простонародной[2].

И в самом деле: что за радость писать, когда не узнаешь о себе правды от людей, которых любишь и мнением которых дорожишь? Но все это не отнимает у меня права

защищаться перед тобою, хоть для одного удовольствия дольше писать к тебе.

1) Я писал к даме, ей-богу, не из куростройства, но из простодушного доброжелательства хоть двух-трех из них заставить прочитать что-нибудь по-русски; особенно хотелось мне завлечь их любопытство познакомиться с нашими поэтами, когда они узнают хоть по одной пиесе из каждого. Они, сколько бы мы их ни бранили, все-таки участием своим много пособляют переносить тяжелое бремя авторства, особенно где нет совсем времени деловым людям заниматься ни прозой, ни стихами. 2) о Ламартине [3] я потому должен был часто упоминать, что он (как ты заметил из начала письма) был, так сказать, *пари* нашего разговора. Ты уж гляди на эту вещь в той раме (пусть она дрянная), в которой я ее поставил. 3) Мнение о русской антологии, которую я воображаю не более, как в два-три печатных листка, не только мое, но и Крылова-Лафонтеновича. 4) Разделения наших поэтов в моем письме настоящего нет, а употребленное мною есть маленькая хитрость, чтобы только сообщить ей, кто отписал и кто пишет. Как ты прикажешь сделать, когда и этого не знают? 5) Драматических писателей я пропустил потому, что вообще полагаю наши трагедии и комедии (выключая «Недоросль»), если не совсем ничтожными, по крайней мере дурными в отношении к другим родам. Шаховской, мне кажется, тоже со временем получит за свои комедии, что Херасков [4] получил уже от нашего века за свои поэмы. Катенина талант я уважаю, но жестких стихов его не люблю. Хмельницкий [5] опрятен, но в нем истинной поэзии не больше как и в наших актрисах. 6) У Дмитриева [6] есть пять-шесть страниц, которых, кажется, не сгладит время. В bévues * грешен — не знал. 7) О Туманском [7] и А. Крылове [8] согласен с тобой. Впрочем, я многих из молодых назвал за то, что у них есть какое-то ухо, а я терпеть не могу, у кого одни только уши, как напр. у Воейкова [9] и ему подобных. 8) Об языке чувств неясно выразился. Мне хотелось сказать, что до Баратынского Батюшков и Жуковский, особенно ты, показали едва ли не все лучшие элегические формы, так что каждый новый поэт должен был непременно в этом роде сделаться чьим-нибудь подражателем, а Баратынский выплыл из этой опасной реки — и вот что особенно меня удивляет в нем. 9) О золотом веке можно только гадать: но как уж не подозревать

---

* промахи, оплошности *(фр.)*.

его, когда наши стихи стали писать правильнее, свободнее и яснее прозы? 10) Разнообразна ли наша Словесность? В поэзии у нас довольно разнообразия, судя по числу истинных поэтов. 11) Направления нет — я похвастал. 12) Что такое Державин? На это очень желаю получить от тебя хоть несколько строчек, тем более, что я пока в душе почитаю вековечными только его, Крылова и А. Пушкина, если он на меня за это не сердится и не скажет мне дурака. 13) Твоего различия Батюшкова от Вяземского не знаю: скажи, ради бога! А Батюшков для меня прелесть. Заключу: я это писал письмо к такой женщине, которая от доброй души говорила, будто ей нечем заменить Ламартина по-русски. Тебе смешно, а мне было до слез больно. Таким образом я с досады все видел у нас в лучшем виде, нежели оно в самом деле. Впрочем, кажется мне, для успехов литературы полезнее по-моему пристрастно хвалить, нежели так невежественно отзываться о Крылове (за то, что у него теперь нет *русских* куриц и *русских* медведей), о Жуковском (за то, что нельзя нарисовать прелести и очарования первой любви), о тебе (что будто «Олег Вещий» холоден, без чувства и воображения), как имеют честь или бесчестие отзываться издатели «Сына Отечества» № 3. Но довольно. Прошу только тебя не забыть уведомить меня о том, что я выше сам означил. Остальное прими не за оправдание, но за исповедь.

Ты из прежнего письма моего знаешь, что поправок сделать в «Онегине» и «Разговоре» нельзя (если не захочешь ты бросить понапрасну 240 листов веленевой бумаги и оттянуть выход книги еще на месяц по проклятой медленности наших типографий). Теперь еще требуешь поправки, когда уже все отпечатано. Сделай милость, оставь до второго издания.

Предвижу ваше возраженье:
Но тут не вижу я стыда...[10]

И в самом деле: твоя щекотливость почти не у места. Что знаешь ты, да кто другой, того мы не поймем. Всякий подумает, будто нельзя и поэм писать

Как только о себе самом [11].

Дельвиг к тебе не скоро будет. К нему приехал отец.

Забыл было: «Письма из Италии» точно Перовского [12]. О «Черепе» я то же думаю, но желал бы видеть в нем не-

сколько стихов обделаннее и общую мысль яснее изложенною.

Прошу тебя, не замедли ответом. Онегина надобно выпустить. Если ты долго не ответишь мне, я, наперед говорю, согрешу: выпущу его в свет без твоего благословения и, разумеется, без поправок.

3. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

5 маия 1827 г. СП.бург.

Давно не имел я удовольствия беседовать с вами, любезный князь Петр Андреевич![1] Признаюсь, с некоторого времени я действительно одичал. Слава богу, что вы взялись за «Телеграф»[2]. Каждая новая книжка его хоть два раза в неделю сводит меня с теми, о которых я не перестану сожалеть до гроба, что не могу видеться с ними[3]. Поверите ли, что, взявши новый №, я стараюсь остаться долее один и, перебирая листы, чувствую, будто я по-старому провожу вечер то у Жуковского, то у Козлова, где всегда встречал Дрезденскую Эолову Арфу[4]. Как занимательны его к вам письма! Вот кто бы мог у нас быть истинно европейским литератором. Но с горестию надобно признаться, что такому человеку уже совестно у нас записаться в опохабленной цех, где бы он принужден был стоять на одной доске с фиглярами, потрафившими на вкус читающей Российской публики. Что вы скажете об этом нового рода посвящении?[5] Но всего любопытнее строки от сочинителя, эта история воспитания, службы отечественной и иностранной и наконец открытие тайн языка, будто секрета лечить от боли зубов, или делать настойку[6]. Зачем же хранитель сих тайн, умевший создать из безграмотного мараки любимого провинциальною публикою писателя, не выступит сам до сих пор как автор? Потому что газетчик, журналист и компилатор не автор еще. Верно, появление этих двух книжек, напоминающих и форматом своим истинно русскую талию, дает вам случай потешиться порядочно[7].

«Лалла-Рук» и к «NN. при посылке портрета» удивительно хороши[8]. Они переносят как-то в *оны* времена. Выдержки из вашей записной книжки беспрестанно становятся занимательнее[9]. Откуда почерпнули вы столько любопытного о Веревкине и Кострове? Сделайте милость, начните наводить краски на бесцветные лица наших писателей. Долго ли им хвастовать одними формулярными

списками? Я воображаю, сколько подобных прелестей хранится в «Записках» И. И. Дмитриева. Нет ли у вас еще каких источников для собрания подобных характеристических описаний? Кстати о них. Я все надеюсь, что вы не откажетесь прислать мне пересмотренной вами «Биографии» Озерова. Чувствую, что вас много бременят и другие занятия. Но если вы поймаете несколько дней для этой работы, то сирая Муза Озерова будет вам признательна.

Какая у вас теперь в Москве литературная деятельность! Здесь со смертию Карамзина и с отъездом Жуковского все пришло в то состояние, в каком было до их переезда из Москвы в Петербург. Московский журнал кипит деятельностью [10]. Кажется, однако ж, мне, что он круто все хочет повернуть. Ему хочется вдруг развить у нас и германские идеи и таинства Востока. Это как-то мутит воду, а не дает ей быстрейшего течения. Но все хорошее лучше ничего или худого. Дай бог ему осамиться. В первый год и с «Телеграфом» было то же.

Что делает Баратынский и что Александр [11]? Я к ним писал было некогда со Львом [12]. Они не отозвались. Не знаю, чем перед ними провинился,

Или тем, что полюбил я,
Потерявши свой покой?

Не смею просить вас об ответе. Но я вместо него с жадностию буду перечитывать все, что в «Телеграфе» запечатано будет вашим умом и вкусом. Если вы подарите нас еще портретом во вкусе нашего Байрона, то я соглашусь к вам безответно писать каждую почту.

Примите, любезнейший князь, уверение в совершенной моей к вам преданности и истинном почтении

П. Плетнев.

Потрудитесь засвидетельствовать мое почтение Степану Петровичу Жихареву.

4. Н. И. ГНЕДИЧУ

<30 сентября 1827 года. Петербург>

Письмо ваше к Козлову, милый Николай Иванович, обрадовало всех нас чрезвычайно. Слава богу, что вы довольны Одессою. Особенно я благодарю вас, что и среди хлопот ваших, как внешних, так и внутренних, вы не забыли меня. Отъезд ваш из Петербурга для меня чувствителен, может быть более, нежели для всех друзей ваших;

потому что к вам только мог я временно и безвременно приходить для освежения души от тягостей жизни. Другие, пользуясь свободою и досугами, легко найдут себе развлечение; а я не везде могу быть в пору, когда нечаянно улучу праздный часок: у вас я в каждое время находил то, в чем душа нуждается, т. е. дружбу, наставление и утеху.

Вы можете вообразить, как я молю бога, чтобы он послал вам прежние силы и возвратил вас к нам с прежнею поэзиею жизни.

Мы ожидаем скоро Жуковского. Только у меня какое-то печальное предчувствие: он так будет занят и так делается скуп на поэтические отдыхи, что, верно, не возвратить нам бывалых дней. Козлов почти окончил «Долгорукую» [1]. Ваше письмо хранит он под своей подушкой как бальзам, который его оживляет.

Дельвиг возвратился с прежнею леностию и очаровательностью своей. Не стихи его поэзия, а вечное чувство, как в греческом антике.

От меня Музы, кажется, отвернулись, подразнив только меня, как шалуньи прелестницы, у которых и без меня много угодников. Но иногда я задираю их. Вот новый ответ:

Под вдохновеньем летней нощи
С зари до утренних лучей
В прохладе благовонной рощи,
Дриад мечтательных Орфей,
Поет пустынный соловей.
И песнь его как небо мая,
Как лепет струй, как злак лугов,
На душу тайны навевая,
Живит святилище дубров,
Приют любимый пастухов.
В ней вся история поэта:
В ней страх, надежда, радость, гнев;
Она любовию согрета
И услаждает сердце дев,
Как романтический напев [2].

Преследую вас, милый друг, этими стихами не из метромании, но для развлечения вашего и по старой привычке, Судья и друг поэтов молодых! [3]

Не зная вашего адреса, посылаю это письмо через семейство Попандополо, в котором две мои ученицы, давно привыкшие уважать вас.

Если соберетесь с силами ответить мне, то припишите свой адрес, а в моем прибавьте: в Екатерининском институте.

Обнимаю вас от всей души

Плетнев.

5. А. С. ПУШКИНУ

22 февраля 1831 г. Спбург.

Поздравляю тебя, милый друг, с окончанием кочевой жизни. Ты перешел в наше состояние истинно гражданское. Полно в пустыне жизни бродить без цели. Все, что на земле суждено человеку прекрасного, оно уже для тебя утвердилось. Передай искреннее поздравление мое и Наталье Николаевне: цалую ручку ее.

Написать историю и характеристику поэзии Дельвига — дело столь же прекрасное, сколько и полезное. Если бы Бар.<атынский> не вызвался на это, я бы тебя стал просить о том же, или даже сам на то посягнул бы. Теперь займусь составлением материалов и перешлю их сперва к тебе в цензуру, а ты передай ему с своими зачерками и вставками. Уговорил я Баронессу продать тебе портрет твой[1]. Высылать его в Москву незачем. Оставлю до приезда твоего у себя. Деньги за него (тысячу рублей) отдам остальные от десяти тысяч «Годунова», из которых четыре переслано тебе, а пять отдано долгу Дельвигу.

Здоровье Баронессы ни хорошо, ни худо. В делах ее денежных вышла очень худая притча. Бог знает, кто и когда успел утянуть из их портфели ломбардных билетов на 54 тысячи. Сколько ни старались открыть, даже следов не видно. Это тем непонятнее, что все другие бумаги найдены по смерти Дельвига в чрезвычайном порядке, с удивительною отчетливостью; а пропавшие билеты находились между этими же бумагами[2].

Ты упоминал об издании «Северн. Цветов». Это непременно сделать надо с посвящением Дельвигу. Сомова[3] можно будет вознаградить из выручки такою же суммою, какая приходилась на его долю и прежде. Я даже полагаю, что для пользы же Сомова надобно будет поступить так и с «Литературной Газетой». Он ей не придаст живости, без чего она решительно умрет. Не взяться ли тебе с Вяземским за нее? Будь в каждом ее Номере хоть пять строчек то острых, то умных, то живых, и тем уж она под-

нимется над братиею своею. Вам двоим ничего это не будет стоить, а на будущее время она может сделаться верною арендою, при которой Сомов останется на обыкновенном жалованье.

Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Сев. Цветах» отрывок из исторического романа, с подписью 0000[4], также в «Литературной Газете». «Мысли о преподавании Географии»[5], статью «Женщина»[6] и главу из малороссийской повести: «Учитель»[7]. Их писал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском Лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих, и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает. — Я познакомился короче с Деларю[8]. Его привязанность к памяти Дельвига представляет также что-то священное. Это уже одно связывает меня с ним, не говоря о прекрасном его таланте. Все это я пересказываю тебе для того, чтобы ты передумал хорошенько о литературной своей деятельности в будущем и с божиею помощию принялся бы за что-нибудь хорошенькое, где бы открылось поле для деятельности и других людей с чистою душою и благородным стремлением к нравственному совершенству.

Когда я собирался писать некрологию Дельвига (помещенную в Газете), сердце мое было сжато. Все, что употребили враги его для очищения своих гнусностей, так меня тягчило и мучило, что я решился перед публикою говорить языком человека постороннего в этом деле, страшась, чтобы мерзавцы не воспользовались для достижения своей цели самою святынею дружества. Они, как я предчувствовал, готовы были даже и то обратить в укоризну покойнику, что никто об нем ни слова не сказал языком беспристрастным. Вот почему я говорил без всякого энтузиазма, не вводя ни одного обстоятельства, которое бы выказывало меня как домашнего человека: я ограничился только тем, что должно было дойти до сведения всякого литератора, хотя бы он и не видывал Дельвига. Думаю, что меня весьма немногие поняли; больше осуждали. Ты совершенно утешил меня, особенно тем, что начал смотреть с хорошей стороны на пьесу после нескольких раз ее чтения. Мне только этого и хотелось.

Надеюсь, что Белизар[9] доставил тебе известие о полученных им от меня деньгах за все книги, взятые тобою в разные эпохи из его магазина, а также и переслал тебе остававшиеся у него томы «Латинских классиков». На уплату этого долга я употребил деньги из твоих доходов смирдинских (что за все старое пойдут на четыре года).

6. В. А. ЖУКОВСКОМУ

8 декабря 1832 г. С.-Петербург.

Пишу к вам, Василий Андреевич, точно в таком же положении, в каком некогда нашли вы меня перед своим отъездом в Москву: опять голова моя обвязана, из глаз бьют слезы, т. е. ревматизм снова посетил меня. До сих пор не писал я к вам по двум причинам: во-первых, опасался вызывать вас на ответы, которые, как я знаю, всегда на вас нагоняют тоску; во-вторых, не уверен был, столько ли вы поправились, чтобы заниматься письмами, которых и без меня довольно к вам посылают. Наконец нежный выговор ваш, помещенный в письме к Карлу Карловичу[1], ободрил меня, и я теперь пишу с уверенностию, что не наведу на вас хандры. Начну с главного: занятия с великим князем идут у меня против прежнего гораздо лучше; но это относится к практической части языка (что, впрочем, для него и более необходимо). Он теперь пишет, соблюдая связь мыслей, заботясь о точности выражений, округляя фразы, и очень мало делает ошибок ортографических. В его рассказах есть уже некоторая свобода и приятность. Что касается до теории языка, он все еще небольшой до нее охотник. Но я пользуюсь каждым случаем, чтобы на нее обращать его внимание, и когда правило представляется ему легким, он с заметным удовольствием принимает его. Я присоединяю по временам замечания самые короткие о трех главных стихиях, которые должны входить во всякое сочинение, т. е. о рассуждении, повествовании и описании, чтобы тем дать побольше материалов к составлению сочинений. В декламации (на что употребляется один из их свободных вечером часов) великий князь также приметно успевает: ему только вредит неровность голоса, который от росту как-то двоится.

Вам хотелось знать что-нибудь о литературных друзьях наших. В настоящее время первое место между литераторами, по моему мнению, занимает Анна Петровна Зонтаг[2].

Она издала новое собрание «Повестей и Сказок для детей». Между ними есть одна, которой совершенством я был поражен. Читая ее в корректуре, я заливался слезами: так она сильно на меня подействовала. Может быть, много тут действовали и воспоминания. Но мне в первые минуты казалось, что это произведение совершенством своим равняется известной повести: «Вильчерский священник, или Подарок на Новый год» [3]. Действие происходит в Белеве. Главные лица: бедная старуха и девочка, подкидыш, у ней выросшая. В этой повести является и Катерина Афанасьевна и Марья Андреевна, и Александра Андреевна [4]. Разумеется, они не названы; но для меня все это так ясно и притом так натурально, что я каждый раз перечитывал эту повесть с новым наслаждением. На днях началось печатание второго тома ее же «Повестей и Сказок для детей». То, что при отъезде поручили вы мне разыскать, уже объяснилось. Все тетради Анны Петровны нашлись, и Смирдин отправил ей за каждую книжку по условию. Альманах Смирдина, где будет ваша сказка «Берендей», еще не вышел; но, кажется, непременно выйдет к празднику [5]. Для «Берендея» сделана картинка. Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право [6]. Он больше роется теперь по своему главному труду, т. е. по истории, да, кажется, в его голове и роман копышется. Впрочем, редко видаясь с ним, особенно в последнее время, когда ревматизм поразил его в ногу, а меня в голову, совсем потерял я из виду нить его занятий. Гнедич очень поправился в своем здоровье, пользовавшись целое лето козьим молоком. Вышло собрание стихотворений его. Его книга представляет пестроту, любопытную для наблюдения. Гнедич, как поэт, пожил в каждом поколении, и каждое поколение оставило в его книге следы языка и вкуса. Впрочем, неизменно хорош и сам себе равен бывает он там, где попадает на предмет гомерический; напротив того он жалко смешон, когда в стихах любезничает как француз. Кстати о чадах Малороссии. Гоголь нынешним летом ездил на родину. Вы помните, что он в службе и обязан о себе давать отчет. Как же он поступил? Четыре месяца не было про него ни слуху ни духу. Оригинал. В Москве он виделся с И. И. Дмитриевым, который принял его со всею любезностию своею. Вообще тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным [7], Киреевским [8] и прочими. Гоголь очень сожалеет, что Киреевский при его прекрасном уме слишком

рассеянно, слишком светски проводит время. У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказках меня всегда поражали драматические места. Гоголь мне сказывал, что князь Одоевский[9] (с которым я сам не видался больше полгода) готовит собрание своих повестей, под названием: Дом сумасшедших. Некоторые прочитывал он с Гоголем: они ему так нравятся, что он их предпочитает напечатанным, как наприм. «Последний концерт Бетговена». Устрялов[10] публиковал, что он издает полное собрание всего, что только вышло из-под пера Курбского. Разумеется, он обещает все осветить критическими примечаниями и хорошим введением. Такие намерения не могут не радовать. Сын Панкратия Сумарокова выдал вторично собрание стихотворений отца своего[11]. При этом издании приложена биография автора, где со всею подробностию изложены обстоятельства несчастной ссылки поэта в Сибирь. Вероятно, писавший эту биографию не предполагал, чтобы один из главных участников сего преступления мог прочитать, что скажет о нем потомство. И потому о нем говорено в книге со всевозможным презрением, как о ничтожном существе, запятнавшем жизнь отличного поэта. Что же вышло? Этот человек не только жив, но и служит здесь, так, что мог подать прошение генерал-губернатору об удовлетворении за обиду, нанесенную его чести. В Москве вышло издание Стихотворений Давыдова (Дениса). Книжка небольшая, но полная жизни и оригинальной его поэзии. Он сам написал свою биографию (кажется, раз уже печатанную) от чужого имени, но так осторожно, что нельзя не узнать его, развернув книжку. Теперь Давыдов весь у нас в руках. Он одно только сделал снисхождение к цензуре: чего нельзя было напечатать всего, так он оставил при таких словах только по первой букве; например описание бала:

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости — вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танцев эполеты,
Где под подушками потеет столько ж...,
Где столько пуз затянуто в корсеты.

Или:

Герою битв, биваков, трактиров и б...
Люблю тебя,
Когда, летая по рядам,
Горишь как свечка в дыме бранном,
Когда в б... окаянном
Ты лупишь с... по щекам.

Ничего не пишу вам о князь-Петре[12], полагая, что он часто сам вам пишет. К нему переехало сюда его семейство. Он сделан вице-директором Департамента Внешней Торговли. О лучшем из поэтов наших (об Александре Осиповне) вы конечно слышали[13]. Она очень несчастна была своими родами. Пушкин ей напрочил *богатыря,* которого надобно было по частям вынимать, чтобы спасти ее жизнь. Можете вообразить, сколько она страдала. Месяца два лежала она без всякой надежды. Теперь посылают ее в Берлин, и кажется скоро она туда отправится. Но сколько она показала душевной силы в этом страдании! Прошу вас не забыть, что обещали вы писать для в. к. Марьи Николаевны[14]. Она мне объясняла, что это род поэмы или романсов: действие близ Байкала. Обнимаю вас мысленно.

П. Плетнев.

7. В. А. ЖУКОВСКОМУ

29 ноября 1838 г. Санкт-Петербург.

Венеция теперь для меня приятнейший город в Италии. Оттуда вдруг получил я три письма. Особенно благодарю вас, Василий Андреевич, зная, что каждое письмо для вас подвиг. Не желая подвергать вас тяжести этой работы, я долго думал, как бы устроить, чтобы письма от вас приходили-таки, а вам бы это ничего не стоило. Не можете ли вы, возлежа на диване, кому-нибудь рассказывать, о чем надобно писать?

Манускрипт Гроту[1] я доставил. Он в восхищении от вашего одобрения — выпросил у меня позволение переписать для себя ваше письмо ко мне. Нынешним летом он жил в Гельсингфорсе[2], где еще более изучил и язык шведский и литературу. Он перевел много прелестнейших стихотворений, особенно из Рунеберга[3] (финляндского Дельвига), с которым познакомился и подружился в Борго[4].

Мне любопытно знать, как попалась вам книжка «Современника». Я не посылаю своего журнала за границу ни

к кому, во-первых, потому, что не уверен, дойдет ли он по адресу; во-вторых, всякий журнал считаю лишнею вещью там, где на каждом шагу в лицах видишь историю и поэзию. Один А. И. Тургенев[5] приказал мне через Прянишникова[6] доставлять ему «Современник», что я и делаю. Первая книжка еще была отправлена через кн. Вяземского к Тютчеву и Гоголю. Охотно выслал бы им и остальные три книжки, если бы они уведомили меня, как это сделать и что им действительно хочется взглянуть на журнал.

Одоевский благодарит вас за память. Он с Краевским[7] и еще кем-то купил у Свиньина[8] право издавать «Отечественные записки». План и прочее походить будет на «Библиотеку для чтения»[9]. Издание Пушкина совершенно кончилось[10]. Ваша статья: «Последние минуты Пушкина» припечатана вместо обещанной биографии его. То, что я по вашему поручению написал, вышло не совсем удачно, и Опека хорошо сделала, что не погналась за формальною биографиею. Вы сами согласитесь, что еще рано, и очень трудно сказать теперь о Пушкине что-нибудь достойное его[11].

Не жалуйтесь на вел<икую> княжну. У нее не было времени отвечать вам. Сперва, получив письмо ваше, отправилась она в Берлин, а потом приехал сюда ее жених[12]. Но ваше описание Швеции в такое привело ее восхищение, что она поручила мне сделать для нее удобочитимую копию, над которой я с увеличительным стеклом принужден был напролет просидеть четыре ночи. То, что вел<икая> княжна позволила напечатать в «Современнике», не должно вас тревожить, потому что из отрывков этих выпущено все, что могло бы показать следы партикулярной переписки, а еще менее имена или отношения переписывающихся.

При свидании с Гоголем скажите ему, чтобы он не сердился на меня. Я ни разу не писал к нему, потому что он постоянно нигде не живет, а напрасно писать не хочется. Не пришлет ли он что-нибудь мне для «Современника».

А. П. Зонтаг пишет ко мне часто. Она сперва жила в Белеве, а теперь переехала к Катерине Афанасьевне. Книга ее «Священная история» передана мною Фуссу[13]. А Муравьев долго со мною воевал. Наконец митр<ополит> Филарет примирил нас, сказавши, что Муравьев уже слишком привязчив[14]. Статью о Милькееве я напечатал[15].

Прилагаю письма, которые в разное время ко мне были присылаемы для доставления вам.

Истинно почитающий и совершенно преданный вам

П. Плетнев.

8. Н. В. ГОГОЛЮ

27 окт. 1844. С. Пб.

Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь: попотчую. После такого вступления, надеюсь, и ты в письмах ко мне кинешь проклятое *вы*, от которого у разговаривающих в глазах двоится. Начну с себя, что такое я? В отношении к общему ремеслу нашему — литературе — человек без таланта и необходимых сведений. Но человек, заменивший то и другое долговременною практикою, постоянными многолетними, непосредственными, даже смею сказать, дружескими сношениями с Дельвигом, Гнедичем, Пушкиным, Жуковским и Крыловым. Следовательно, человек не без идей, не без такта, не без голоса. Прибавь ко всему этому любовь к искусству, любовь неизменную, бескорыстную, чистую. А это чувство не только освящает все наши действия, но нередко служит и заменою вдохновения. Оно поддерживает во мне силу в борьбе с современными литературными слепцами и ленивцами, каковы даже друзья наши: Одоевский и подобные ему; с литературными торгашами и открытыми подлецами, каковы: Греч, Булгарин и московская в Петербурге <...>: Полевой, Межевич, Кони, Краевский, Белинский и т. п.[1] Следовательно, я, как литератор, не могу без сознания собственного достоинства — будь оно даже просто отрицательное. Как друг, я еще более знаю себе цену. Когда умер Пушкин, для прочих друзей все умерло лучшее его: стремление к совершенствованию идей в нашей литературе, управа с эгоизмом и невежеством, вера в единство истинной церкви, которую должны из своего круга образовать благородные люди, понимающие дело и ни для чего не кривящие душой. Все это под конец жизни сосредоточил он в «Современнике». Я взял его не из корысти. Ни Пушкину не приносил он, ни мне не приносит других выгод, кроме средства отстаивать любовь души своей, по выражению Шиллера. Шесть лет я жертвую ежегодно по пяти тысяч рублей на поддержание «Современника», только в одном убеждении, что для чести Пушкина и истины не должен погибнуть орган их, не должен обратиться в глумление противникам ис-

тины и Пушкина. Это хорошо знают все друзья его. Но кто же из них, в память друга, подал мне руку на товарищество? Никто; потому что у всех дружба только к себе, а не к мертвецу бесполезному. Наконец, что я, как человек? Прямое, простое и мирное существо, закрывавшееся в тени своих привычек и чистых привязанностей, без претензий на что-либо, без всяких замыслов, любящее солнце, поэзию и безлюдье. Таков я был всегда, таким и ты нашел меня некогда, таким ты знал меня, если я не ошибался. Но что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Может быть, все это и необходимо для достижения последнего. Итак, я не назову ни одного из этих качеств пороком: они должны сопутствовать человеку, рожденному для славы. И в Евангелии сказано: оставиши отца твоего и матерь и прилепися к жене. Но как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы они тебе то, что ты читаешь теперь от меня. Но я говорю не как друг, а как честный человек, уполномоченный тобою, и как освященный внушениями христианской веры, которая поставила меня выше всех соображений. Это я ношу в сердце, потому что у меня есть друг Грот, который таков во всех своих помышлениях и действиях[2]. Твои же друзья двоякие: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины[3], Смирнова[4] и таков был Пушкин. Другие твои друзья — московская братия. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройках домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда вместо безмолвного участия и чистой любви раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты как на станцию, а к ним как в свой дом. Но посмотрим, что ты, как литератор? Человек, одаренный гениальною способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе

сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Подле таких поэтов-художников, каковы: Крылов, Жуковский и Пушкин, ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства. Но довольно. Вот что ты и что я. Судьба свела нас вместе. Она лучше нас провидела, что, слившись, мы будем взаимно друг друга совершенствовать, дополнять друг в друге недостающее. Она знала, что добрые качества и недостатки одного совместны с целью общечеловеческою — распространением добра и света. Я, с своей стороны, употребил все, что возложила на меня судьба для общего назначения нашего. Но нашел ли я ответ в твоем сердце на это для нас тогда темное, однако же моим инстинктом постигнутое предопределение? Ничего. Может быть, судя по необузданности твоих порывов, и надобно было, чтобы тяжелыми и долгими опытами дошел ты до необходимости возвратиться туда, откуда так оскорбительно для меня соскочил ты. А может быть, тебе и не нужно было всего того, что я изложил здесь с таким философски-религиозным исследованием. По крайней мере, испытай хоть раз в жизни это новое для тебя ощущение, что такое голос чистоты и призвания к дружбе. Я не предлагаю тебе никакой перемены в жизни, занятиях и отношениях твоих. Я только желал бы, чтобы ты возвысился до настоящего нравственного чувства, проливающего в сердце свет на обязанности наши к богу, к людям, отечеству и даже к нашему здесь призванию и принятым уже убеждениям. Ясное созерцание этих предметов само преобразовало бы жизнь твою, теперь только поэтическую, но неполную и несовременную нашему веку. Ты, не прерывая главных своих, обдуманных уже творений, должен строже определить себе, как надлежит тебе содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настроения, распространению в отечестве вечных начал науки и искусства, как довершить в себе недостатки литературные и как поражать все, несогласованное с принятыми тобою правилами. Мы живем не при Шекспире, а после Гете и Шиллера, которые, творя как художники, в то же время боролись с врагами истинных идей и неизменного вкуса. Зачем тебе, пользующемуся репутациею, не вести других по хорошей дороге, указывая на заблуждения судей-самозванцев и торгашей литературных. Это борение укажет тебе

на изыскание способов, как и в себе дополнить недостающее и в других поразить ложное. Из гения-самоучки ты возвысишься, как Гете, до гения-художника и гения-просветителя. Не презирай даже того, что в России мелко и жалко. Как Русский, ты должен на это смотреть глазами врача. Но главное: ты приучишься мыслить, излагать и отстаивать идеи, защищать убеждения сердца и укрощать буйное невежество. При теперешней цыганской жизни твоей я не могу ловить тебя с своим «Современником». Но он весь есть у Жуковского. Впрочем, назначь и объяви, что тебе нужно. Ты увидишь, что я, отказавшись от имени твоего друга, сделаю столько же, сколько бы сделал и освятившись им. Прокопович жив и здоров[5]. Он, конечно, не войдет с тобою в сношения, пока ты дружески не объяснишь ему в особом письме, что тебе нужно знать от него. Он тебя любит, но недоволен твоею недоверчивостью и беспорядочностью в сношениях, которые требуют прозаических данных. О долгах не заботься. Напиши мне, куда, сколько и как переслать: все получишь. Когда разбогатеешь — отдашь. Обнимаю тебя, а ты обойми Жуковского.

П.

9. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Мне доставлено письмо Жуковского; если это от вашего сиятельства, то примите мою благодарность. Он теперь, слава богу, начинает поправляться в здоровье[1]. Авось примется за 13-ю песнь «Одиссеи», до которой по сих пор еще не дотрагивался за болезнию[2]. Имею честь препроводить вам требуемые вами статьи, одну в «Современнике», другую в «Звездочке»[3]. Когда эти книжки не будут вам нужны, сделайте одолжение, прикажите их отправить ко мне; потому что я, по своей немецкой аккуратности, не могу видеть разрозненных у себя журналов. Еще обяжите меня приказать тут же приложить и четыре тома «Скопина-Шуйского» Шишкиной[4], которые княгиня[5], верно, давно прочитала.

Душевно преданный вам *П. Плетнев.*

4 марта 1845. СПб.

В университете и по гимназиям подписка на памятник Крылова идет успешно[6]. Но в городе точно нет никакого движения. Средство одно и самое действенное оживить подписку, во 1-х, раздать шнуровые книги на местах, где собирается публика: 1) по театрам в фойе или у кассиров

и в комнате, где *освежаются* за трубками и ликерами; 2) в доме Дворянского собрания; 3) во всех залах, где даются концерты; 4) в дежурстве Публичной библиотеки; 5) во всех так называемых Кабинетах для чтения; 6) в главнейших книжных магазинах и лавках; 7) в тех кондитерских, которые в моде; 8) даже по аптекам; 9) в клубах, особенно английском и 10) на бирже (от имени Вронченка). Передайте это графу Блудову[7].

10. С. П. ШЕВЫРЕВУ

Милостивый Государь
Степан Петрович!

«Мертвые Души» уже подписаны тем же цензором, который пропустил и первое издание — и препровождены обратно к вам. Гоголь прислал мне для напечатания особою книгой начало рукописи, под названием: Выбранные места из переписки с друзьями. Эту книгу я не получил еще от Никитенка.

Все, что я напечатал и в письме к вам сказал о первой части ваших лекций, не выражает вполне того убеждения, которое в сердце у меня, как полезны в России (особенно теперь) подобные труды[1]. Примите заранее искреннюю благодарность мою за продолжение вашей книги, ожидаемое мною нетерпеливо.

Не могу не сожалеть, что занятия ваши мешают вам хоть что-нибудь иногда вбросить в Разное «Современника». А я мечтал, что в случае отъезда моего куда-нибудь, или другого помешательства к продолжению журнала, вы не откажетесь приютить его временно под собственное крыло ваше. Ужели не разделяете вы со мной убеждения, что мы живем в эпоху, в которую последовало что-то равное изобретению письмен и книгопечатания? Это открытие силы повременных изданий. Итак, мыслящему человеку, стремящемуся утвердить в обществе убеждения свои, необходимо обладать каким-нибудь из этих изданий: иначе он принужден будет задушить в себе то, что составляет действительную жизнь его. Вот в каком отношении необходимо нам, чувствующим и мыслящим одинаково, упрочить жизнь «Современника», как он теперь ни ничтожен сравнительно с прочими русскими журналами.

Меня печалит еще и то, что люди, противодействующие благу нашей доброй России, деятельнее нас и теснее между собою связаны. Из вашего же университета партия

Краевского (и какая многочисленная!) [2] немедленно доставляет ему все сведения о книгах, у вас в Москве выходящих, и самые книги, которых обыкновенным коммерческим путем не дождешься здесь прежде шести месяцев. А мне никто из доброжелателей моих и не подумает сообщить что-нибудь заблаговременно. Чтения Исторического Общества, Исторический Сборник, Московский литературный Сборник я принужден обманом выпрашивать у Никитенка, которому, как сообщнику своему, передает Краевский. Ужели нет возможности предложить мне эти издания, предложить не даром, а на обмен книжек «Современника»? Что за смешной предрассудок — пренебрегать литератором за то, что он живет не в Москве? Разве и в Москве нет Галаховых [3]? Да уж если пойдет дело на генеалогию, то не Москва ли наградила нас Белинским, Краевским, Межевичем, Кони, Григорьевым и подобными им участниками в Петербургском сборнике [4]. Петербург только и виноват в образовании Греча и Булгарина (а эти, по мне, менее тех гадки). Но чем же я-то виноват, не знаясь ни с кем из здешних литераторов и вычеркнутый ими из списка живых? Ради бога, примите к сердцу все эти данные и растолкуйте в редакции Москвитянина, что его серьезные разглагольствования об От. Зап. только возвышают их в глазах публики. Разве не слыхала эта редакция стихов Пушкина, как надобно воевать с негодями:

«И поучительной лозой
Зоила хлещет мимоходом» [5].

Восемь лет я молча издавал свой журнал, буквально один. Выступив открыто на бой, я не изменил ни тона в журнале, ни характера его. Вот на что можно бы указать серьезно благомыслящему издателю. Но об этом намекнул публике — кто бы поверил? — один Кукольник при моем известии о смерти Полевого. В Москве же меня потчевали только общими местами.

Душевно уважающий вас и неизменно преданный вам

П. Плетнев.

9 авг. 1846.
СПб.

11. С. П. ШЕВЫРЕВУ

Милостивый Государь
Степан Петрович!

Печатание Писем Гоголя встречает препятствия на каждом шагу. Никитенко по месяцу держит небольшие их тетрадки, высылаемые Гоголем постепенно. В первой тетради было два письма о церкви нашей и духовенстве [1]. Цензор духовный на них надписал: *нельзя пропустить*, *ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны*. Я принужден был обратиться к графу Протасову [2], который предложил Синоду решить мое дело. Синод, за исключением нескольких фраз, все пропустил. Но движение этого дела потребовало для себя с лишком пять недель! Можете судить, какое надобно терпение с этими людьми. Во второй тетради Никитенко вовсе исключил три письма. Это меня привело в отчаяние. Министра нечего и просить. Он вообще недоверчив к тем людям, которые желают его противопоставить течению установленного им порядка. Чтобы разом разрезать этот узел, я при своем письме отправил сегодня эти три письма Гоголя прямо к наследнику. Не знаю, что из этого выйдет [3]. Между тем у Никитенка еще три тетрадки. Бог знает, сколько еще раз придется мне прибегать к помощи посторонних властей. Да и всегда ли это поможет? Всем надоешь. Ведь к сердцу никто таких дел не принимает. Итак едва ли и к Новому году я успею разделаться с книгою. Вы удивляетесь, как посторонние узнают о делах цензуры. Да у нас все эти г-да цензоры тем только и живут, что пересказывают о предметах, которые кому-нибудь желательно скрыть до времени. Я знаю, что у Никитенка в те дни, в которые сбирается к нему ватага его, читали Гоголя в рукописи, присланной на рецензирование. При том же Никитенко всегда благоговел, наравне с прочими бездушными профессорами нашими, пред Сенковским [4]. Один я не умею заслужить их искренней любви и уважения. Толпа не умеет ни любить, ни уважать: она способна только или бояться, или бунтовать. О, как я чувствую справедливость того презрения, которое в душе питали к толпе Шекспир и наш Пушкин!

Я немножко удивлен, что вы теперь только начинаете убеждаться в искренности моей любви к вам как к писателю и как к человеку. Впрочем, в наш бедственный век все понятно. Растление литературы достигло растления и наших связей. Со смертию Пушкина я похоронил последнее существо, которое близко меня знало и отдавало цену сердцу мо-

ему. Теперь передача «Современника» открыла мне глаза: как издатель, некоторым людям я был нужен, а просто в человеке никому нет во мне надобности. Когда я 9 лет жертвовал самыми тяжкими трудами только чести имени Пушкина и бросал ежегодно по 5 т. руб. на поддержание журнала, естественно не нашедшего в России подписчиков, тогда никто не думал, как бы помочь мне, хотя все про то знали. Теперь же эти три тысячи ас., предложенные мне Панаевым, разбудили и Вяземского и всю опеку детей Пушкина. Им приснилось, что «Современник», как прочие сочинения Пушкина, есть собственность детей его. Они все бросаются по ценз. комитетам, по попечителям, по министрам и верно долезут выше, чтобы только вырвать из моих рук эти 3 тыс., не желая и знать о 45 т., которые я уже отдал. Конечно, мне только смешно, когда вся законность дела на моей стороне. Но смешно ли сердцу моему, когда я увидел, чем кончается здесь двадцатилетняя дружба! Я им только сказал, что если Пушкина кости почувствуют, как вы обошлись с его другом, то они перевернутся во гробе.

Я был бы бессмыслен, если бы не сдал «Современника» не только многоречивому Никитенке, но даже Некрасову. Кто читал «Современник», кроме пяти-шести приятелей моих?

Лучше написать в год один печатный лист и издать его отдельно, нежели ежемесячно публиковать никем не читаемое. Но всего убийственнее для меня были похвалы, печатавшиеся «Современнику» в «Москвитянине». Он как будто страшился подпасть шутке Биб. д. ч., раскрывая рот в одобрении Совр. Так ли я говорил о Полевом, Булгарине, Краевском и всей этой ватаге? Но, слава богу, теперь все кончено — и я вполне спокоен.

Мое имя и имя Пушкина останется только там, где каждый из нас положил труд свой. Разве после Карамзина и Жуковского не было на «Вестнике Европы» заклейменных бесславием имен Каченовского [5] и Надеждина [6]? Однако же мы не смешиваем первых годов с последними.

Прекрасно вы делаете, что ограничиваете свой труд печатанием книги и чтением публичных лекций. Современники ценят живое слово ваше, а потомство лучше журналистов оценит ваши знания, вкус и талант.

О Коссовиче [7], кажется, уж нечего говорить более с министром. Когда, по смерти Волкова [8], я писал к нему, я был уверен, что он изберет его: так я полагался на правоту моих слов и его стремление к поддержанию талантов. Вышло совсем не так. На него действуют отзывы голосов

и лиц заграничных. Не могу сказать, чтобы он не благоволил ко мне; но я принимаю уже ласку его как потребность в человеке с формами порядочного общества.

То, что я советовал Коссовичу делать, остается одно для довершения ему поприща. Поддержите его вашею дружбою и советами.

Простите меня, что я разболтался. Что делать? Грустно, скучно, умереть бы хотелось. Пожалуйста, никогда не отвечайте ни Сенковскому, ни Краевскому. Можно свое говорить, но не обращать к ним речи.

Душевно преданный вам

П. Плетнев.

1 нояб. 1846.
Санкт-Петербург.

12. С. П. ШЕВЫРЕВУ

4 янв. 1847. СПб.

Сегодня, по тяжелой почте, отправляю вам, милый Степан Петрович, десять экзем. новой книги Гоголя. Это собственно для вас и ваших близких. Для продажи отдумал я брать на себя хлопоты пересылки и вас еще обременять хлопотами. Это дело книгопродавцев. Они знают и средства и время пересылки. Буде вам понадобятся экземпляры, напишите мне немедленно: я вновь отправлю, сколько вам будет нужно. Гоголь рассчитывал приступить немедленно ко второму изданию Писем в Москве. Но мы не будем спешить этим. Надобно переждать, когда разойдется большая часть экз. первого издания [1].

Что-то вы мне скажете об этой книге? А я, и все, составляющие мой кружок, в восхищении от чудного мира, в который перешел Гоголь сам и переносит читателя. И этого человека хотели прославить сумасшедшим! Действительно, он ничем не похож на тех, которые осмелились клеветать на святость его учения. Не себя же им назвать безумными! Вот почему они и свалили вину на него.

Не говоря уже о чудном впечатлении, которое остается в сердце от чтения таких, наприм., писем, как об Иванове, или Светлое Воскресение, полюбуйтесь в передпоследней статье его мастерством очерчивать писательские характеры. Это совершенство критики.

Ужасную новость сообщил мне сию минуту кн. Вяземский: не стало и поэта Языкова! Боже, все лучшее падает, давая простор невежеству и бездарности. Как это известие

поразит и Гоголя и Жуковского! Они, после Пушкина, на нем только и отдыхали мыслию. В 1847 году надобно будет праздновать 50-летний юбилей литературной жизни Жуковского — а Языкова-то и не стало! ужасно!

Две недели пробыл у меня Грот. Как много мы говорили с ним о положении *правой* стороны литераторов в наше время[2]. Раз, быв с визитом у жены Соллогуба[3] и сойдясь тут с ним, не пожалели мы его и пропели ему такую песню, от которой долго тошнить его будет.

Нетерпеливо жду письма вашего и обнимаю вас от всего сердца.

П. Плетнев.

13. Я. К. ГРОТУ

Спасская мыза, среда, 14 июля 1848.

В прошедшую субботу князь Вяземский желал, чтобы я у него обедал. Там обещал быть Базили, наш генеральный консул в Бейруте, товарищ Гоголя по Безбородкинскому лицею. Я давно знаком с этим Базили. Он из нежинских греков и большой мастер прокладывать себе дорогу в свете. Нынешним своим местом он обязан графу Нессельроду за то, что съездил некогда, в качестве дядьки, с его сыном на Кавказ. Базили вместе с Гоголем был в Иерусалиме, в Константинополе и оставил его в Киеве. Он говорил, что в Гоголе никакой против прежнего не произошло перемены со стороны наружного его обхождения, чему я и рад, потому что внешнее ханжество всегда было мне противно.

Рассказы о жизни на Востоке, о тамошнем климате и других особенностях человека вообще очень занимательны. Как странно воображение наше: оно как бы чувствует сильнее свежесть передаваемых ему впечатлений, и более от них воспламеняется, нежели от самых подробных описаний, содержащихся в какой-нибудь книге. Зато совсем противное выходит, когда дело касается идеальной стороны жизни. Тут все торжество в художественном создании, а не в пересказах, набрасываемых отрывочно. Это я теперь ежедневно испытываю, читая роман Диккенса «Домби и сын». Он давно печатается в «Современнике» нынешнего года. Сколько тут свежести, разнообразия и верности ощущений душевных! Советую тебе уделить по часу в сутки на это чтение. Ты проживешь за этим чтением восхитительные минуты.

О Жуковском узнал я, что вместо 3 июля, как предположено им было, он выедет в Россию из Эмса 3 августа. Все болезнь жены удерживает его. Нетерпеливо жду продолжения твоего препровождения времени и обнимаю тебя.

14. Я. К. ГРОТУ

Спасская м., среда, 18 августа 1848.

О Фрейганге[1] я уже писал, что он опасно болен. Ты позволяешь Александре Осиповне[2] напечатать любые из последних стихов твоих; но не забудь, что здесь, кроме «Букета», нет ни одних; по твоему назначению листок возвращен тебе, а о копии я не подумал.

Из новых повестей «Современника» ни одной нет, которая бы стоила перевода. Конечно, например, повесть «Кто виноват?» Искандера[3] читается с интересом; но этот интерес лихорадочный, а не натуральный. Впрочем, я могу заблуждаться. Может быть, ныне только и требуется от автора, чтобы он читался, а о другом никто не заботится. Не лучше ли действительно дать Эману[4] повести Гоголя? Для меня «Портрет» его уж важнее всех современностей. Павлов[5] тоже вычурен и ложен.

Нордстрем[6] и мне приказал, выходя утром на прогулку, съедать кусочек черного хлеба с солью. А о воде он говорит, что кто, как я, несколько лет пьет ее ежедневно, тот не может отказаться от нее и при холере без вреда себе. Но кто этой привычки не сделал, тот может, или лучше должен не подвергать себя риску пить холодную утром воду. Прочие доктора совершенно запрещают употребление невареной воды при холере.

15. Н. В. ГОГОЛЮ

30 мая, 1849. СПб.

Письмо твое от 21 мая доставили мне только вчера. Очень долго залежалось на почте, не знаю почему. К тому же вчера было воскресенье; и так я не мог послать тебе ответа в тот же день.

Ты угадал, что у меня много было хлопот. Но это бы ничего, если бы я предвидел конец им. А вот беда, что и этого нет. Мать жены моей[1] страдает ревматизмами целый год. Она лишена всякого движения. Сперва лечили ее на дому. Открылось после, что невозможно подать ей всех пособий

в частной квартире. И так перевезли ее к церкви Преображения в лечебное заведение принца Ольденбургского. Дочь ее, нынешняя моя жена, так страстно любит мать свою, что подобную привязанность справедливее назвать болезнию сердца. Со времени нашей свадьбы не проходило дня, который бы не проводила она у постели страдалицы. Следовательно, я все это время был в каком-то ненормальном положении. Наконец, после переезда нашего на Спасскую мызу, это мое положение стало еще менее нормальным по отдаленности, которую путешественница моя принуждена всякой день уничтожать своими ежедневными поездками к больной. Рассказывают, что в ревматизмах так страдают по десяти лет. Я рискую все это время не видать жены при себе. Но я не сержусь на нее. Меня трогает и умиляет столь нежная дочерняя любовь. Ей нетерпеливо бы хотелось осуществить все прежние мечты, как она располагалась жить подле меня. Но болезнь сердца пока не допускает до этого. И вот мы живем в одних ожиданиях. Редкое существо эта женщина в таких летах: ей только 23 года (зовут ее Александра Васильевна). Она столько же миниатюрна, сколько и грациозна. А. О. Смирновой очень понравилась она. Жуковского всего и всего Пушкина помнит она наизусть. До этого дошла она, года три читав их со мною почти ежедневно. Только не воображай в ней чего-нибудь романтически-плаксивого. Это душа крепкая, это ум деятельный и твердый — как у немногих мужчин бывает.

Не позабудь же уведомить меня, как скоро понадобятся тебе деньги[2] по одному из ломбардных билетов.

И я жду Жуковского сюда. Зимою он решительно объявил, что в начале июня прибудет к нам, и один даже, если доктора не позволят ехать жене его.

Твой

Плетнев.

16. А. Н. МАЙКОВУ

Хоть с вами и невыгодно заводить какое-нибудь прозаическое дело, любезный Аполлон Николаевич, потому что вы тотчас покинете его без исполнения: однако же крайность заставляет меня и к вашей ненадежной помощи. Хоть раз в жизни докажите, что вы не совсем ненадежное существо.

Мне нужно, как можно скорее, видеть Полонского[1] (в этом свидании заключается существенная выгода, а я не

знаю, где живет он). Итак умоляю вас, сами сыщите его, или поручите Данилевскому[2], но сделайте так, чтобы не позже завтрашнего вечера Полонский непременно побывал у меня.

Вас к себе я не зову, по крайней мере хочу перестать звать, потому что моления мои не входят в слух ваш. А уверен, что если бы побывали у меня, то, право, не раскаялись бы.

Вчера получил маленькую книжечку, печатную, на которой не означено имени автора, а заглавие вот как выпечатано: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским».

Прощайте, хоть неверный, но вечно милый друг.

Ваш П. Плетнев.

2 февр. 1852 г. СПб.

Не забудьте 8-го февр.

17. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

6/18 янв. 1855. СПб.

Письмо ваше, князь Петр Андреевич, подали мне в день Р. Х.[1] Прочитавши его, я тогда же списал ваши стихи: «6 дек. 1854» и при особой записке отправил к Гречу[2]. Несмотря на то, когда начала выходить «Сев. Пчела», я долго не встречал в ней стихов ваших. Отчего это произошло? вы ниже увидите. Другую копию ваших стихов я тут же отправил к Государю Цесаревичу, который, лишь явился я к нему на другой день, очень благодарил меня, восхищался стихами и так как в своем письме к е. в.[3] я проговаривал, что хорошо бы эти стихи положить на музыку — объявил, что советовал А. Ф. Львову[4] заняться сочинением нот для хора.

С Гречем произошла вот какая история. Уже года три он хлопотал, чтобы его друзья отпраздновали 50-летний юбилей литературной его жизни. Нынешней осенью удалось ему склонить Я. И. Ростовцова войти через Государя Наследника с докладом к его величеству о дозволении праздновать этот юбилей Греча, как автора Грамматики, по которой учатся все кадеты[5]. Соизволение воспоследовало. Напечатали приглашение участвовать в этом деле денежными приношениями и брали с рыла не менее 25 р. с. Раздавателями билетов объявлены были в печатном приглашении: Рикорд, Ростовцов, граф Толстой (Ф. П., вице-президент Ак<адемии> Художеств), Панаев (Влад. Ив.) и Княжевич (А. М.). Когда набралось довольно денег, что-

бы подарить Гречу серебряный кубок и накормить обедом подписчиков, то напечатано было, что праздник совершится 27 дек. 1854 г. в зале 1-го Кадетского корпуса.

Вы не удивитесь, что Министерство Н<ародного> П<росвещения>, не разделяя убеждений Штаба Военноуч. заведений, не приступило к участию в празднике. Однако же 27 дек., поутру, явилась к министру просв. депутация, а именно: Ростовцов, Княжевич и — как ни нелепо и смешно — сам Греч. Они убеждали его не отказать им в чести присутствовать на обеде, присовокупив, что его отсутствие огорчит Главного Начальника Военноучеб. зав. Нечего было сказать против такого довода — и А. С. Норов, вынув из кармана 25 р. с. и отдав их депутации, отвечал, что он явится к 4 часам.

Гостей между тем (числом до 300) не впускали в столовую до половины 6-го часа. Так как Греч носит титул почетного библиотекаря Публичной Библиотеки, состоящей в ведомстве министра Императорского Двора, то надеялись и ожидали, что граф В. Ф. Адлерберг, по ходатайству барона М. А. Корфа и распорядителей юбилея, испросит к началу обеда звезду или хоть на шею Владим. крест юбиляру. В половине 6-го часа прискакал курьер и объявил, что граф Адлерберг к обеду не может прибыть. Все поняли, что Греч остался с носом, и сели кушать. Юбиляра посадили между Норовым и Корфом, а vis-à-vis сели распорядители, кроме Рикорда, опасно заболевшего и еще не выздоровевшего. Читано было много разных вещей довольно скучных. Говорят, что всего скучнее была биография Греча, которую он сочинил и прочитал сам в назидание гостям. Отрешков [6], после речи своей, сказал, что в доказательство, как он уважает Греча, отступает от обычая своего и, вместо всегдашнего напитка своего воды, пьет его здоровье вином. Греч на это сострил достойно: и я, в изъявление моего уважения к вам, отказываюсь от обыкновенного напитка моего, вина, и пью ваше здоровье водою. По этому образчику можете судить о прочем.

Итак, 25 дек., когда я писал о стихах ваших к Гречу, он уже был взбешен и на меня, и на Академию, и на Университет, зная, что мы не чтим его ученых заслуг. Поэтому он не отвечал мне и стихов не печатал. Но я приготовил ему другой юбилей, какого и не ожидал он. Второе Отделение Академии Наук просило министра просв., чтобы он за долгую службу и отлично-уважаемые всеми труды А. Х. Востокова [7] исходатайствовал ему от государя Звезду Станислава. Министр удостоился получить по этому представлению

соизволение его величества, с тем, чтобы об этой награде объявить 1-го янв. 1855 г. Припомните, что 29 дек. бывает всегда торжественное собрание Акад., в котором я читаю отчет о годичных занятиях русских академиков. Мне пришла мысль объявить на этом строго-ученом празднике 50-летний юбилей трудов Востокова и государеву награду связать с этим случаем. Поэтому я не только исчислил труды Востокова в 1854 г., но и все, что он сделал для филологии. Норов разрешил мне соединить известие о награде со днем юбилея академика. Он даже мне после сказал, что, по прочтении исчисления трудов Востокова, он сам объявит о пожалованной ему звезде государем.

Греч, почти никогда не приходивший в Академию 29 дек., нынче явился, надеясь пристыдить академиков, не почтивших праздника его. Но когда он выслушал мою статью о Востокове, где я назвал его единственным и беспримерным исследователем русского языка, когда я прибавил, что, с окончанием 1854 года, кончилось 50 лет его ученых трудов, ибо в 1804 году были приготовлены к печати первые его сочинения, и наконец, когда, после моих слов, министр встал, подошел к Востокову и со всею торжественностию объявил, что государь нынче награждает его заслуги; тогда Греч так был поражен, что вышел из собрания и уехал домой.

При исчислении занятий ваших, князь, как академика и поэта я напомнил собранию, сколько в течение 1854 года вы напечатали патриотических стихотворений, а для бóльшего эффекта объявил, что прочитаю ваше новое стихотворение, в декабре же написанное. Эти стихи приняты были с таким восторгом, что министр просв., ничего о них не знавший, попросил меня повторить чтение их. Это вторичное чтение довершило ваше торжество: в зале разразились общие рукоплескания, с основания Академии неслыханные в важных стенах ее.

Подробности рассказанных вам мною явлений Очкин, бывший в собрании, напечатал 31 декабря в 290 № СПб. Ведомостей, где поместил в рассказ свой и самые стихи ваши. «Северной Пчеле» не осталось возможности утаить от публики то, что она узнала из Ведомостей. Тогда в редакции «Сев. Пч.» было решено перепечатать Очкина[8] статью без пропусков и изменений в виде обыкновенного заимствования новости, что вы, князь, вероятно, уже и читали в № 1 «Сев. Пч.» 1855 г., вышедшем 3-го января.

Другое сочинение ваше, князь, которое вы прислали мне на французском языке в виде брошюрки, также возбудило

восторг везде, где ни было читано. Особенно восхищались им у Балабиных. Петр Иванович сказал, что такого удовольствия не доставляла ему ни одна из современных статей. При чтении случился полковник Вуич. Он выпросил у меня брошюрку на два дня, нетерпеливо желая перевести ее на рус. яз. и напечатать. И действительно, я уже увидел ее 5-го янв. в № 3-м СПб. Ведомостей, прекрасно переведенную под заглавием: «Письмо Ветерана Русской армии 1812 года»[9]. Как жаль, что все ваши брошюры нам совсем неизвестны. Вы должны писать их на двух языках и в одно и то же время за границею печатать по-французски, а у нас по-русски.

В 1-м же № «Сев. Пч.» 1855 г. напечатано 3-го января «Письмо из Штутгарта от 6—18 дек. 1854 г.». Это очень подробный рассказ освящения церкви и описание нового дворца в. к. Ольги Николаевны. Под письмом подписался *Яков Майхровский*. Потрудитесь уведомить меня, что это за лицо или псевдоним.

Для сочинения о литературе эпохи Карамзина, Жуковского и Пушкина вы решились ждать мирного времени, мирной мысли и мирного сердца. Прекрасно. Но сбудется ли когда подобное ожидание? Не думаю. На земле ни к кому мир сам не приходит. Как и в политике, его надобно завоевать, завоевать известными убеждениями сердца в известных истинах. Без побед этого рода не доживешь и до перемирия. Так я понимаю жизнь, и так решился обходиться с нею. Уединенная жизнь ваша, в прекрасном краю, посреди избранного, немногочисленного общества, которое умеет и ценить вас и давать довольно свободных часов для кабинетного труда, ужели и она не наполнит души вашей тем миром, о котором некогда и так прекрасно говорил Жуковский? Нам привелось доживать свой век посреди обществ, которые не понимают других наслаждений, кроме искусного хищничества, и не наслаждаются другими победами, кроме успехов коварства. Долго пришлось бы ждать нам, если бы мы вздумали откладывать привычные свои удовольствия до водворения на земле других нравов и других стремлений. Благодарите бога, что он вам послал для уврачевания сердечных ран столько покоя и теплоты солнечной, сколько необходимо человеку, который знает цену и тому и другому благу. Итак с богом, в одно прекрасное утро напишите на чистой тетради следующие слова (прочее будет прибавляться с каждым новым днем): «Что было в умственной русской жизни до Карамзина? Чем он ее наполнил? Как ей устроиться посреди нового общества?»

О стихах ваших, которые должны прибыть сюда в альбом императрицы, я говорил с Тютчевым, и он обещал мне доставить их через Анну (его дочь, фрейлину цесаревны) Федоровну. Я слышал, что другая сестра ее (Дарья) взята будет перед Пасхою во фрейлины к в. к. Александре Иосифовне. А про третью (Катерину, которая в Москве) идет слух, что она выйдет замуж за одного из Самариных (кажется, за Григорья). Вот вам и новостей несколько, которые подобно многим, могут оказаться совсем неверными. Тютчева я вижу редко. На минуту сталкиваемся у Смирновой. И она и он не переменились: одна все полубольна, другой все спешит куда-то.

Как трогательно для меня было воспоминание обо мне Принцессы Ольденбургской! Давно привык я видеть в ней какое-то высшее существо, не разделяющее с прочими ни сует, ни страстей, ни волнений. Воображаю, как полно наслаждается она этою чудною природой, которая так мне знакома по описаниям Жуковского. Если придет к случаю, доложите ее высочеству, что я считаю себя виновным в отношении должности, которую несу в ее Институте: я не бываю там так часто, как бы желал и как бы обязан быть. По несчастию, чем долее остаюсь я в службе, тем она становится сложнее. Недавно в. к. Мария Николаевна возложила на меня обязанность быть по учебной части членом совета Патриотического и Елизаветинского Институтов. Университет, наконец, получает важное преобразование: в него теперь вводится преподавание новых наук, а именно военных, и студенты сверх того обязаны будут заниматься изучением строевой службы на практике. Все это прибавляет мне сношений, забот, ответственности и отнимает последние досуги.

Намерение ваше, князь, издать все, написанное за границею, очень радует меня. Если всю жизнь не собрались вы напечатать того, что написали здесь, пусть хотя эта эпоха переездов останется чем-нибудь замеченною. Я думаю, что печатание у Рейфа было бы выгодно во всех отношениях. Беда только в том, что без засвидетельствования здешней цензуры могут остановить экземпляры в таможне. Узнайте предварительно, как тут поступить надобно. Заглавием книги не мучьте себя, чем оно будет проще, тем лучше. Если вы не упомянете в заглавии о том, что пьесы написаны дорогою, или за границей, можно будет то же самое объяснить в коротеньком предисловии.

Очень желаю, чтобы не оставила вас мысль написать что-

нибудь о Карамзине-поэте и русском путешественнике. Только бы принялись вы за эту работу, я убежден, что не остановитесь на этом плане. Вас завлечет программа, выше изложенная мною. И в самом деле, долго ли нам повторять бессмысленно только имена бравшихся за перо, не исследовав, чье перо содействовало к какому-нибудь умственному успеху, и чье напрасно двигалось. Когда я читаю в новых учебниках глупо повторяемую фразу Греча, что Подшивалов с Карамзиным образовали русскую прозу, то на меня иной раз находит негодование.

Биография Гоголя снова переделана. Вероятно, будущею осенью явится она вдвое полнее. Издатель собрал большое количество новых его писем[10]. Про биографию Пушкина, составленную Анненковым, вы конечно уже слышали. Она содержит в себе столько подробностей, что из нее одной выйдет том. Я на днях получил из Малороссии от одной очень умной Харьковской институтки сочинение под названием: «Старина», еще не конченное, но уже представляющее довольно интереса. Эта приятельница моя, которой я в глаза не видывал, а только веду с нею переписку с того времени, как я некогда издавал «Современник», посвятила свое сочинение вам, князь, на том основании, что вы в книге своей о Фон-Визине напечатали следующие строки: «Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов Записок, за несколько Несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает История». Сочинительница (Соханская)[11] собрала множество подробностей о житье-бытье родственников своих с отцовской и материнской стороны (последнюю начинает она с князя Константина Острожского) и рассказывает очень интересно. По приезде сюда, вы прочитаете этот длинный рассказ, который постоянно обращен к вам. Не знаю только, не остановит ли лучших мест наша добрая Цензура.

О состоянии здоровья Батюшкова я нарочно ездил справиться у сестры его, Юлии Николаевны Зиновьевой. Но она знает об этом не более меня и вас. Родственник их Гревниц, который последнее время и ходил за больным, приезжавши сюда, объявил только, что Батюшков внезапно пришел в сознание и, услышав об осаде Севастополя, попросил, чтобы ему собрали побольше карт этой местности, и с той поры сильно занимается европейской политикой. Досадно, что никто не переписывается с Вологдою, и от того никаких новых сведений не прибавляется. Вот, что значит встать из гроба, пролежавши в нем тридцать лет. Никому уж и дела

нет до тебя. Право, страшно пережить тех, с кем делил первые свои впечатления.

Репнина была очень тронута вашим нежным о ней воспоминанием. Ее здоровие все не очень хорошо. Она нигде не бывает, даже у своих редко, хоть и живет с ними рядом.

Меня очень обрадовало известие, что вы в восемь часов уже встаете и завертываетесь в мокрую простыню. Я убежден, что такой курс лечения через год возвратит вам здоровье тридцатилетнего человека. По крайней мере так со мною было.

Но жена моя все слаба, особенно после вторых родов. Она не умеет покориться требованиям гидропатии.

Княгине шлет усерднейший поклон.

П. Плетнев

18. И. И. ПАНАЕВУ

Вы не можете представить, любезный Иван Иванович, как мне грустно, что более полугода я не развертывал ни одного № «Современника» нашего. Между Парижем и Петербургом для русских книг такая непроходимая дорога, такая бездна, что можно подумать, будто эти два города разъединены внутреннею Африкой.

Ужасно. А вся вина, по моему мнению, падает на равнодушие Посланников наших к жизни отечественной словесности. Они могли бы проложить ей дорогу по всей земле.

Вся моя отрада здесь в собеседовании с Иваном Сергеевичем[1], который не пропускает ни одного случая чем-нибудь утолить душевный мой голод.

Еще страшнее, что скоро должен постигнуть меня и голод телесный, если не поспешите ко мне на помощь вы, добрый друг мой. Забыв русскую поговорку: «Едешь на день, а бери хлеба на неделю», я отправился сюда на четыре только месяца, да и запасся деньгами немного более, как на шесть. Между тем болезнь бедной жены моей в декабре страшно возобновилась. Расходы по необходимости увеличились. Заем здесь самая неслыханная вещь. Если уплатить хоть днем, даже хоть часом позже условного времени, ступай в Клиши.

Поэтому умоляю вас, не откажитесь быть моим благодетелем: соберите в одну сумму все, что еще не доплачено мне за 1856 год, присоедините к ней вдруг 3 т[2]., следующие за 1857 год и вручите эти деньги В. Д. Трофимову. Он уже получил от меня наставления, как доставить ко мне

вовремя необходимую помощь. Я вполне верую в участие ваше к моему тяжелому положению.

Иван Сергеевич рассказал мне, как в предстоящей подписке на «Современник» 1857 года вы прекрасно умели устроить дела. Это меня порадовало и повеяло надеждою на улучшение собственного моего положения.

Выберите минутку, чтобы сообщить мне хоть самое любопытное из современного по части словесности нашей.

Обнимаю вас от сердца

Душевно преданный вам *П. Плетнев.*

30 дек. 1856
11 янв. 1857
Париж.
Rue Montaigne, 27.

19. И. И. ПАНАЕВУ И Н. А. НЕКРАСОВУ

Препровождаю Вам, любезные друзья мои Иван Иванович и Николай Алексеевич, по экземпляру нового моего Университетского Отчета, спешу отозваться и на общее письмо ваше о «Современнике».

В деликатном деле, Вами предлагаемом мне, я нахожу необходимым и более всего справедливым самих Вас поставить судьями. Не упоминая о том, что все пункты добровольно принятого нами договора, и без моего малейшего настояния единственно самими Вами составленного, нарушаются внезапно, без малейшего с моей стороны повода к тому, не упоминая, говорю, об этом, приведены ли Вы в настоящее время непредвиденными неблагоприятными обстоятельствами к предложению мне других условий, тяжело стесняющих меня во всех отношениях? Одно только это последнее обстоятельство могло бы тотчас и Вас и меня привести к необходимости заняться переменою наших отношений [1].

Будем столько же искренно и чистосердечны друг перед другом, сколько мы и уважаем друг друга. Ваше положение самое завидное; кто этого не знает. Я не забываю, и первый готов сказать во всеуслышание, что этим счастием, этою славою и этим могучим влиянием на публику Вы обязаны единственно себе, своим трудам и особенно блестящим талантам своим. Я очень хорошо знаю, что, основавши и новый собственный журнал, Вы с первого же месяца поставили бы его точно так, как теперь поставлен Вами «Современник». Меня, откровенно признаюсь, удивляет одно:

когда человек прекрасно устроен; когда в его занятиях, в его привычках и во всей жизни его, все улеглось и укрепилось как нельзя лучше: стоит ли тогда беспокоить себя перестройкою и переломкою здания? В подобных случаях я всегда повторяю пословицу: «Le mieux est l'énnemi de bien» *. Там, где оборот простирается далеко за 100 т., можно ли не в шутку заняться экономией 2 т.?

Еще было бы и это понятно, если бы такое сбережение прошло ни для кого незаметным и никого не поставило бы в затруднительное положение. Надобно ли объяснять Вам, как этим буду расстроен я, существующий казенным жалованьем, и вдруг, из единственного своего частного дохода, теряющий две трети? Конечно, никто не станет противоречить Вам, что уж довольно Вы были ко мне так деликатны; но согласитесь, когда есть возможность, не приятно ли и навсегда остаться деликатным?

Вот мой дружеский, чистосердечный отзыв. Мне приятно думать, что, по крайней мере до конца 1862 года, мы ничего не переменим в наших отношениях по «Современнику»[2].

Душевно преданный Вам

П. Плетнев.

26 февраля
1859. СПб.

20. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

21 ноябр.
3 дек.
1865 Париж.
Reu Makbeut, 73

Сколько нового, сколько приятного для меня прислали вы, дорогой друг Михаил Матвеевич, в своем письме от $\frac{10}{22}$ ноября. Благодарю вас за все, за все. Мне очень приятно было узнать, что мои слова об издании газеты пришли вам так кстати. Я и теперь остаюсь при моем мнении. Что такое, в самом деле, издание, требующее ежедневного приготовления и грозящее, как вексель, неотвратимою бедой при замедлении несколькими часами? Вы совсем не антрепренер, не аферист. Вы человек науки, любящий ее гораздо более для себя, нежели для других. Кабинет вам не контора и не лавка, а святилище мысли и сладкого труда.

---

* Лучшее — враг хорошего *(фр.)*.

Предпринимаемое вами четырехмесячное обозрение предметов, которое вы избрали себе целию жизни — это действительно принадлежащее преимущественно вам поприще. На нем подвизаются лучшие умы в Англии. Его избрал и Пушкин, принявшись за свой журнал. Я не хочу и не должен скрыть от вас, что это недоходное предприятие. Но вы конечно поняли и чувствуете сами, что это в будущем составит вам утешение, а имени вашему честь и гордость. Чтобы заранее оградить себя от какого-нибудь сожаления в выборе этого предприятия, надобно, как путешественнику, пускающемуся странствовать вокруг света, ко всему хладнокровно приготовиться, спокойно все обдумать и снабдить себя на опасную дорогу всем необходимым.

Теперь я нетерпеливо ожидаю от вас уведомления, что последовало на прошение ваше от Главного управления по делам печати. Мне хочется при этом в подробности знать, сообщало ли оно об этом вопросе Третьему отделению и Министерству Просвещения, или решение положено в Совете министров.

Что касается до выбранного вами названия для журнала, действительно оно не только вызвало улыбку, но и сердечно порадовало меня [1]. Одним этим названием вы, в некотором смысле, поставили себя вне круга жалкой современной литературы нашей. Еще сегодня я слышал, какую отвратительную статью о браке напечатали в «Современнике». Кто ее сочинитель? [2] Негодование должно быть всеобщее и в публике и в журналах.

Время, когда Жуковский издавал «Вестник Европы», для меня совсем темное. Он жил и работал в Москве, а я был еще школьником [3]. Очень хотелось бы мне в № 1-м издания вашего напечатать хоть несколько строк: так в 1-м № Пушкинского журнала я поместил статью. Постараюсь. Обещать, однако же, не смею. Тридцать лет с той эпохи. А еще несноснее, что болезнь упорствует.

Советую вам сохранить приятельские отношения к Ф. И. Тютчеву. Навещайте его часов в восемь вечера. Он человек редкого вкуса и с огромными познаниями. А еще для вас важнее: он вполне сочувствует ученым трудам и готов обо всем растолковаться с вами.

Вы обещали мне свое объявление и программу, свою философию истории и наконец еще том истории Средних веков. Это праздник будет для меня. Вы над историею Цезаря работаете вместе с ее автором. Он в Компьене дописывает 2-й том, а вы переводите начало.

Не знаете ли, кто первый предложил Кавелина к бало-

тированию? И отчего московский Чичерин избран? Это все мне непонятно.

Передайте от жены моей и от меня дружеские наши приветствия Любови Исаковне [4].

Душевно преданный вам

П. А. Плетнев.

21. В РЕДАКЦИЮ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»

«Прочь авторитеты!» — повторял несколько раз в статьях своих один писатель, принимавшийся, подобно вам, за издание нового журнала. Авторитет представлялся ему в виде обидного для всех кумира, поставленного на подножие, с которого пришло время сбросить его.

Вы думаете иначе. В объявлении о своем «Вестнике Европы» вы сказали: «Прежде всего, мы желали *самым* выбором такого названия почтить память нашего достойнейшего отечественного историка в тот год, когда время открытия нового исторического журнала совпадает с первым столетним юбилеем рождения Карамзина». Такое воспоминание достойно его... Мне даже показалось, что и само число выпусков, ежегодно вами назначаемых, указывает на другой авторитет, который вы мысленно почтили: так являются трехмесячные обозрения тех светлых и высших британских умов, которых последователем был и Пушкин при основании своего «Современника».

Итак, не все и не всегда смотрели враждебно на авторитеты, которых отличительный характер состоит именно в том, что они, не изменяя внутреннего своего достоинства, оставляют каждому свободный путь труда. Не их вина, если писатель иногда рабски тянется в каждой черте по чужим следам, не чувствуя, что он не только не воссоздает ничего творческого, но и разрушает его в основании.

Авторитет, какого бы он ни был времени, в отношении к нам то же, что природа. Она животворит нас и вдохновляет, не связывая наших сил и не налагая на них обязанности бездушного повторения. Истинное создание во всех проявлениях своих свободно. Тем не менее, оно не в противоречии с прекрасным, до него явившимся и всеми сознаваемым, будет ли оно в природе, или в искусстве. Это отношение внушает нам только естественное сочувствие к авторитету.

Карамзин бесспорно замечательный литератор в лучшем и высшем значении этого слова. Чем ни занимался он

в нашей литературе, на всем оставлялся след обновления и совершенствования. Его воображение, видимо, с полным успехом работало над каждою стороною избранного им предмета. Начиная с языка, важнейшей принадлежности в литературе, он дал образцы вкуса и заставил уважать высшие требования искусства, о которых до него никто и не думал. Но при всем том, эти улучшения, эти богатства, внесенные Карамзиным в общую сокровищницу литературы нашей, как и все, пережившее свой век, не могут быть снова принимаемы для поддержания достоинства и блеска современных трудов. На этом же поприще необходимо полное обновление. Жизнь и мысль народа не могут останавливаться. Как самое время, они беспрерывно мчатся вперед. Окружаемые при этом движении всем новым, мы прошлому отводим место в истории, подчиняясь в настоящем властительству новых сил.

По закону общего и неизменного преемничества, язык обогащается более точными выражениями, более приятными оборотами и более удобными формами сочинений. В описаниях и повествованиях являются иные краски, которые живее и соответственнее представляемым предметам. Пути направления мыслей разветвляются и расширяются. Источники новых исследований и воззрений безостановочно открываются и заставляют перерабатывать часто вековые идеи. Вот сколько побуждений, на основании которых вы должны были предварительно объявить (как это и исполнено вами), что в журнале своем вы не иначе намерены обрабатывать каждый отдел, как по требованиям ныне господствующего направления. Этим вы поставили себя вне всякой зависимости от Карамзина.

Между тем в этом же авторитете еще сколько остается сокровищ, которых благотворного влияния еще надо пожелать всякому. Карамзин любил неизменно и с преданностью свое поприще мысли, науки и вкуса. На нем он трудился не урывками, не для отдохновения и не по суетному внушению честолюбивых видов. Он вполне сознавал, что это его призвание на всю жизнь. Скромно посвятив всего себя столь благородному занятию, он в нем нашел всю прелесть жизни, удовлетворение лучшим потребностям души, оправдание в исполнении обязанностей гражданина и отрадную мысль о сочувствии к нему мыслящих людей.

Поразительнее всего неутомимость, настойчивость и добросовестность его в составлении «Истории Российского Государства». Труды предшественников его не представляли ему пособий ни в каком отношении. В нашей литературе

не только не было перед ним ни одного образца, но и самые необходимые источники не были приведены в порядок и оставались по большей части в неизвестности. Сколько труда и терпения требовала одна тяжелая предварительная работа. И что же мы увидели? Какие только можно было, в тогдашнее время, отыскать материалы, привести их в порядок и извлечь из них все существенное, все необходимое, они явились проверенными, стройными и привлекательными в его создании. Карамзин провел целые годы посреди хаоса, чтобы выработать из него артистическое целое. Теперь нам легко выходить за ним на ту же работу, обозревать возделанное поле, измерять, расширять или уменьшать его части по усмотрению, отыскивать другие точки для новых воззрений, словом: свободно и безотчетно пользоваться неисчислимыми сокровищами, в наследство нам перешедшими от Карамзина.

Когда, таким образом, сообщено было литературе полное и правильное движение, Карамзин, еще при жизни своей, был награжден новыми успехами вкуса и мысли, развившимися в его же сфере. Одна после другой, две новые школы не могли остаться незамеченными. Их основатели, как ни тесно соединены были с Карамзиным, но талант каждого выбрал себе независимую дорогу. Они подчинили себя учителю только в стремлении к совершенствованию искусства и в расширении области его. Известно, что Жуковский впервые опыты свои обрабатывал перед глазами основателя «Вестника Европы»[1]. В это же время мы начинаем чувствовать, что слог ученика представляет более силы и выразительности, что картины его ярче и полнее, что в основание произведений его положен религиозный элемент, согретый истинным и глубоким чувством. За ним является Пушкин, самобытный и совершеннейший художник. Он тем не менее сам торжественно называл себя учеником Карамзина и Жуковского. С появления произведений его все почувствовали, какое могущество представляет язык, сколько богатств хранит в себе мысль и какое духовное наслаждение в проявлении творчества.

Как ни разнообразны были эти писатели во всех отношениях к литературе, ни один, однако же, из них не отделился от другого, увлекаемый каким-нибудь эгоистическим чувством. Им казалось совершенно естественным и даже как бы законом справедливости чествовать авторитет. Они сознавали в душе, что область искусства безгранична, что в ней каждый раз совершенство красоты найдет принадлежащее ему место и что все они идут к одной цели.

Благодушие Карамзина и его сочувствие ко всякому честному труду ума и вкуса распространились не на одних близких ему людей. Он готов был делиться опытностью своею и теплым участием в общем деле образования с каждым лицом, которое бы пожелало слышать его мнение о своих убеждениях. Поэтому, постепенно, все шире и шире становился круг желавших войти с ним в непосредственные отношения. Дом его наконец составлял как бы определенное место, где назидательный разговор и свободный обмен даже противоположных мыслей воспитывали и укрепляли лучшие стремления на пользу общества. Это был центр, откуда являлись уже выработанными основные идеи того времени.

Мы, в наше время, ничего подобного не видим, по крайней мере в литературе. Вам оставлю решить, к лучшему это, или напротив.

П. Плетнев.

23 декабря 1865
4 января 1866
Париж.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание сочинений П. А. Плетнева включены избранные литературно-критические статьи, стихотворения и письма, то есть оно отражает все стороны творчества Плетнева. До сих пор осуществлено лишь одно издание сочинений Плетнева: Сочинения и переписка: В 3 т. СПб., 1885, подготовленное Я. К. Гротом. Труды Плетнева были рассеяны по альманахам и периодическим изданиям 1820—1860 гг. и к концу XIX века почти забыты. Наиболее значительные из них собраны Гротом, но многие сочинения остались за пределами его издания. В отборе произведений Грот руководствовался не только историко-литературным, но и вкусовым принципом. Особенно это коснулось поэтических произведений Плетнева, многие из которых были признаны составителем не достойными включения в его издание из-за их дидактического характера или недостаточно высокого художественного уровня. В настоящем издании представлены некоторые стихи, отвергнутые Гротом. Тексты статей сверены с первыми публикациями, тексты почти всех стихотворений и писем — с автографами. В отдельных случаях внесены уточнения. Исключение составляют письма Плетнева к Пушкину, которые даются по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 13.— М., 1937; Т. 14.— 1941,— и письма к Я. К. Гроту, автографы которых, видимо, не сохранились. Отдельные стихотворения и письма публикуются впервые.

Внутри каждого раздела материалы расположены по хронологии. Орфография и пунктуация в необходимых случаях приведены в соответствие с современными нормами. Подстрочные сноски (помимо оговоренных авторских) принадлежат издателю Я. К. Гроту.

Подстрочные переводы с иностранного принадлежат составителю.

СТАТЬИ

В раздел вошли статьи и рецензии Плетнева, связанные с именами известных писателей XIX века. Полностью представлен весь плетневский «альбом» биографий поэтов. Разбор книги А. В. Никитенко «Опыт истории русской литературы», в которой сделана

попытка периодизации русской литературы, выявляет историко-литературные взгляды Плетнева. Тексты публикуются по изданию: Плетнев П. А. Соч. и переписка.— Т. 1—3.— СПб., 1885.

Отдельные эпизоды биографий Пушкина (южная и михайловская ссылки, последний период жизни), Жуковского (его «незаконнорожденность» и любовь к М. А. Протасовой), Баратынского (служба в Финляндии), в настоящее время хорошо известные, опущены Плетневым в статьях по цензурным и этическим соображениям.

Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова. Впервые: Греч Н. Опыт краткой истории русской литературы.— СПб., 1822.— С. 307—314. Представляет собой отрывок из «Общей характеристики русских поэтов», которая читалась Плетневым на собраниях «Вольного общества любителей российской словесности» (упоминание см.: Труды общества за 1821 г.— Ч. XIII.— С. 425).

[1] *Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт и переводчик; удачны его стихи в жанре «высокой поэзии».

[2] *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — автор двух поэтических сборников: «И мои безделки» (1795), «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен» (1796). Басни Дмитриева отличались поэтичностью и изяществом.

Некролог барона Дельвига. Впервые: Литературная газета.— 1831. — 16 янв. (№ 4). — С. 31—32. Под заглавием «Некрология».

[1] «Прощальная песнь воспитанников Царскосельского лицея», сочиненная Дельвигом в 1817 г. Цитируется без двух последних строф.

[2] «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» под председательством известного баснописца А. Е. Измайлова (1779—1831). Первым стихотворением, прочитанным Дельвигом в «Обществе...», было «На смерть Державина» (1816).

[3] «Вольное общество любителей российской словесности» или «ученая республика» под председательством поэта Ф. И. Глинки (1786—1880).

Александр Сергеевич Пушкин. Впервые: Современник.— 1838.— Т. X.— С. 21—52.

[1] *Ариосто* Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» (1516); *Виланд* Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель эпохи Просвещения, автор фантастической поэмы «Оберон», сатирического романа «Абдеритяне». Осмеивал сентиментальную мечтательность и моральный аскетизм.

[2] Семейство Прасковьи Александровны Осиповой (1781—1859), помещицы села Тригорского. Осипова была в курсе литературных, хозяйственных и семейных дел Пушкина.

[3] «К няне А. С. Пушкина» (1827).

Чичиков, или «Мертвые души» Гоголя. Впервые: Современник.—1842.—Т. XXVII.—С. 13—61. Под статьею, написанною в форме письма к редактору «Современника», то есть к П. А. Плетневу, вымышленные подпись: «С. Ш.» и дата: «19 июня 1842. Житомир». По свидетельству Грота, Плетнев приписал статью своему приятелю Шаржинскому (см.: Соч. и переписка.— Т. 1.— С. 577).

[1] Речь идет о статье Н. Греча, опубликованной в «Северной пчеле» (1842.— № 137.— 22 июля). Автор увидел в поэме «особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать».

Евгений Абрамович Баратынский. Впервые: Современник.— 1844.— Т. XXXV.— С. 298—329.

[1] Письмо Н. М. Карамзина к Каподистрия (1818) опубликовано Жуковским в «Журнале Министерства народного просвещения» (1835.— № 1.— Отд. 2.— С. 1—13).

[2] *Ишимова* Александра Осиповна (1804—1884) — писательница, переводчица, педагог, в 1842—1863 гг. издававшая детский журнал «Звездочка».

[3] Я. К. Грот.

Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова. Впервые: Крылов И. А. Полн. собр. соч.— СПб., 1847.— Т. 1.— С. I. — LXLIX.

[1] Речь идет о Сатире 5-й А. Д. Кантемира (1708—1744) «На человеческие злонравия вообще».

[2] *Сумароков* Александр Петрович, родился в 1717 г.; датой рождения Крылова принято считать 2 февраля 1769 г.

[3] В Петербурге Крылов сблизился со знаменитым драматургом Я. Б. Княжниным, жил в его доме, но затем, испытав тягостное для себя покровительство Княжнина, сатирически изобразил его, а также его семейную жизнь в комедии «Проказники».

[4] *«Трумф»* (1799—1800) — ироническая трагедия-издевка над самодержавием и немецким засильем при Павле I. Пьесу, по воспоминаниям современников, ставили на домашних театрах.

[5] «Басни Ив. Крылова» (Вестник Европы.— 1809.— Ч. 45.— № 9).

[6] Сын отечества. — 1820.— Ч. 64.— № 38.— С. 233, без подписи. Адресована А. Ф. Воейкову, автору статьи «Разбор поэмы «Руслан и Людмила». Сочинение А. С. Пушкина» (Сын отечества.— 1820.— № 34—37).

Опыт истории русской литературы профессора Никитенко. Впервые: Современник. — 1845. — Т. XXXVIII. — С. 336—376. Является рецензией на кн.: Никитенко А. Опыт истории русской литературы. — Кн. I. — Введение. — СПб., 1845.

[1] *Шлёцер* Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк и публицист, теоретик всемирной истории, обнимающей все народы земного шара; в 1762—1767 гг. работал в России, очищал, как ему

казалось, от «басен» и «суеверия» русские исторические памятники.

[2] *Вико* Джамбатиста (1668—1744) — итальянский философ, теоретик литературы и поэт, основатель учения о развитии человеческого общества в повторяющихся циклах: эпоха богов, эпоха героев, эпоха людей.

[3] *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, критик, эстетик; проповедовал национальную самобытность искусства и рассматривал его как источник, правдиво отражающий национальную историю и дух.

[4] *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург. Речь, видимо, идет о его исторических работах «История отпадения Соединенных Нидерландов от испанского правления» (1788) и «История Тридцатилетней войны» (1793).

[5] *Тьер* Луи Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, публицист и историк, автор «Истории Французской революции».

О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. Впервые: Живописный сборник 1853 года.— Т. III.— С. 355—397. Под названием: «В. А. Жуковский».

[1] 8 ноября 1796 года — день восшествия на престол Павла I, который ограничил дворянские привилегии.

[2] *Протасова* Екатерина (Катерина) Афанасьевна (1770—1848) — сводная сестра Жуковского от брака его настоящего отца, тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина, с Марьей Григорьевной Буниной.

[3] Александре Андреевне Протасовой-Воейковой (1795—1829).

[4] К Марии Андреевне Протасовой (1793—1823), в замужестве Мойер. Браку Жуковского с М. А. Протасовой воспрепятствовали ее мать, Е. А. Протасова, и муж младшей сестры А. Ф. Воейков, ссылаясь на близкое родство Жуковского и М. А. Протасовой.

[5] Речь идет о переписке А. И. Тургенева с Г. Р. Державиным в марте — апреле 1811 года, опубликованной в кн.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. — Т. 6. — СПб., 1876. — С. 242—243, 244—249.

[6] *Фенелон* Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715) — французский писатель и религиозный деятель, автор многих дидактических произведений, отстаивал идеи просвещенной монархии. Известен своим романом «Приключения Телемака» (1699).

[7] *Менцель* Адольф (1815—1905) — немецкий живописец. Видимо, речь идет об изданных им литографических листах с изображением событий бранденбургско-прусской истории.

[8] То есть самому Плетневу и историку М. П. Погодину (1800—1875).

Отзыв о драмах «Горькая судьбина» и «Гроза». Впервые: Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова.— СПб., 1860.— С. 33—41.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Большинство из включенных в раздел стихотворений были опубликованы при жизни Плетнева в периодических изданиях и впоследствии переизданы Я. К. Гротом (Плетнев П. А. Соч. и переписка. — СПб., 1885. — Т. 3. — С. 247—310). В раздел вошли стихотворения, наиболее полно представляющие характер поэтического творчества Плетнева, в том числе почти все послания и стихотворения с посвящениями. Рукописным источником для данной публикации является тетрадь Плетнева (ИРЛИ, ф. 234, оп. 1, ед. хр. 1. Водяной знак 1822 г. В дальнейшем — Тетрадь ПД). Тетрадь датирована 1818 г., но стихи в нее Плетнев начал записывать не ранее 1822 г. Расположение стихотворений дает основание предполагать, что Плетнев замышлял все собранные в тетради стихи издать отдельным сборником. Всего в тетради 136 листов. В конце помещено «Содержание». Многие страницы не заполнены. Отдельные — содержат чернильные пометы автора и карандашные — Я. К. Грота. Открывает тетрадь стихотворение «Пролог», завершает — «Эпилог» («Удел поэзии»). В примечаниях к разделу и при датировке стихотворений неизвестных лет использованы материалы главы «П. А. Плетнев» в кн.: Поэты 1820—1830-х годов.— Л., 1972.— С. 735—740 (подготовка текста и примеч. В. Э. Вацуро).

Гробница Державина. Впервые: Сын отечества.— 1819.— № 25.— С. 273. Эпиграф— измененные строчки из послания Жуковского «К Вяземскому» (1814). В стихотворении есть строки, имитирующие звукопись Державина, и прямые реминисценции из его оды «Водопад».

Голос природы. Впервые: Соревнователь.— 1820.— Т. XI.— С. 91. Публикуется по этому тексту. В «Сочинения и переписку» включено Гротом под названием «Ломоносов» (Т. 3.— С. 247—248).

Сирота. Впервые: Соревнователь.— 1820.— Т. X.— С. 182. Одно из первых антологических стихотворений Плетнева.

К моей родине. Впервые: Сын отечества. — 1820.— № 3. — С. 129. Плетнев называет в нем «пустынное село в густых лесах» местом своего рождения. По другим его свидетельствам — родился в Твери.

Совесть. Впервые: Сын отечества.— 1820.— Ч. 65.— № 44.— С. 179—183. В. Кюхельбекер отмечал стихотворение как удачное подражание «слогу философических од Державина».

К Дельвигу. Датируется 1820 г. Впервые в кн.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений.— Л., 1959.— С. 302.— Б-ка поэта. Известен «Ответ» Дельвига (Северные цветы на 1828 год.— С. 86). На вопрос, поставленный в первой строке, Дельвиг отвечал: «У Кошанского» (профессора русской и латинской словесности в Царскосельском Лицее).

Новость на Олимпе. Впервые: Благонамеренный.— 1820.— Ч. 11.— № 17.— С. 330. За подписью: NN. Авторство установлено по тексту письма А. С. Пушкина Л. С. Пушкину от 4 сент. 1822 г. Поэт, связывая стихотворение с именем Плетнева, писал брату: «Новость на Олимпе очень мила». Имеет отношение к публикации поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

К Ф. Н. Глинке. Впервые: Соревнователь.— 1821.— Ч. 14, 15.— С. 197—199. Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — поэт и публицист, председатель «Вольного общества любителей российской словесности». По его инициативе Плетнев был принят в члены общества 20 октября 1819 г.

Удел поэзии. Впервые: Соревнователь.— 1821.— Ч. 16.— № 10.— С. 87. Гротом опубликовано под названием «Эпилог», которое определяет место стихотворения в рукописной тетради Плетнева (Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 310).

Батюшков из Рима. Впервые: Сын отечества. — 1821. — Ч. 68.— № 8.— С. 35—37. Без подписи. О нем см. вступ. статью в настоящем изд. (с. 11).

Жуковский из Берлина. Написано в 1821 г. Впервые: Сын отечества. — 1822.— Ч. 75.— № 7.— С. 327—329. За подписью Плетнева.

К рукописи Б<аратынско>го стихов. Впервые: Соревнователь.— 1821.— Ч. 15.— Кн. 3.— С. 340. Без подписи и с заглавием: «Стихи, написанные на манускрипте поэта», где первые строки: «Быть может, милый друг, по воле Парки тайной Внезапно распрощусь я с жизнею случайной». Печатается по автографу: Тетрадь ПД.— Л. 104. Приписывалось Е. Баратынскому.

К Гнедичу. Впервые: Новости литературы.— 1822.— Кн. 2.— № 25.— С. 188—191. Вместе с ответом Гнедича (1824) — Северные цветы на 1831 год. — С. 57, второй паг. *Гнедич Н. И.* (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера, имел репутацию наставника молодых поэтов.

К Баратынскому. Датируется предположительно 1822 г.— Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 307.

К Воейкову. Впервые: Собр. образцовых рус. соч.— СПб., 1822.— Ч. V.— С. 99.

К Музе. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 297. По датировке В. Э. Вацуро написано Плетневым к дню своего тридцатилетия, то есть в августе 1822 г. (Поэты 1820—1830-х годов.— Л., 1972.— Т. I.— С. 737).

К А. С. Пушкину. Написано в 1822 г. Впервые: Соревнователь. — 1824.— Ч. 26.— № 5.— С. 201—204. Без строк 53—60, в которых цензура усмотрела намек на трагизм судьбы ссыльного поэта.

Пир. Впервые: Соревнователь. — 1822. — Т. XVIII. — С. 201—206.

К Вяземскому. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 301.

Датировано В. Э. Вацуро в связи с перепиской Плетнева и Вяземского, возникшей в 1822 г.

К мечтам. Датируется 1822 г. Публикуется впервые по автографу: Тетрадь ПД.— Л. 98—99.

Судьба. Впервые: Новости литературы.— 1823.— Кн. IV. — С. 191. Печатается по более позднему автографу, опубликованному Гротом: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 268. Предполагается, что в стихотворении нашли отражение впечатления от «Умирающего Тасса» Батюшкова.

Жизнь. Впервые: Новости литературы.— 1823.— Кн. V.— С. 79.

Родина. Написано в 1823 г. Впервые: Полярная звезда на 1824 год.— С. 196. В стихотворении отразились впечатления детства. Пушкин писал об этой публикации в письме А. Бестужеву от 1 февраля 1824 г.: «Плетнева «Родина» хороша».

К И. И. Козлову. Написано в 1824 г. Впервые: Северные цветы на 1825 год.— С. 339. *Козлов* И. И. (1779—1840) — поэт и переводчик, в 1821 г. потерял зрение. После смерти Козлова Плетнев издает его сочинения и оказывает поддержку его дочери.

Три звезды. Написано в 1824 г. Впервые: Полярная звезда на 1825 год.— С. 155.

Измена. Написано в 1824 г. Впервые: Северные цветы на 1825 год.— С. 274. Печатается по более позднему автографу: Тетрадь ПД, который также использован Гротом: Соч. и переписка. — Т. 3.— С. 280.

Разлука. Написано в 1824 г. Впервые: Северные цветы на 1825 год.— С. 344.

К Товарищам. Написано в 1824 г. Впервые: Полярная звезда на 1825 год.— С. 276. Возможно, отражает атмосферу салона С. Д. Пономаревой, который был одним из самых демократических литературных объединений 1820-х гг.

А. Н. С<емено>вой. Написано в 1824 г. Впервые: Северные цветы на 1825 год. — С. 301. *Семенова* Александра Николаевна — ученица Плетнева по Петербургскому женскому пансиону Е. Д. Шретер, подруга жены Дельвига С. М. Салтыковой.

Послание к Жуковскому. Написано в 1824 г. Впервые: Соревнователь.— 1825.— Ч. 29.— № 1.— С. 3—6. Без подписи. Автограф под заглавием «К Жуковскому». В стихотворении отразилось представление о Жуковском как о «первом поэте золотого века нашей словесности» (см. статью Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах», 1824).

Объяснение. Написано в 1825 г. Впервые: Северные цветы на 1826 год. — С. 83.

Идеал. Написано в 1825 г. Впервые: Северные цветы на 1826 год.— С. 40.

С. М. С-ой. Написано в 1825 г. Впервые: Северные цветы на

1826 год.— С. 32. С припискою «Сонет». Посвящено Софье Михайловне Салтыковой, вскоре ставшей женой А. А. Дельвига.

Княжне С. Р-ль. Написано в 1825 г. Впервые: Северные цветы на 1826 год. — С. 96. Отклик на стихотворение И. И. Козлова «Княжне С. Р-ль» (Софье Радзивилл).

Воспоминание. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 304. Датируется В. Э. Вацуро предположительно 1825 г.

Стансы к Д<ельвигу>. Написано в 1825 г. Впервые: Северные цветы на 1826 год.— С. 12. Под названием «К Дельвигу»// Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 288.

Садовник. Написано в 1826 г. Впервые: Северные цветы на 1827 год.— С. 288.

Море. Написано в 1826 г. Впервые: Северные цветы на 1827 год.— С. 317. Под заглавием «Воспоминание». Заглавие заменено в более позднем автографе: Тетрадь ПД.

К Терпению. Датируется предположительно 1826 г. Публикуется впервые по автографу: Тетрадь ПД.— Л. 5 — 5 (об.). В стихотворении, по-видимому, отражен факт преследования Плетнева властями за переписку с А. С. Пушкиным и публикацию его произведений.

Безвестность. Написано в 1827 г. Впервые: Северные цветы на 1828 год.— С. 28, втор. паг.

Жертва судьбы. Датируется предположительно концом 20-х годов. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 306. Под названием «Эдип».

Анакреон. Написано ранее 1831 г. Датируется по тексту стихотворения. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 296—297. Посвящено Дельвигу и Баратынскому. Публикуется по автографу, в котором посвящение отсутствует.

К Гнедичу и Баратынскому. Написано ранее 1831 г. Датируется по тексту стихотворения. Впервые: Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 304. Под именем Барона упоминается А. Дельвиг.

Вальтер Скотт. Датируется 1832 годом. Публикуется впервые по автографу: Тетрадь ПД.— Л. 67. *Вальтер Скотт* (1771—1832) — английский писатель, автор исторических романов. Стихотворение является откликом на его смерть.

К А. Н. Майкову. Датируется 1842 г. Публикуется впервые по автографу: РО ИРЛИ, ф. 234, оп. 1, ед. хр. 129. Послание Майкова помещено в комментарии к Письму № 16 в настоящем издании.

ПИСЬМА

Эпистолярное наследие П. А. Плетнева обширно. Большая его часть уже увидела свет. Я. К. Гротом опубликованы письма Плетнева к А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому, В. А. Жуковскому: Плетнев П. А. Соч. и переписка.— СПб., 1885.— Т. 3. Переписка Плетне-

ва с Я. К. Гротом вышла отдельным изданием в трех томах в 1896 г. Известны также публикации писем Плетнева к Н. В. Гоголю: в журнале «Русский вестник» (1890, ноябрь), в брошюре: Грот Я. К. К переписке Н. В. Гоголя с П. А. Плетневым. Неизданные письма 1832—1846 гг.— СПб., 1900 и в книге: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. — М.; Л., 1936. — Т. 1 (здесь же помещены письма Плетнева к С. П. Шевыреву и другим адресатам, связанные с именем Гоголя); письма к М. М. Стасюлевичу в кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке.— СПб., 1911.— Т. 1; письма к И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову в кн.: Архив села Карабихи.— М., 1916. Все известные письма Плетнева к Пушкину собраны и впервые откомментированы В. Э. Вацуро в кн.: Переписка А. С. Пушкина. — М., 1982.— Т. 2. Некоторые ранее неизвестные письма Плетнева к В. А. Жуковскому опубликованы Е. П. Горбенко в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1980 (Л., 1984).

В настоящее издание включены избранные письма Плетнева разных лет, характеризующие его мировоззрение, литературные вкусы, отношения с друзьями и деловые связи. Тексты всех писем, за исключением писем к А. С. Пушкину и Я. К. Гроту, сверены с автографами, хранящимися в Рукописных отделах ИРЛИ (Пушкинский Дом) и ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. Письма к Н. И. Гнедичу, А. Н. Майкову, И. И. Панаеву публикуются впервые.

В примечаниях к разделу отчасти использованы материалы перечисленных выше публикаций. Ряд имен дается без пояснений.

1. А. С. Пушкину. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка.— Т. 3.— С. 313—315.

[1] Речь идет об издании «Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина» (СПб., 1825), где в качестве предисловия к I главе был напечатан «Разговор книгопродавца с поэтом».

[2] Имеется в виду критический отзыв о статье Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». Он был помещен в заметке о «Северных цветах» за подписью «Д. Р..К.», включенной в состав «Писем на Кавказ», которые публиковались за подписью «Ж. К.». Предполагается, что «Д. Р. К.» — Ф. В. Булгарин, «Ж. К.» — Н. И. Греч. В оценках автора заметки выразилось скептическое отношение редакторов «Сына отечества» к мнению Плетнева, с их точки зрения, завышавшего значение Жуковского, Пушкина и Баратынского. «Мне совестно выписывать все сказанное на счет Жуковского,— писал с иронией «Д. Р. К»,— в этом обозрении поэтов, где Державин только назван прежде других, а все прочие поэты, особенно Жуковский, Пушкин и Баратынский (!), поставляются выше, ибо в похвалах им истощено все, что можно было сказать о Гомере, Пиндаре и Виргилии».

[3] *Шаликов* Петр Иванович (1767—1831) — писатель-сентименталист, издатель «Дамского журнала».

[4] *Байрон* — стихотворение И. И. Козлова «Бейрон», написанное на смерть Байрона (Новости литературы, 1824, кн. 10, декабрь).

2. А. С. Пушкину. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. —С. 315—318.

[1] Статья Плетнева написана в форме письма к графине С. И. Соллогуб — матери писателя В. А. Соллогуба.

[2] Строки из послания «К А. С. Пушкину».

[3] *Ламартин* Альфонс Мари Луи де (1790—1869) — французский поэт, публицист и политический деятель; пользовался популярностью в кругах русской читающей публики.

[4] *Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — автор поэмы «Россияда» (1775), в начале XIX в. считался неинтересным для чтения, архаичным поэтом.

[5] *Хмельницкий* Николай Иванович (1789—1845) — драматург и переводчик.

[6] *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт, автор басен.

[7] *Туманский* Василий Иванович (1800—1860) — поэт-элегик.

[8] *Крылов* Александр Абрамович (1798—1829) — поэт.

[9] *Воейков* Александр Федорович (1779—1839) — поэт, переводчик, критик, член «Арзамаса».

[10] Строки из «Разговора книгопродавца с поэтом».

[11] Строки из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа LVI).

[12] Опубликованы в альманахе «Северные цветы на 1825 год» за подписью «П...й», то есть В. А. Перовский.

[13] *«Череп»* — стихотворение Баратынского («Северные цветы на 1825 год»).

3. П. А. Вяземскому. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 387—389.

[1] *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, литературный критик, «арзамасец». Отношения Плетнева и Вяземского складывались трудно. Их знакомство состоялось в феврале 1821 г., но только в начале 30-х гг., когда Плетнев готовил к изданию перевод романа Б. Констана «Адольф», выполненный Вяземским, холодное недоверие аристократа к удачливому «выскочке» сменилось доброжелательностью и пониманием.

[2] Журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», в котором П. А. Вяземский активно сотрудничал с момента его открытия в 1825 г.

[3] Благодаря усилиям Вяземского в журнале печатали свои произведения Пушкин, Жуковский, Баратынский, Козлов, Языков и др.

[4] *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — литератор, исто-

рик, в обществе «арзамасцев» был прозван *Эоловой Арфой;* здесь — *Дрезденской,* поскольку в «Московском телеграфе» печатались его письма из Дрездена.

[5] В первом томе сочинений Ф. В. Булгарина напечатано посвящение: «Читающей публике в знак уважения и признательности посвящает сочинитель».

[6] В этом предисловии Булгарин выражал благодарность Н. Гречу, который якобы «открыл... таинства русского слова, поныне для многих недоступные».

[7] Видимо, намек на статью Вяземского и Н. Полевого о «Русской Талии» (сборнике, изданном Ф. В. Булгариным в 1825 г.), опубликованную в «Московском телеграфе» (1825, ч. I) без подписи.

[8] Речь идет о стихах В. А. Жуковского «Явление поэзии в виде Лалла-Рук» («Памятник отечественных Муз на 1827 год») и «К NN при посылке портрета» (Московский телеграф. — Т. XIV. — № 6).

[9] В «Московском телеграфе» (Т. XIV.—№ 6) опубликованы «Выдержки из записной книжки» Вяземского.

[10] То есть «Московский вестник», который издавался в 1827—1830 гг. при участии Пушкина.

[11] Пушкин.

[12] Брат А. С. Пушкина Лев Сергеевич.

4. Н. И. Гнедичу. Публикуется впервые. По тексту копии (РО ИРЛИ, ф. 234, оп. I, ед. хр. № 96). Автограф неизвестен.

Плетнев сблизился с Николаем Ивановичем Гнедичем в «Обществе соревнователей», был обладателем единственного экземпляра его речи об общественном назначении поэта, произнесенной 13 июня 1821 г. Гнедич видел задачу поэта в том, чтобы он сражался с пороком и воспламенял любовь к человечеству. Избранный председателем общества, Гнедич играл в кругу поэтов роль «поэта-учителя». Плетнев, как и многие его современники, испытал на себе личное влияние и воздействие авторитета Гнедича. Это отношение к самоотверженному переводчику «Илиады» ощущается как в письме Плетнева, так и в его поэтическом послании «К Гнедичу».

[1] Речь идет о поэме «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», отрывок из которой опубликован впервые в «Северных цветах на 1827 год». — С. 263—264, под названием «Лунная ночь в Кремле».

[2] Стихотворение П. А. Плетнева «Соловей». Опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1828 год». — С. 58.

[3] Строка из стихотворного послания П. А. Плетнева «К Гнедичу».

5. А. С. Пушкину. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. —С. 365—367.

[1] Речь идет о портрете Пушкина работы О. Кипренского (1827), заказанном Дельвигом.

[2] Существовала версия, что слух о похищении был пущен самой С. М. Дельвиг, пожелавшей ввести в заблуждение своего отца М. А. Салтыкова.

[3] *Сомов* Орест Михайлович (1793—1833) — писатель, критик, журналист; вместе с Дельвигом выпускал его издания, был его сотрудником и другом.

[4] «Глава из исторического романа» — «Северные цветы на 1831 год».

[5] «Несколько мыслей о преподавании детям географии» — Литературная газета. — 1831. —№ 1. — 1 янв. Подпись: П. Глечик.

[6] Там же. — № 4. — 16 янв.

[7] С подзаголовком: Из малороссийской повести «Страшный кабан». — Литературная газета. — № 1. — 1 янв. Подпись: П. Глечик.

[8] *Деларю* Михаил Данилович (1811—1908) — лицеист V выпуска, поэт, переводчик; испытал сильное литературное и личное влияние Дельвига.

[9] *Беллизар* Фердинанд Михайлович (1798—1863) — содержатель книжного магазина в Петербурге.

6. В. А. Жуковскому. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 519—524.

Знакомство Плетнева с В. А. Жуковским, видимо, состоялось в конце 1820 г. На протяжении многих лет — с 1823 по 1852 г. — их связывала переписка, которая сохраняет многие подробности их взаимоотношений. Она касается различных вопросов: историко-литературных, философских, этических; отражает отдельные эпизоды повседневной жизни.

[1] Мердеру, воспитателю великого князя Александра Николаевича.

[2] Племянница Жуковского, дочь В. А. Юшковой (урожд. Буниной), детская писательница (1786—1864).

[3] Опубликована в «Литературных прибавлениях к «Сыну отечества» на 1822 год», № 1—3, без подписи.

[4] *Протасова К. А.* (1770—1848) — младшая дочь А. И. Бунина, сводная сестра Жуковского, и ее две дочери.

[5] Новоселье на 1833 год. — Т. I.

[6] Речь идет о несостоявшейся газете «Дневник» — издании, которое Пушкин замышлял в 1831—1832 гг.

[7] *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — прозаик, драматург, историк, критик «Московского вестника» и его издатель в 1824—1830 гг.

[8] *Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — критик, публицист, «любомудр», впоследствии славянофил.

[9] *Одоевский* Владимир Федорович (1803 или 1804—1869) — писатель, критик, одна из центральных фигур романтической прозы 1830-х гг. Точное название упоминаемого произведения «Последний квартет Бетховена» (1830).

[10] *Устрялов* Николай Георгиевич (1805—1870) — историк.

[11] *Сумароков* Панкратий Платонович (1765—1814) — поэт школы Карамзина; в 1787 г. был осужден за подделку ассигнаций и сослан в Сибирь; в Тобольске издавал журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Автором биографии поэта был его сын П. П. Сумароков.

[12] П. А. Вяземском.

[13] *Смирнова,* урожд. Россет Александра Осиповна (1810—1882) — одна из образованнейших женщин своего времени, ученица Плетнева по Екатерининскому институту; после выхода Смирновой из института они поддерживали дружеские отношения.

[14] Дочери Николая I (1819—1876).

7. В. А. Жуковскому. Впервые: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1980. — Л., 1984. — С. 119—120.

[1] *Грот* Яков Карлович (1812—1893) — филолог, историк литературы, близкий друг Плетнева, с которым на протяжении многих лет он вел почти ежедневную переписку. Плетнев познакомил Жуковского с рукописью выполненного Гротом перевода поэмы шведского поэта Э. Тегнера «Фритиоф».

[2] Ныне Хельсинки.

[3] *Рунеберг* Йохан Людвиг (1804—1877) — известный финско-шведский поэт.

[4] Старинный приморский город вблизи Гельсингфорса.

[5] В 1838 г. А. И. Тургенев жил в Париже.

[6] *Прянишников* Федор Иванович (1784(?)—1867) — приятель А. И. Тургенева и Жуковского, вице-президент «Общества поощрения художников».

[7] *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — издатель, журналист, «Отечественные записки» издавал с 1839 по 1868 г. Плетнев относился к нему сдержанно, не поощряя «торгашеского» отношения Краевского к литературе.

[8] *Свиньин* Павел Петрович (1787—1839) — писатель, художник, историк, основатель журнала «Отечественные записки» (1818—1830).

[9] Журнал, который издавал А. Ф. Смирдин под редакцией О. И. Сенковского. В рекламном объявлении об издании «Отечественных записок» Краевский представил будущий журнал как «энциклопедический». Такая внешняя организация журнала напоминала «Библиотеку для чтения».

[10] Посмертное Собрание сочинений Пушкина издавалось комис-

сией, в которую входил Плетнев. Первые восемь томов вышли в 1838 г.

[11] Статья Плетнева «Александр Сергеевич Пушкин» была отклонена Опекой Пушкина и опубликована позднее во втором номере «Современника» за 1838 г. без подписи (см. вступ. статью).

[12] Максимилиан *Лейхтенбергский,* герцог (1817—1852).

[13] «*Священная история* для детей, выбранная из Ветхого и Нового завета» (СПб., 1837. — Ч. 1—4), впоследствии выдержала девять изданий. Плетнев передал ее постоянному секретарю Академии наук П. Н. Фуссу для издания сочинений Зонтаг.

[14] *Муравьев А. Н.* (1806—1874) — обер-прокурор синода, автор сочинений духовного содержания. А. Н. Муравьев, возможно, выступал против переложений «Священной истории», выполненных А. П. Зонтаг.

[15] Статья о Е. Л. *Милькееве,* сибирском поэте-самоучке, помещена в «Современнике» (1838. — Т. XII. — С. 10—22).

8. Н. В. Гоголю. Впервые: Русский вестник. — 1890. — Ноябрь. — С. 34—38.

Знакомство Плетнева с Гоголем состоялось при посредстве Жуковского в декабре 1830 — январе 1831 года.

Плетнев позаботился о первых литературных опытах Гоголя (см. примеч. к письму № 5). Гоголь высоко ценил дружеские чувства и помощь Плетнева. Обращаясь к Плетневу, он писал: «Вы «виновник» многих, многих прекрасных минут моей жизни...» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., XI, 114). В их взаимоотношениях, однако, остается много неясного и требующего специального исследования.

[1] Несдержанность Плетнева в оценках литературных противников и журнальных конкурентов лучше всего объясняет И. С. Тургенев, который называет это свойство «больным местом» Плетнева. «Сила его убеждений вовлекала его в некоторую нетерпимость к тем, которые их не разделяли; к литераторам разномыслящим он относился с строгим порицанием и при суждении о их трудах и поступках не всегда мог сохранить беспристрастие» (Русский архив.— 1869. — № 12).

[2] См. примеч. к письму № 7.

[3] Семейство отставного генерала корпуса жандармов Петра Ивановича Балабина, в котором Гоголь по рекомендации Плетнева был домашним учителем.

[4] Александра Осиповна. — См. примеч. к письму № 6.

[5] *Прокопович* Николай Яковлевич — школьный товарищ и друг Гоголя, вел в Петербурге его практические дела.

9. П. А. Вяземскому. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 395—396.

[1] В конце 1844 — начале 1845 г. Жуковский жил в Германии и в связи с болезнью жены часто переезжал из города в город.

[2] В 1840-е гг. Жуковский напряженно работал над переводом на русский язык «Одиссеи» Гомера.

[3] Журнал для детей, издававшийся А. О. Ишимовой.

[4] Речь идет о романе *О. Шишкиной* «Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале XVII столетия» (СПб., 1835); положительная оценка этого произведения дана Плетневым в статье «Князь Скопин-Шуйский, сочинение Шишкиной» (Северная пчела. — 1835. — 7 дек.).

[5] *Вяземская* Вера Федоровна (1790—1886) — супруга П. А. Вяземского.

[6] Вяземский был автором объявления о подписке на памятник И. А. Крылову. Оно напечатано в «Москвитянине» (1845. — № 1) за подписями С. С. Уварова, Д. Н. Блудова, М. А. Дондукова-Корсакова, П. А. Плетнева и Я. И. Ростовцева. В нем сделана попытка обозначить роль Крылова в развитии русского литературного языка (см. статью Плетнева о жизни и творчестве И. А. Крылова, с. 146).

[7] *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — один из учредителей «Арзамаса», государственный деятель.

10. С. П. Шевыреву. Впервые: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. — М.; Л., 1936. — Т. I. — С. 162—164.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, профессор Московского университета, в 1841—1856 гг.— издатель журнала «Москвитянин» и один из основных оппонентов Белинского в области литературной критики.

Переписка Плетнева и Шевырева возникает на деловой основе в связи с переизданием «Мертвых душ» Гоголя и попыткой опубликовать его новые произведения: «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Ревизор с развязкой».

[1] Одобрительный отзыв о лекциях Шевырева по истории древней русской словесности был помещен в «Современнике» (1846.— Т. 42. — С. 211—217); речь также идет о письме к Шевыреву от 4 апреля 1846 г.

[2] *Краевский* (см. примеч. к письму № 7). Речь, видимо, идет о московских сотрудниках «Отечественных записок»: Грановском, Кудрявцеве, Кавелине, Редкине и др.

[3] *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк русской литературы, один из основных сотрудников библиографического отдела «Отечественных записок».

[4] *«Петербургский сборник»* издан Н. А. Некрасовым в 1846 г. С выходом в свет этого издания связано происхождение термина «натуральная школа», который, порицая сборник, как бранную кличку изобрел Ф. Булгарин. В рецензии на сборник Плетнев проявляет

сдержанное отношение к этому идейно чуждому ему литературному манифесту. Неосновательна постановка в один ряд с *Белинским* — теоретиком нового направления в литературе — редактора «Репертуара и Пантеона» Василия Степановича *Межевича* (1813—1849), автора водевилей Федора Алексеевича *Кони* (1803—1879) и впоследствии известного критика и поэта Аполлона Александровича *Григорьева* (1822—1864).

[5] Строки из стихотворения Пушкина «К Гнедичу».

11. С. П. Шевыреву. Впервые: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. — М.; Л., 1936. — С. 164—166.

[1] «Несколько слов о церкви нашей и духовенстве» и «О том же».

[2] *Протасов* Н. А. (1798—1885) — обер-прокурор Синода.

[3] В первое издание «Выбранных мест» в 1847 г. не вошли письма «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России» и «Что такое губернаторша». Впервые полностью «Выбранные места» были опубликованы в кн.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. — 2-е изд. — М., 1867. — Т. 3.

[4] *Сенковский* Осип Иванович (1800—1858) — прозаик, переводчик, ориенталист, совместно с книгопродавцем А. Ф. Смирдиным с 1834 по 1856 г. издавал «Библиотеку для чтения» — журнал, рассчитанный на вкусы непритязательного читателя.

[5] *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик, издатель журнала «Вестник Европы» (1805—1807; 1811—1830), противник романтического направления.

[6] *Надеждин* Николай Иванович (1804—1856) — критик, эстетик, издатель журнала «Телескоп» (1831—1836); один из литературных оппонентов Пушкина и романтиков.

[7] *Коссович* Каэтан Андреевич (1815—1883) — известный санскритолог. Плетнев помогал ему устроиться на службу в Московский университет.

[8] *Волков* Михаил Гаврилович (ум. в 1846 г.) — профессор-ориенталист Петербургского университета.

12. С. П. Шевыреву. Впервые: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. — М.; Л., 1936. — С. 175—176.

[1] Вслед за первым изданием «Выбранных мест из переписки с друзьями», которое вышло в свет в урезанном цензурой виде 1 января 1847 г., Гоголь хотел издать второе, но книга залежалась у книгопродавцев.

[2] Что подразумевает Плетнев под «правой» и «левой» стороной литературы, явствует из его предисловия к «Речи графа Моле Альфреда де-Виньи» (Современник. — 1846. — Т. 42. — С. 357—358). К «правой» он относит литераторов, которые создают произведения, «незыблемые посреди всех изменений вкуса и моды», и чувствуют

«достоинство литературы». Литераторы «левой» стороны создают произведения, в которых преобладает «страсть к эффектности посредством преувеличений».

[3] Софьи Михайловны. *Соллогуб* Владимир Александрвич (1813—1882) — граф, писатель. Несмотря на то что он принадлежал к кругу Плетнева и Грота, после участия писателя в «Петербургском сборнике» Некрасова между ними произошло отчуждение.

13. Я. К. Гроту. Впервые: Плетнев П. А. Переписка. — Т. 3.— С. 279.

Знакомство Плетнева с Я. К. Гротом состоялось в начале 1838 г. в связи с публикацией в «Современнике» перевода «Мазепы» Байрона. Грота представил Плетневу писатель М. Д. Деларю, его соученик по Царскосельскому Лицею. Вскоре отношения стали дружескими, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте. Переписка Плетнева с Гротом установилась после отъезда Грота в Гельсингфорс для преподавания в Александровском университете и продолжалась с 1840 по 1853 г. Особый интерес в переписке друзей представляет «Журнал времяпрепровождения», который отражает литературные вкусы и интересы корреспондентов. Переписка Я. К. Грота с Плетневым издана в 3-х т. под редакцией Я. К. Грота (СПб., 1896).

14. Я. К. Гроту. Впервые: Плетнев П. А. Переписка. — Т. 3. — С. 302.

[1] *Фрейганг* Андрей Иванович — цензор, по характеристике Плетнева, «человек до чрезвычайности мнительный и трусливый» (3, 268). Плетнев имел с ним столкновения в период издания «Современника».

[2] Ишимовой, издательнице журнала «Звездочка».

[3] Повесть А. И. Герцена «Кто виноват?» опубликована в обновленном «Современнике» по настоянию В. Г. Белинского в качестве приложения за 1847 год.

[4] Видимо, речь идет о Викторе Эмануэме, известном переводчике Пушкина, пожелавшем перевести с русского языка на шведский произведение с изображением русского быта.

[5] *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — писатель и поэт. Автор повестей о высшем свете, в которых сатирическое изображение аристократического общества соседствовало с восхищением этой средой и ее бытом.

[6] Врач Плетнева.

15. Н. В. Гоголю. Впервые (в отрывке): Русский вестник. — 1890. — Нояб. — С. 60.

[1] Княжны *Александры Васильевны* Щетининой (1826—1902), на

которой Плетнев женился 26 января 1849 г., когда ему было пятьдесят шесть лет, после длительного вдовства.

[2] *...как скоро понадобятся тебе деньги...* — Плетнев постоянно выполнял поручения Гоголя, связанные с перечислением его денежного содержания в заграничный банк.

16. А. Н. Майкову. Публикуется впервые по автографу (РО ИРЛИ, ф. 234, оп. I, ед. хр. 129).

Плетнев сыграл в судьбе Майкова важную роль. Он был искренним поклонником его таланта. Рекомендовал его стихи Жуковскому, Гоголю и другим, упоминал в университетских отчетах. Первый сборник (Стихотворения Аполлона Майкова. — СПб., 1842) Плетнев отметил рецензией в «Современнике» (1842. — Т. XXVI. — С. 50) и в письме к Я. К. Гроту: «Эта книга меня усладила. Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина (Плетнев П. А. Переписка. — Т. I. — С. 483). По случаю выхода сборника Майков и Плетнев обменялись посланиями (автограф — РО ИРЛИ, ф. 234, оп. I, ед. хр. 129). В послании Плетневу Майков высоко оценил его роль в развитии русской литературы:

«П. А. Плетневу

При поднесении ему экземпляра первого издания своих сочинений (1842)

Ваш светлый ум и верный вкус
Всегда отечественных Муз
Нелицемерным был судьею.
И Музы русские толпою
Внимали праведным словам...
Иная Муза ныне к Вам
Приходит, очи потупляя
И приговора ожидая.
Благословите: сладко ей
Принять от Вас благословенье,
Ей Ваше верное сужденье
Похвал бессмысленных милей.

Ап. Майков»

Ответ Плетнева Майкову см. в настоящем изд.: с. 319.

[1] *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт.

[2] *Данилевский* Григорий Петрович (1829—1890) — русский и украинский писатель.

[3] Детям В. А. Жуковского. Речь идет об издании, вышедшем в Карлсруэ в 1852 г.

17. П. А. Вяземскому. Впервые: Плетнев П. А. Соч. и переписка. — Т. 3. — С. 412—419.

[1] Переписка Плетнева с Вяземским длилась с 1822 по 1865 г. Упомянутое письмо, видимо, не сохранилось.

[2] *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — журналист, писатель,

филолог, соиздатель газеты «Северная пчела», в которой после 1825 г. он следует официальному курсу.

[3] *е. в.* — то есть: его высочеству.

[4] *Львов* Алексей Федорович (1798—1861) — директор придворной певческой капеллы.

[5] Греч был автором «Практической русской грамматики» (1827), популярного в России учебного пособия.

[6] *Отрешков* — Тарасенко-Отрешков Наркис Иванович — писатель-экономист, член ученого совета Комитета государственных имуществ.

[7] *Востоков* Александр Христофорович (1781—1864) — филолог, поэт, академик с 1841 г., известен своими трудами по славянской филологии и изданием памятников древнерусской письменности.

[8] *Очкин* Алексей Николаевич (1791—1865) — писатель, переводчик, цензор, с 1837 по 1862 г. редактировал «С.-Петербургские Академические известия».

[9] Видимо, речь идет о «Письмах русского ветерана 1812 года о восточном вопросе», издании, вышедшем в Лозанне в начале 1855 г.

[10] Речь идет о будущем издании: Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. — СПб., 1856. — Т. I—II, за подписью: Николай М.

[11] *Соханская* Надежда Степановна (1823—1884). Печаталась под псевдонимом «Кохановская». Заочное знакомство Соханской с Плетневым состоялось в 1846 г. и положило начало их длительной переписке. Первые ее повести «Графиня Д.» и «Метель» Плетнев отверг как подражание французской школе.

18. И. И. Панаеву. Публикуется впервые по автографу (РО ИРЛИ, ф. 93, оп. 4, № 67).

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель, публицист, был соредактором Некрасова по сданному Плетневым в аренду «Современнику». Договор на аренду заключался в то время, когда в России новые журналы не разрешались, и был составлен в пользу Плетнева. Десятый пункт договора гласил, что в случае остановки журнала арендаторы должны были уплатить владельцу неустойку в тридцать тысяч рублей ассигнациями.

[1] Тургеневым И. С., который был студентом Плетнева в Петербургском университете в конце 1830-х гг. Он оставил об этом периоде свои воспоминания «Литературный вечер у Плетнева» (Русский архив. — 1869. — № 10). О встречах с Плетневым в Париже Тургенев писал: «...до самой старости он сохранил почти детскую свежесть впечатлений» и способность умиляться красотою (Русский архив. — 1869. — № 10. — С. 1674).

[2] За аренду «Современника» некрасовская редакция в 1857 г. и в последующие годы платила Плетневу три тысячи рублей серебром ежегодно.

19. И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову. Впервые: Архив села Карабихи: Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. —М., 1916.— С. 269—270.

[1] См. примеч. к письму № 18. Высокую арендную плату Плетнев объяснял тем, что, издавая журнал в 1837—1845 гг., был вынужден ежегодно из-за недостатка подписчиков вносить в типографию пять тысяч рублей (Переписка. — Т. 2. — С. 840).

[2] Панаев и Некрасов пытались изменить условия договора и платить Плетневу тысячу рублей. Только в 1863—1865 гг. им удалось склонить Плетнева к арендной плате в две тысячи рублей в связи с уменьшением количества подписчиков и приостановкой журнала.

20. М. М. Стасюлевичу. Впервые: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. — СПб., 1911. — Т. I. — С. 229—231.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — преподаватель Петербургского университета, вышел в отставку в 1861 г. Плетнев был связан с ним дружескими отношениями и перепиской. В 1860 г. Плетнев оказал Стасюлевичу, обвиненному духовной цензурой в неблагонадежности, содействие и поддержку.

[1] С 1866 по 1908 г. Стасюлевич издавал журнал «Вестник Европы».

[2] Статья А. Н. Пыпина «Новые времена. Община реформаторов в Нью-Йорке» в августовском номере «Современника» в 1865 г., с. 367—386.

[3] Жуковский редактировал «Вестник Европы» в 1808—1810 гг.

[4] Жене Стасюлевича.

21. В редакцию «Вестника Европы». Впервые: Вестник Европы. — 1866. — Т. I. — № 3. — С. XI—XV.

Письмо написано Плетневым перед смертью и является его литературным завещанием. В начале письма речь, по-видимому, идет о Н. А. Полевом и его статье «История Государства Российского» Карамзина», опубликованной в «Московском телеграфе» в 1829 г. (Ч. 27. — № 12. — С. 487—500).

[1] В. А. Жуковский начал публиковаться в журнале «Вестник Европы» в 1802 г. («Сельское кладбище»).

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

Плетнев П. А.
П38 Статьи. Стихотворения. Письма/Сост., вступ. ст., примеч. А. А. Шелаевой. — М.: Сов. Россия, 1988.— 384 с. — (Б-ка русской критики).

Имя Петра Александровича Плетнева (1792—1865) пользовалось широкой известностью и заслуженным уважением. Поэт, журналист, филолог, педагог, ректор Петербургского университета, член Российской академии, Плетнев более всего ценил дружбу и сердечную привязанность своих прославленных современников — Пушкина, Жуковского, Дельвига, Баратынского, Гнедича, а также доверие младшего поколения литераторов, заботливым наставником которых он оставался всегда.

В книгу вошли избранные статьи Плетнева, сыгравшие заметную роль в развитии русской критики и эстетической мысли, его стихи, тяготеющие к традициям поэтов пушкинского круга, а также отдельные представляющие немалый историко-литературный интерес письма к известным отечественным писателям, начиная с Пушкина.

П $\frac{4603010101-225}{М\text{-}105(03)88}$ 86—87 Р1

ISBN 5—268—008625

Петр Александрович Плетнев

СТАТЬИ. СТИХОТВОРЕНИЯ. ПИСЬМА

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Н. Д. Викторова**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **М. Е. Козлова**

ИБ № 5087

Сдано в набор 15.06. 87. Подп. в печать 15.12.87. Формат 84×108[1]/32. Бумага книжно-журнальная. Печать высокая. Гарнитура обыкновенная новая. Усл. п. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,14. Усл. кр.-отт. 20,16. Тираж 25 000 экз. Заказ № 417. Цена 1 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ—148.

Ордена „Знак Почета" издательство „Советская Россия" Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 186750. Сортавала, ул. Карельская. 42.